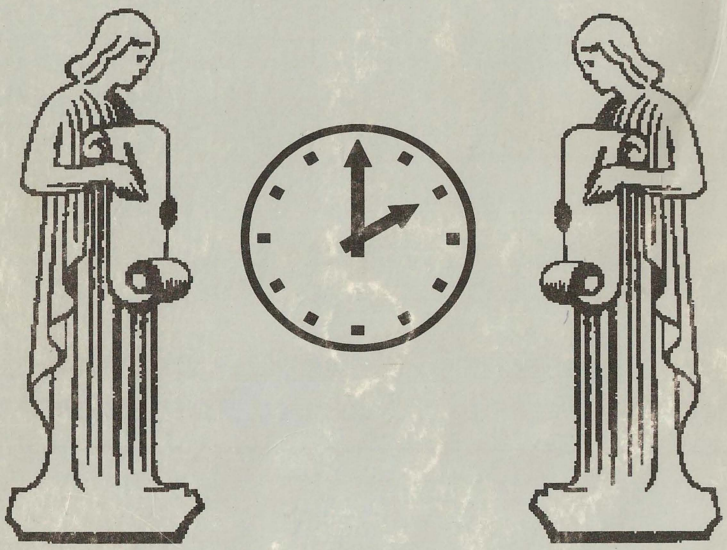
ДИАЛОГ
СО ВРЕМЕНЕМ



ИСТОРИКИ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Москва 1996

Российская Академия Наук
Институт всеобщей истории РАН

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ: ИСТОРИКИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Издание осуществлено
при финансовой поддержке РГНФ
(номер проекта 95-06-31934).

МОСКВА
1996

ББК 63.3 Л.Р. № 020915 от 23 сентября 1994 г.

Редакционная коллегия:

Л.П.Репина (отв. редактор)
В.В.Согрин
Д.А.Модель (отв. секретарь)

Диалог со временем: историки в меняющемся мире. - М.: ИВИ, 1996.

Авторы книги исследуют проблему "историк и современное общество". Они создают галерею творческих портретов ряда выдающихся историков XX века, проживших долгую жизнь в науке и работавших в разных странах, при демократических и при тоталитарных режимах (в США, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Германии, СССР и др.) Развитие и смена научных концепций, подходов, интерпретаций, проблематики исследований рассматриваются в контексте личных судеб и общественных процессов, сквозь призму индивидуального восприятия и профессионального осмысления социально-политических коллизий бурного новейшего времени и мощных интеллектуальных вызовов эпохи, которые требовали пересмотра опыта предшествовавших поколений историков и поиска новых путей познания прошлого.

Dialogue with Time: Historians in the Changing World.

The authors of the book investigate the problem "historian and the contemporary society". They created a number of intellectual portraits of the distinguished historians of the 20th century, who worked in different countries, both under democratic and totalitarian regimes (in the USA, Great Britain, Sweden, Germany, the Soviet Union etc.). The evolution and replacement of concepts, approaches, interpretations and problems of historical research are examined in the contexts of individual lives and societal processes, through the prism of personal and professional perceptions of social, political and intellectual challenges of the age. It is demonstrated how these influences made the great historians of the 20th century to look for new ways of historical understanding and to reconsider the past events and experiences.

Д 0503010000-6
45 ж (03)-96

ISBN 5-201-00466-0

© Коллектив авторов, 1996
© Институт всеобщей истории РАН, 1996

Л.П.Репина

ИСТОРИК В ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ: ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы видели, как времени рука
Срывает все, во что рядится время,
Как сносят башню гордую века
И рушит медь тысячелетий бремя...
Как пробегает дней круговорот
И королевства близятся к распаду...

Шекспир, Сонет 64
(пер.С.Я.Маршака)

Так незабываемо ярко выразил свое восприятие времени и со*временности,* особое настроение на пороге семнадцатого столетия гениальный поэт и драматург, живший в эпоху становления новой духовной культуры и сам творивший ее, подтвердивший своими историческими хрониками неразрывную связь между тем, как люди относятся к настоящему, и тем, как они видят прошлое.

Новейшая эра в истории человечества многократно превзошла все предшествующие как внутренним динамизмом, так и стремительным нарастанием национальных и глобальных проблем экзистенциального характера. Историческое время, словно подтверждая неравномерность своего течения, с невиданным ускорением приближает нас к новому рубежу веков (и тысячелетий!). Острое ощущение слома эпох, все более явственно витающее в общекультурной и интеллектуальной атмосфере последнего десятилетия, стало также одной из доминант профессионального сознания современных историков. Оно окрашивает в особые тона как никогда многочисленные и напряженные дискуссии по ключевым проблемам исторического познания, о специфике исторического знания, о самой возможности исторического синтеза.

Историческая наука переживает сегодня глубокую внутреннюю трансформацию, которая ярко проявляется и на поверхности академической жизни - в трудной смене поколений, интеллектуальных ориентаций, самого языка истории. Современная историографическая ситуация все чаще и все уверенней характеризуется как "постмодернистская". Наряду со словом "кризис", которое практи-

чески не сходит со страниц научно-исторической периодики последнего десятилетия, на них замелькали ставшие не менее популярными фразы "лингвистический поворот" и "семиотический вызов". В исторических журналах и сборниках появилось множество публикаций, обзоров, полемических выступлений (зачастую весьма эмоциональных, а иногда просто панических). В продолжающихся спорах принимают активное участие и философы истории, и сами историки. В этих научных дебатах, отражающих не только вызовы времени, но и весь спектр реакций на них, оттачиваются новые концепции, совершенствуются формулировки, создается платформа для будущего консенсуса.

В связи с формированием постмодернистской парадигмы в историографии происходят серьезные изменения в сфере профессионального сознания и самосознания историков, поскольку этот вызов заставляет пересмотреть традиционно сложившиеся представления о собственной профессии, о месте истории в системе гуманитарно-научного знания, о ее внутренней структуре и статусе ее субдисциплин, о своих исследовательских задачах. Подвергается сомнению само понятие исторической реальности, по-новому ставится вопрос о возможной глубине исторического понимания (в том числе исторического понимания настоящего), о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над собственной творческой деятельностью.

Переживаемая нами сегодня "историографическая революция", являющаяся составной частью более общего процесса в интеллектуальной сфере, не первая и, очевидно, не последняя трансформация в истории исторической науки. В такие моменты усиливается потребность не только разобраться в текущей ситуации и открывающихся горизонтах, но также оглянуться и оценить пройденное, впрочем первое без второго попросту невозможно. Это состояние интенсивной рефлексии даже породило оригинальный жанр историописания, который можно обозначить как автоисториографический, или вернее автобиоисториографический. Несомненно самым весомым вкладом в его разработку стали автобиографические эссе крупнейших современных французских историков, объединенные в сборник и представленные его редактором Пьером Нора как "Очерки по эго-истории".[1] Видный британский

[1] Essais d'ego-histoire (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond) / Réunis et présentés par Pierre Nora. P., 1987. П.Нора подчеркивает: "Это не деланно литературная автобиография, не излишне интимные откровения, не абстрактный символ веры, не попытка кустарного психоанализа. Задача состоит в том, чтобы прояснить свою собственную историю, как пишут историю других, попытаться применить к самим себе - каждый в

историк Макс Белофф менее экстравагантно, но, как мне представляется, более точно обозначил его в подзаголовке своей недавней книги - "очерки интеллектуальной автобиографии".[2] В том же жанре написана статья "Лоуренс Стоун - как он видится себе самому", которая была опубликована в качестве пространного эпилога к сборнику, посвященному семидесятилетнему юбилею этого выдающегося ученого, специалиста по социальной истории Англии раннего нового времени. С присущей ему тонкой самоиронией Л.Стоун очерчивает свою профессиональную "одиссею" представляя на суд читателей нечто вроде интеллектуальной исповеди. Это в высшей степени авторитетное и яркое свидетельство направляющего влияния проблем и конфликтов современности на исследовательский поиск историка заслуживает того, чтобы воспроизвести здесь хотя бы один его наиболее красноречивый фрагмент:

"Пусть даже это и не было для меня очевидно в то время, но по размышлении становится все более понятным, что предмет моего исследовательского интереса в историческом прошлом изменялся в ответ на текущие события и существующие приоритеты. Моя первая статья, о жизни моряков в елизаветинском флоте, была написана в 1942 г. на борту эсминца в Южной Атлантике. Мое следующее "предприятие" - книга об одном бесчестном международном финансисте, которая была в большой мере написана в атмосфере социалистической эйфории начала деятельности первого лейбористского правительства в послевоенной Британии. Третья исследование, об аристократии конца XVI - начала XVII в., было осуществлено в то время, когда этот класс переживал глубокий финансовый кризис...Работу об университетах я начал в 60-е годы, в один из периодов самой обширной экспансии и величайшего оптимизма в отношении высшего образования. В то время я в особенности увлекся выяснением причин подобного же образовательного бума между 1560 и 1680 гг. Я не утратил своего интереса - но уже с пессимистическим настроем - и после студенческих волнений, когда период бурного развития внезапно завершился. С этого времени мое внимание было сосредоточено на причинах резкого упадка школ латинской грамматики, университетов и юридических корпораций между 1680 и 1770 гг. Моя книга о семье, сексуальности и браке была задумана и написана в 1970-е, в условиях обостренной озабоченности именно этими проблемами, что было вызвано стремительным ростом числа разводов, резким падением фертильности в браке, небывалой неразборчивостью в сексуальных отношениях, серьезными изменениями в ролевых функциях полов под воздействием движения за женскую эмансипацию... Книга "Открытая элита" была написана когда общественный интерес к краху крупных землевладельческих

своей манере и с помощью своих излюбленных методов - тот бесстрастный, всеобъемлющий, объясняющий подход, какой столь часто мы обращаем на других. Выявить историку в самом себе связь между той историей, которую сотворил он, и той историей, которая сотворила его." - Ibid., p.7. Столь же недвусмысленно выразился Ж.Дюби: "Здесь - и это главное - я не рассказываю о всей моей жизни. Было заранее условлено, что в этой "эго-истории" будет выставлена напоказ только часть моего "Я". Если угодно, это ego-laborator, или лучше ego faber." - Ibid., p.109.

[2] Beloff, Max. An Historian in the Twentieth Century: Chapters in Intellectual Autobiography. New Haven - L., 1992.

родов и к той роли, которую они сыграли как в подъеме, так и в падении британского величия достиг своего крещендо...
Представляется, что именно текущие события, хоть я каждый раз и не осознавал этого, побуждали меня погружаться в прошлое, чтобы выяснить встречались ли прежде похожие явления и проблемы и, если да, то как с ними справлялись. Становится ли от этого лучше или хуже для изучения истории? Я не знаю. В такой склонности к презентизму, пусть непроизвольному, есть серьезная, опасность: прошлое рассматривается через призму будущего, а не с его собственной точки зрения. Существует явный риск телеологического искажения, если в умах историков станет преобладать вопрос о том, каким образом мы попали оттуда сюда. Но, с другой стороны, именно это объяснение настоящего является главным оправданием интереса к истории..."[3]

Признавая особую ценность этого и аналогичных ему авторских показаний, нельзя, однако, не прислушаться к скептическим замечаниям Ж.Дюби, которыми он заключает свою "автоисториографию":

"Я не удовлетворен тем, что здесь написал. В самом деле, я не уверен, что историк может лучше, чем кто-либо другой, трактовать воспоминания, которые касаются его самого. Я склонен думать, что историк способен на это меньше, а не больше остальных. Ибо если история других получается у него, на мой взгляд, тем лучше, чем он более пристрастен, то история самого себя , напротив, требует строжайшей объективности. Тут ему нужно всеми силами стараться выправлять то, что самолюбие непреодолимо деформирует..."[4]

Авторы настоящего сборника исследуют проблему "историк и современность", "историк в диалоге с прошлым и настоящим", оставаясь в рамках более привычного для историографов жанра, который можно было бы назвать биоисториографическим, если подразумевать под этим исследование истории исторической науки сквозь призму индивидуальных биографий людей, оставивших в ней заметный след, ее подлинных творцов. И, что существенно важно, их персональная интеллектуальная история рассматривается в динамичном социокультурном контексте, аккумулирующем все вызовы времени и ответы на них. Речь идет, таким образом, о совмещении традиций социально-интеллектуальной и так называемой личностной истории в предметном поле, для характеристики которого как нельзя более подойдет понятие "история историографии в человеческом измерении".

---

[3] (L.Stone). Epilogue. Lawrence Stone - as seen by himself // The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone./ Ed.by A.L.Beier et al. Cambridge etc., 1989. P.594-595. В отличие от Л.Стоуна, известный специалист по новейшей истории Рене Ремон делает акцент на оборотной стороне осознанного презентизма, добавляя к поискам истоков "настоящего в прошлом" интерес к выявлению "присутствия прошлого в настоящем, новизна которого все же не перестает нас привлекать". - Rémond R. Le contemporain du contemporain.// Essais d'ego-histoire, p.305.

[4] Duby G. Le plaisir de l'historien.// Essais d'ego-histoire, p.137-138.

Мы предлагаем читателям галерею творческих портретов ряда крупных историков XX века, проживших достаточно долгую жизнь в науке и испытавших немало поворотов на своем жизненном и творческом пути. Историки, о которых рассказывается в этой книге, работали отнюдь не в одинаковых и иногда резко меняющихся условиях, в разных странах и даже на разных континентах, при демократических и тоталитарных режимах. Авторы столь же далеки от поверхностно-наивной уверенности в том , что демократия и свободный рынок обеспечивают полную объективность научно-исторического знания, сколь и от упрощенно-нигилистических представлений о том, что в условиях диктатуры идеологический контроль над историографией сводил ее к "чистой" пропаганде, не оставляя места для исследовательского поиска. Разумеется, существовали и существуют огромные различия в степени "научной автономии", которая всегда и везде относительна. Во всяком обществе и при любом политическом устройстве глубокая и тесная зависимость историков от современной эпохи и ее перипетий, их укорененность в окружающей действительности ("у времени в плену"!) проявляются в полной мере. Под воздействием внешних импульсов и в результате осмысления событий, сложных проблем и нередко тяжких уроков бурного новейшего времени им неизбежно приходилось пересматривать взрастившую их историографическую традицию, опыт и знания, накопленные предшествовавшими поколениями историков, менять перспективу своего видения прошлого, искать новые пути его познания.

В предлагаемых статьях развитие и смена научных концепций, подходов и интерпретаций, изменения в самой проблематике исторических исследований рассматриваются в контексте личных судеб и общественных процессов, сквозь призму индивидуального и профессионального восприятия как социально-политических и идеологических коллизий, так и интеллектуальных вызовов эпохи. В связи с этим встает по-видимому "вечный" и в то же время как никогда актуальный вопрос о соотношении в историографии научной объективности и идеологических пристрастий, с которым неразрывно связана проблема оценочных критериев в истории исторической мысли и исторического знания. Разобраться в том, где все же кончается суверенитет науки и начинается диктат политики и идеологии - непростая задача.

Последнему вопросу, в частности, целиком посвящена оставшаяся, к сожалению, в связи с кончиной автора незавершенной и потому публикуемая в приложении статья известного советского и российского историка-медиевиста, профессора Е.В.Гутновой, вполне сознававшей, что "в нашей раскаленной дей-

ствительности, признающей только черно-белые оценки", ее призыв попытаться оценить все, что происходило в советской историографии, "без гнева и пристрастия" "может быть сочтен наивным и прекраснодушным". Эта посмертная публикация - не просто дань ушедшему от нас ученому, статья более чем злободневна и освещает поставленную проблему "историк и современность" в новом, дополнительном ракурсе, самим своим содержанием раскрывая ее в сопряжении трех временных факторов: времени исследователя-историографа, времени изучаемого им этапа в развитии исторической науки и историков того периода и, наконец, времени исследуемого этими историками прошлого. Так на первый план выходит чрезвычайно важный по существу, но обычно остающийся непроявленным в индивидуальных портретах третий вектор времени, который определяет историзм профессионально-корпоративного сознания и чувствительность к которому является непременным условием подлинно научной историографической критики.

Сегодня все чаще можно услышать голоса наиболее последовательных оппонентов "научной, или "объективной истории". Историки, утверждают эти критики, претендуют на то, что они занимаются описанием прошлого, в то время как в действительности они всегда пишут только историю своего времени - или автобиографию. И это в известной степени верно, поскольку те новые вопросы которые каждое поколение историков ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы и тревоги этого поколения. Вместе с тем оптимисты, отнюдь не опровергая скептиков, не видят непреодолимого препятствия для исторического познания в такой зависимости исследователя от своей ситуации, от своего общества и культуры, от всего того, что происходит вокруг него, но лишь до тех пор, пока *ответы* на эти новые вопросы он ищет именно в прошлом, а не извлекает их из настоящего.[5] Конечно, абсолютная объективность недостижима: в историографии всегда отражаются та или иная политическая ориентация, социальная позиция, иерархия ценностей. Однако существует корпоративный "кодекс чести", а также отчетливо выраженные профессиональные нормы и критерии, которые позволяют отделить зерна от плевел и выявить фальсификацию, используя критический аппарат традиционной и современной историографии против нового "мифостроительства". Как удачно и недвусмысленно выразился Дж.Иггерс в недавно опубликованной статье "Историография и политика в XX веке":

"Плюрализм исторических перспектив не исключает интеллектуальной честности. Различающиеся интерпретации часто скорее дополняют, а не противо-

[5] См., например: Hill C. History and the Present. L.,1989. P.11-12.

речат друг другу...Надо признать, что никогда не достигая того конечного идеала, который имел в виду Ранке, когда он собирался показать *wie es eigentlich gewesen* (как было на самом деле), историческое исследование, тем не менее, может - в определенных границах - показать *wie es eigentlich nicht gewesen* (как на самом деле не было). Мы довольно хорошо знаем мир, в котором живем, и имеем достаточно здравого смысла, чтобы поставить под сомнение то, что нам кажется ошибочным. Я согласен с Карлом Поппером в том, что редко удается доказать, что является истинным, зато иногда возможно установить, что является ложным...Развенчание исторических мифов - вот одна из главных задач историка.".[6]

Выступая активным медиатором в нескончаемом диалоге настоящего с голосами, доносящимися из отдаленного и близкого прошлого, историк одновременно вплетает собственные, нередко извилистые, нити в полотно будущей историографической традиции. Мир, в который "помещен" современный исследователь, беспрестанно и быстро меняется, в свою очередь изменяя условия и содержание этого диалога. Для того, чтобы распутать ставшие весьма замысловатыми и местами прерывающиеся узоры, нужно найти решающее звено, которое кроется все же не в общих закономерностях, а в уникальности моментальной ситуации (с учетом всей совокупности обстоятельств), и в творческой индивидуальности ученого, преодолевающего мифы и изжившие себя стереотипы исторического сознания (как обыденного, так и профессионального).



[6] Iggers G.G. Historiography and Politics in the Twentieth Century.// Societies made up of history. Essays in historiography, intellectual history, professionalisation, historical social theory and protoindustrialisation./ Ed.by R.Björk, K.Molin. Edsbruk, 1996. P.15-16.

В.Согрин

УРОКИ ЧАРЛЗА БИРДА

Чарлз Остин Бирд (1874-1948) уже при жизни стал почитаться в качестве классика американской исторической науки. В конце XX века он прочно остается в ряду главных американских историков столетия, а многими вообще признается историком № 1 Соединенных Штатов. На протяжении всего своего долгого творческого пути (первая его книга увидела свет в 1901, а последняя в 1948 году) Бирд был необычайно активен: им самим или в соавторстве, чаще всего с женой Мэри Бирд, опубликовано 49 монографий, вместивших более 21 тысячи страниц. Многие книги Бирда переиздавались, некоторые неоднократно, массовым тиражом, так что уже к середине XX века в США их было продано более одиннадцати миллионов экземпляров. Во второй половине XX века переиздания стали куда более редкими, но идеи Бирда оставались главными "раздражителями" в американской исторической профессии.

Авторитет Бирда и его влияние оказались наибольшими в период между двумя мировыми войнами: то, без преувеличения, были бирдовские десятилетия в американской историографии. Десятки историков пытались применить и применяли бирдовскую "экономическую интерпретацию" к различным этапам и проблемам прошлого США.[1] Бирд был в моде, он стал гуру для целого поколения американских историков, голоса его критиков тонули в хоре почитателей. Ситуация резко переменилась после второй мировой войны, особенно в 1950-е годы. Бирд тогда по-прежнему оставался в центре внимания американских историографических дискуссий, но теперь уже доминировали его критики, которые в яростном ниспровержении недавнего мэтра готовы были вообще отлучить его от профессиональной историографии.[2]

В последние десятилетия дискуссии вокруг Бирда стали спокойнее, да и число их заметно поубавилось. При этом даже те историки, которые являются наследниками выпестованной Бирдом прогрессистской школы, признают многие его просчеты и упрощения. Труды же Бирда продолжают входить в историографическую классику, а некоторые среди них, в первую очередь написанная совместно с женой работа "Развитие американской цивилизации", по

---

[1] Blinkoff M. The Influence of Charles A.Beard upon American Historiography. The University of Buffalo Studies. Vol.XII, N 4, May 1936.

[2] Brown R.E. Charles Beard and the Constitution: A Critical Analysis of "An Economic Interpretation of the Constitution". Princeton, 1956; McDonald F. We the People: The Economic Origins of the Constitution. Chicago, 1958.

уровню охвата материала, количеству оригинальных интерпретаций, обобщений, теоретических размышлений остаются непревзойденными в американской историографии.

Спорам американских историков о Бирде присуща одна ярко выраженная особенность: они велись вокруг использовавшейся им в первой трети XX века "экономической интерпретации истории" и полученных при ее помощи исследовательских результатов. Гораздо меньше анализировалось и осмысливалось то, что в 1930-40-е годы Бирд не просто отказался от всех своих прежних выводов и методологии, но фактически совершил поворот на 180 градусов, создав труды, в которых содержится не просто ревизия, но ниспровержение всего прежде им написанного. Этот крутой поворот представляется загадкой, истинным феноменом Бирда, осмысление которого содержит ряд очень важных уроков относительно ремесла историка, его предназначения и смысла.

Изучение эволюции исторических взглядов Бирда не оставляет сомнений, что их изменение находилось в непосредственной зависимости от смены исторических эпох. Выдающийся американский историк XX века был, как говорится, "у времени в плену". Тем более поразительно и нуждается в объяснении то, что большинство историков не считали его шарлатаном или конъюнктурщиком и не соглашались признать его взгляды антинаучными. Правда, были и такие, кто вообще не считал Бирда историком, а объявляли его в лучшем случае "учителем истории", то есть человеком, который преследовал не ранкеанскую цель "изучать историю как она есть", но в духе древних авторов жизнеописаний великих людей видел в истории "учительницу жизни".[3] Но все подобные критики принадлежали к противоположной по отношению к Бирду историографической школе, и на их оценках лежит очевидный налет предвзятости. Кроме того, вычеркнуть Бирда из числа классиков американской исторической науки им не удалось. Все это делает феномен Бирда еще более интригующим, ставит перед исследователем ряд важных теоретических вопросов, в первую очередь таких, как: может ли историк, оказывающийся "у времени в плену", оставаться профессиональным историком, да к тому же выдающимся; можно ли всех подобного рода историков считать конъюнктурщиками и презентистами, а если нет, то в чем между ними различие; нужны и полезны ли такие историки, как Бирд, наносят они больше вреда или пользы и каким должно быть отношение к "бирдовскому типу" со стороны профессиональной историографии?

---

[3] McDonald F. Charles A.Beard. Pastmakers. Some Essays on American History. N.Y., 1969, p.132-133.

Научный путь Бирда разделяется отчетливо на два этапа: 1900-1920-е годы и 1930-1940-е годы. Первый этап прошел под знаком последовательного применения Бирдом "экономической интерпретации" ко всем проблемам прошлого США и формулирования концепций, согласно которым американская история была преисполнена социальных антагонизмов и потрясений. В этот период наиболее значимыми историческими исследованиями Бирда явились "Экономическая интерпретация конституции Соединенных Штатов" (1913 г.), "Экономические истоки джефферсоновской демократии" (1915 г.), а также написанный совместно с женой двухтомный труд "Развитие американской цивилизации" (1927 г.).[4]

Социально-экономический, политический и интеллектуальный контекст первого этапа научного творчества Бирда определялся сменой "свободного" капитализма монополистическим. Беспрецедентный экономический подъем в США сопровождался драматическими социальными последствиями: средний класс впервые столь резко разделился внутри себя, а в качестве двух его полюсов выступили разоряющиеся мелкие собственники, в первую очередь фермеры, и финансово-промышленная элита во главе с создателями монополистических объединений; вал коррупции нахлынул на политическую систему, ее демократические принципы затрещали по швам, власть и две главные политические партии не выдержали натиска новых капиталов и пали перед ними; пролетарские слои обнаружили, что знаменитая американская мечта, сулившая им в эпоху свободного капитализма реальную возможность вхождения в средний класс, превратилась для большинства в "журавля в небе".

В период с 1880- х по 1910-е гг. в Соединенных Штатах происходили радикальные сдвиги в сознании разных социальных слоев и классов: не только рабочий класс, но также фермерство, служащие, интеллигенция оказались восприимчивы к левым идеологиям, предлагавшим разнообразные проекты перераспределения национальных богатств. Либерализм, главная американская идеология, разделился на два направления: первое, канонизировавшее классический индивидуализм и доктрину "государственного невмешательства", откровенно брало под защиту интересы буржуазных элит, а второе, включившее в доктрину естественных и неотъемлемых прав человека идею о социальных правах низших и средних слоев, апеллировало к широким народным массам и перекликалось во многом с левыми идеологиями. Этот новый, или соци-

[4] Beard Ch.A. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. N.Y., 1913; Idem. Economic Origins of Jeffersonian Democracy. N.Y., 1915; Beard Ch.A., Beard M.R. The Rise of American Civilisation. 2 Vols. N.Y., 1927.

альный, либерализм, популярный особенно в академической среде, не стеснялся заимствовать многие принципы реформаторского социализма и доказывал, что только таким способом можно снять угрозу со стороны социализма революционного.

Идеалы социального либерализма вдохновляли тогда многие политические движения, а самыми известными среди них стали популистское конца XIX века и, особенно, прогрессистское начала XX века, охватившее миллионы американцев и нацелившееся на демократическую перестройку монополистической Америки при помощи разнообразных экономических, социальных, политических реформ. Под сенью этого движения вызрела и первая крупная национальная социально-критическая школа в американской историографии, которая и сама стала называться прогрессистской. Ч.Бирд очень быстро стал ее признанным лидером.

Среди идеологических доктрин прогрессистского движения можно выделить те, которые оказали наибольшее и даже непосредственное воздействие на Ч.Бирда и его последователей. Одна из них заключалась в признании прямой зависимости политики, в первую очередь государственной власти, от господствующих экономических интересов. Причем прогрессисты подкрепляли этот тезис при помощи тысяч фактов, то и дело обнародывавшихся в демократических газетах, журналах, политических памфлетах и исследованиях и показывавших, как финансово-промышленные тузы подкупали законодателей, суды, партийных боссов, чиновников и кандидатов на выборные должности, наконец, самих избирателей. Особое недоверие прогрессисты испытывали к денежному капиталу, а лидер либеральной юриспруденции Л.Брандейс доказывал, что именно финансовые монополии узурпировали права американцев.

Другая доктрина обосновывала органический недемократизм американской политико-государственной системы. Подыскивая аргументы, прогрессисты в значительной мере опирались на собственный политический опыт: их попытки провести через государственные органы реформы в интересах широких масс разбивались о многоходовую систему принятия законов, консервативные интерпретации членов Верховного суда, законодательные вето главы исполнительной власти. В качестве альтернативы консервативной государственной системе прогрессисты выдвигали систему прямой демократии, включавшую прямые выборы сенаторов, президента, верховного суда, тайное выдвижение самими избирателями кандидатов на выборные должности, наконец, признание за народным референдумом верховенства в принятии всех важных законов, в первую очередь поправок к конституции.

Эти идеологические доктрины стали тогда достоянием не только прогрессистского движения, но и поддерживавших его интеллектуалов из академической среды, прежде всего экономистов, политологов и историков. Возникает вопрос: кто кого снабжал идеологическими принципами - прогрессистское движение ученых-обществоведов или ученые-обществоведы прогрессистское движение? Как всегда бывает в таких случаях, связь была взаимообразной, при этом либерально-реформистское обществоведение, получая идеологические импульсы от прогрессистского движения, снабжало его в ответ более солидными и прочными теоретическими и методологическими принципами. Идеологические сигналы прогрессистского движения усваивались либеральными обществоведами не механистически, а воспринимались как стимул для всесторонней радикальной ревизии традиционных концепций и подходов с опорой на новую методологию. В результате американское обществоведение вступило в один из самых ярких ревизионистских периодов своего развития. Каковы же были его результаты?

Ревизионистский период конца XIX - нач. XX в. принес американскому обществоведению как плюсы, так и минусы, при этом плюсы - обогащение научных подходов и выводов - перевешивали минусы - издержки идеологизированных интерпретаций. К одному из очевидных плюсов следует отнести то, что американское обществоведение стало более плюралистичным: в нем впервые оформились мощные социально-критические школы. Резко усилившаяся конкуренция разных научных школ способствовала "отбрасыванию" тех концепций и принципов, которые не выдерживали критики, и освоению наиболее прочных и солидных исследовательских методов. Другим плюсом было то, что американское обществоведение стало гораздо более "открытым", при этом оно не чуралось даже возможности критического освоения социалистических теорий.

Одним из первых в активный диалог с марксизмом вступил лидер либерально-реформистского направления в американской политэкономии Р.Эли. В 1894 г. он объявил, что "сила социализма объясняется не только обличением существующих институтов, но и его позитивной программой", и признал самым выдающимся среди социалистических учений марксизм, который, по его убеждению, имел все шансы реализоваться в условиях сохранения в капиталистических странах социального и политического статус-кво.[5] Другой крупный либеральный экономист, Э.Селигман, объявляя, как и

[5] Ely R. Socialism. An Examination of Its Nature, Its Strength and Its Weakness with Suggestions for Social Reform. N.Y., 1894, p.254, 256.

Р.Эли, неприемлемой марксову теорию революционного социализма, вместе с тем приходил к выводу, что его "экономическая интерпретация истории" вполне применима и полезна при изучении американских реалий. Более того, рассматривая различные учения, признававшие за экономическим фактором решающую роль в общественном развитии, Селигман закреплял среди них приоритет за марксизмом, а Маркса называл "подлинным создателем экономической интерпретации".[6] Так рассуждали тогда многие либеральные обществоведы, пытавшиеся найти надежную методологию для изучения связи политики с экономическими интересами и объяснения тех недостатков американской общественной системы, которые оказались в поле зрения демократического движения.

Идея зависимости политики от господствующих экономических интересов прочно овладела в начале XX века умами многих американских либеральных интеллектуалов. Был среди них и Ч.Бирд, молодой талантливый профессор истории, приступивший с 1904 г. к преподаванию в одном из самых престижных университетов - Колумбийском. Научные интересы молодого профессора были необычайно широкими: в период с 1901 по 1910 год он опубликовал пять монографий, посвященных промышленной революции, судебной системе Великобритании, английской историографии, американской государственно-правовой системе. Плодовитый историк и политолог обнаружил знакомство с марксизмом и методом "экономической интерпретации истории", как его осмысливали либеральные обществоведы США. Их влияние на формирование его методологических приемов очевидно и практически общепризнано.[7]

Очевидно и влияние на Бирда его коллеги из Колумбийского университета, либерального историка Дж.Робинсона, опубликовавшего в 1912 г. своего рода теоретический манифест ревизионистской историографии. Среди требований Робинсона к историографии на первом месте стояло создание "институциональной истории", т.е поиск и изучение "отобранных эволюцией", определившихся, сквозных линий и явлений прошлого, запечатлевшихся в нравах, экономике, культуре, идеологии. Среди таковых доминирующая роль, доказывал Робинсон, будет принадлежать отнюдь не политическим и дипломатическим, а социальным и экономическим явлениям; отсюда следующее по важности требование ревизионистской историографии - первостепенный интерес к социальным и

---

[6] Seligman E.R.A. The Economic Interpretation of History. N.Y., 1903, p.109.

[7] Дементьев И.П. Об исторических взглядах Чарлза Бирда. - Вопросы истории, 1957, № 6, с.149-150; McDonald F. Charles A.Beard, p.112; Borning B.C. The Political and Social Thought of Charles A.Beard. Seattle, 1962, p.47.

экономическим изменениям. Для их изучения историк должен взять на вооружение совокупность методов философии, политэкономии, антропологии, социологии ("междисциплинарный подход", как сказали бы сегодня), главным среди которых должен быть метод политической экономии. Все это должно стать основой для постижения законов исторического развития.[8]

В 1913 году тридцатидевятилетний Бирд опубликовал свою восьмую по счету книгу, которая стала первой его монографией по американской истории. Именно "Экономическая интерпретация конституции Соединенных Штатов", сделала его знаменитостью, лидером прогрессистской школы. Сам Бирд в предисловии к новому изданию книги в 1935 году называл ее первым историческим исследованием, основанным на экономической интерпретации истории.[9] Это утверждение может показаться преувеличением, ибо до Бирда по крайней мере два известных автора, А.Саймонс и Г.Майерс, упоминавшиеся и самим Бирдом, использовали "экономический метод" при рассмотрении американского прошлого. Но дело в том, что Саймонс был социалистом, а Майерс публицистом, и их труды не оказали воздействия на американскую историческую науку. Именно за Бирдом закрепилась известность первооткрывателя новой методологии в американской историографии.

В предисловии к изданию 1935 года Бирд впервые развернуто высказался по поводу происхождения этой методологии. Он счел необходимым решительно отвести многочисленные обвинения со стороны ортодоксальных историков о заимствовании ее у Маркса и доказывал, что его "экономическая интерпретация истории" развивала не что иное, как концепцию об экономических фракциях и фракционной борьбе, выдвинутую некоторыми видными отцами-основателями североамериканской республики, в первую очередь Дж.Мэдисоном. Эта попытка Бирда "задним числом" выдвинуть патриотическую версию относительно истоков своей методологии была раскритикована многими историографами, справедливо указывавшими, что в начале XX века Бирд, как и другие либеральные профессора, признавал авторитет Маркса, но не Мэдисона. Однако справедливость требует признать и то, что хотя в молодости Бирд испытал большее воздействие Маркса, а не Мэдисона, его экономическая интерпретация имела чисто внешнее сходство с марксовой методологией и основывалась в действитель-

---

[8] Robinson J.H. The New History. N.Y., 1912, p.48-51, 75, 81-83.

[9] Beard Ch.A. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. N.Y., 1935, p.XI.

ности на том представлении о зависимости политики от экономики, которое было характерно для прогрессистов и других движений социального протеста рубежа XIX-XX веков. Случай с Бирдом очень типичен для историков, даже самых крупных - новая исследовательская методология усваивается ими во многих случаях в упрощенном виде и очень часто в идеологизированной форме, вошедшей в моду в обществе.

Бирд открыто декларировал ревизионистский характер своей книги, подчеркивая, что она направлена против трех распространенных подходов к федеральной конституции: первый связывал принятие основного закона США с "предопределением судьбы", второй выводил ее из англосаксонской демократической традиции, третий избегал каких-либо интерпретаций, ограничиваясь обнародованием и классификацией документальных свидетельств. Этим трем подходам Бирд противопоставил новый метод, который без тени смущения и стеснения определил понятием, для многих историков звучавшим постыдно - "экономический детерминизм".[10]

Монография Бирда не оставляла сомнений, что использованный им метод действительно заслуживал этого названия. Изучив мотивы 55-ти участников филадельфийского конвента, принявшего основной закон США, он пришел к выводу, что эти мотивы непосредственно определялись как личными экономическими интересами авторов конституции, так и материальными запросами определенных имущественных элит США. Анализ "материального интереса" участников конвента позволил заключить, что подавляющее большинство среди них являлись владельцами "государственного долга", "ценных бумаг" Соединенных Штатов периода войны за независимость, что это большинство было заинтересовано в безотлагательной оплате их по нарицательной стоимости и рассчитывало на сильное федеральное правительство в интересах "денежного капитала", или "движимой собственности". Это большинство в свою очередь непосредственно выражало интересы четырех элитных групп, опять-таки владельцев "денежного капитала": финансистов, держателей государственного долга, мануфактуристов, торгово-купеческих кругов. Показав экономические истоки федеральной конституции с точки зрения воплощения в ней интересов американского северо-восточного "денежного мешка", Бирд пришел к определению конституции Соединенных Штатов как "экономического по существу документа".[11]

---

[10] Ibid., p.7.
[11] Ibid., p.324.

Исторические выводы Бирда часто заключали в себе открытую политическую оценку. Доказывая, например, что подавляющее большинство американского общества составляли социальные группы, вообще не имевшие политических прав (черные рабы, законтрактованные слуги, свободные белые мужчины, не удовлетворявшие требованиям имущественного ценза и лишенные в силу этого избирательного права, и, наконец, женщины) или обладавшие этими правами, но не оказавшие влияния на процесс принятия конституции (ремесленники, матросы, мелкие фермеры), он решительно отвергал взгляд на основной закон США как на демократический документ, тем более продукт народного волеизъявления. Благодаря подобным выводам Бирда его монография многими воспринималась и воспринимается как историко-политологическое сочинение, непосредственно обслуживавшее популистско-прогрессистскую идеологию конца XIX - нач. XX веков. Есть весомые основания констатировать: и бирдовские представления о характере зависимости политической власти от экономических интересов, и его выводы об особой ответственности денежно-финансового капитала за недемократизм федеральной конституции и непричастности народа к принятию конституции являлись в теоретико-идеологическом плане калькой популистско-прогрессистского мировоззрения. Очевидно и другое: эта идеология повлияла на его методологию в гораздо большей мере, нежели Маркс, а тем более Мэдисон.

Традиция критики Бирдовской "экономической интерпретации" конституции Соединенных Штатов насчитывает уже несколько десятилетий, по своему объему эта критика в десятки раз превосходит саму монографию Бирда, и здесь я ограничусь суммированием ее основных положений.

Рассматривая конституцию США как "экономический по существу документ", Бирд сознательно игнорировал роль политической философии, мировоззрения отцов-основателей как фактора, повлиявшего на основной закон США. При характеристике, например, мышления А.Гамильтона, вождя федералистов, духовного главы американского северо-восточного "денежного мешка", Бирд доказывал, что тому были чужды какие-либо "абстрактные принципы", что конституция в представлении Гамильтона преследовала цель удовлетворения экономических интересов "некоторых определенных собственнических групп общества".[12] В действительности же Гамильтон, да и многие другие авторы американской конституции были людьми высокообразованными, опиравшимися на арсе-

[12] Ibid., p.101.

нал политической философии и правовой мысли Просвещения. Безусловно, они брали под защиту интересы собственнических элит Америки, но одновременно стремились к достижению баланса и согласия различных социальных интересов, обеспечению гражданского мира при помощи конституционных методов, то есть на основе верховенства народного суверенитета, а потому шли на многие компромиссы с массами американцев.

Вопреки выводам Бирда конституция была положительно воспринята многими средними и даже низшими социальными слоями, а некоторые среди них, в первую очередь связанные с рынком фермеры, городские ремесленники и рабочие, как это показано в новейших исследованиях американских историков, открыто поддерживали ее. Также вопреки выводам Бирда в отношении конституции не наблюдалось и острого разделения среди американских элит. В ее выработке и принятии активную роль играла не только финансово-торговая буржуазия, но и аграрная элита в лице плантаторов-рабовладельцев. "Компромиссы, компромиссы и снова компромиссы", - это суждение о характере конституции, принадлежащее одному из влиятельных ее составителей, заключает в себе очень важный ключ к пониманию основного закона США.

На интерпретации Бирда лежала и очевидная печать антиисторизма, которая стала закономерной платой за попытки обнаружить в процессе принятии федеральной конституции конца XVIII века "исторические корни" неудач реформистских усилий прогрессистов рубежа XIX-XX вв. Фактически Бирд готов был признать конституцию демократической только в том случае, если бы она уже в конце XVIII в. была составлена по рецептам популистско-прогрессистской идеологии начала XX столетия.

В начале XX века монография Ч.Бирда вызвала, однако, не только и не столько критику в американской исторической науке, сколько энтузиазм, породила большое число поклонников "экономической интерпретации истории". Всходы, посеянные в 1910-е годы, дали обильный урожай в следующем десятилетии, когда прогрессистская школа стала самой заметной в американской историографии. В этом факте заключен своеобразный парадокс: ведь в 1920-е годы либерально-реформистские настроения в США резко пошли на спад, а на смену им пришло господство консервативного индивидуализма, поощрявшего отнюдь не социально-критические, а напротив, апологетические школы в обществоведении. Но последнее развивалось и по собственным законам, в частности, прогрессистская школа в историографии, которой понадобились не год, не два, а десять-пятнадцать лет для созревания и подготовки фундаментальных монографий по самым разным про-

блемам, выдала научную продукцию "на гора" именно в 1920-е годы. Продукция эта явно диссонировала с самодовольно буржуазной эпохой "просперити", как называли то десятилетие в Соединенных Штатах.

В 1920-е годы прогрессистская школа выдвинула целую плеяду крупных историков, среди них таких как А.Шлезингер - старший, Дж.Джеймсон, Дж.Т.Адамс, В.Л.Паррингтон, Л.Хэкер, Дж. Пратт, Г.А.Фолкнер. Бирдовский метод "экономической интерпретации истории", выявлявший воздействие непосредственных экономических интересов разных социальных слоев, в первую очередь элит, на ход американской истории, применялся ими к анализу колониального периода, революции конца XVIII века, англо-американской войны 1812-1815 гг., джексоновской демократии 1830-х и гражданской войны 1860-х гг., к изучению социальной, политической, военной и интеллектуальной истории. Опираясь на все эти труды, Ч.Бирд совместно с женой М.Бирд создал в конце 1920-х гг. двухтомное исследование "Развитие американской цивилизации", ставшее классическим синтетическим трудом по американской истории и, безусловно, лучшим обобщающим исследованием прогрессистской школы.

Метод "экономической интерпретации истории" в использовании Бирдов по-прежнему опирался на выявление непосредственных экономических интересов участников исторических событий, но теперь он включал и другие компоненты, существенно обогатившись и став по-настоящему цельным. В частности, Бирды, как и вся прогрессистская школа, выработали собственную концепцию классового конфликта в американской истории, оригинальную периодизацию американской истории и представление о характере американской цивилизации. Как и прежде, они отводили обвинения и подозрения об их связи с марксизмом, доказывали, что экономическая интерпретация истории и классовый анализ политики восходят к Аристотелю, лежат в основе учений англичан Дж.Гаррингтона и Джона Локка, характерны для взглядов американских отцов-основателей Дж.Адамса, Дж.Мэдисона и А.Гамильтона.[13] Все эти учения, конечно, были известны историкам-прогрессистам, но все же на их методологии, даже обогащенной и усовершенствованной, лежала печать популистско-прогрессистской идеологии.

---

[13] Schlesinger A.M. New Viewpoints in American History. N.Y., 1922, p.47-48; Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. М. 1962-1963, т.1-3, т.3, с.485.

Взять, к примеру, их концепцию социального конфликта в американской истории. Ретроспективный взгляд историков-прогрессистов на социальные конфликты в американской истории определялся в первую очередь их истолкованием характера классовых отношений в современной им Америке. Это истолкование было ярко выраженным антимонополистическим. Историкам-прогрессистам было присуще неприятие экономических, социальных и политических преимуществ, сосредоточившихся в руках монополистической верхушки и возросшего разрыва между положением буржуазной элиты и остальных слоев общества. Двучленную схему размежевания современного им американского общества (монополистическая буржуазия, с одной стороны, и резко "отставшие" от нее по большинству показателей остальные слои - от мелких бизнесменов до пролетариата) историки-прогрессисты "опрокидывали" в прошлое и применяли ко всем без исключения этапам американской истории. Согласно их концепции, борьба в американской истории неизменно развивалась между "аристократией", стремившейся к узурпации всех экономических, социальных, политических и духовных благ, и силами "демократии", выступавшими за их перераспределение на справедливой основе.

Под силы "демократии" подводились средний класс и пролетариат, а под аристократию - все элиты в американской истории от колониальных верхов до монополистической буржуазии. Кроме понятий "демократы", "демократия", "аристократия", другими любимыми терминами из современного им политического словаря, которые историки-прогрессисты свободно использовали применительно ко всем эпохам американской истории, были "радикалы" и "консерваторы". Так Бирд именно с их помощью обозначал политические размежевания Американской революции XVIII века, хотя сами ее участники этих терминов не знали. Под "консерваторами" в американской истории понимались те, кто выступал за сохранение социально-экономического и политического статус кво, а под "радикалами" те, кто нацеливался не на поверхностные, а на серьезные, в том числе революционные преобразования. Симпатии историков-прогрессистов были неизменно на стороне демократии и радикалов, победы последних, по их заключению, были основой прогрессивного развития американского общества.

Исторический словарь Бирда и его последователей был, таким образом, словарем современной политики. Методологические их приемы также обнаруживают зависимость от политической практики современности, а кроме того, как это часто бывает с историками, заключают весьма вольную, основанную подчас на

здравом смысле, трактовку категорий права, социологии и политэкономии. Категориальный аппарат Бирда вызывает нередко недоумение и с трудом поддается объяснению, тем более что сам Бирд не утруждал себя обоснованием своих исторических категорий и методологии. Почему, например, под капитализмом он понимал только финансовый и промышленный капитал, а плантаторов и фермеров в число капиталистов не включал? Или почему частная собственность отделялась историками-прогрессистами от прав человека? Ответы на эти вопросы скорее всего можно найти в популистско-прогрессистской идеологии, что опять-таки подтверждает связь с ней бирдовской методологии.

Очень необычным, но типичным для прогрессистских историков оказался подход супругов Бирдов к истолкованию американской цивилизации. Все традиционные трактовки основывались на обосновании ее исключительности, так что стало даже само собой разумеющимся, что понятие "исключительность" только и является ключом к цивилизации, а цивилизационный подход означает раскрытие факторов и явлений, обусловивших непохожесть и неповторимость цивилизации. Бирды же свершили по меркам американской историографии невероятное: они явно попытались раскрыть общие закономерности в развитии американской и европейской цивилизаций. В результате войну за независимость и гражданскую войну они стали трактовать как социально-политические революции, а социальные конфликты в Америке рассматривать в значительной мере по аналогии с классовыми конфликтами в Европе. Американскую историю они "населили" конфликтами, антагонизмами, страстями ничуть не меньше тех, которые были присущи Старому Свету.

Подход Бирдов к американской цивилизации был последовательно социально-критическим. В колониальный период "широкое распространение собственности" и начал самоуправления, доказывали Бирды, сочеталось в Америке с социальными контрастами, сохранением феодальных пережитков в среднеатлантических и южных колониях, отстранением от участия в выборах не менее половины свободного мужского населения. Обширные конкретные материалы, приведенные Бирдами, давали основание для заключения: накануне Войны за независимость Северная Америка испытывала потребность не только в освобождении от колониального гнета, но и в глубоких социально-экономических и политических демократических преобразованиях. Благодаря этим преобразованиям, доказывали Бирды, Война за независимость превратилась в социально-политическую революцию. Следствием революции, по их заключению, были не только демократические преобра-

зования, но также смена правящих элит, при этом новая элита стала быстро превращаться в новую аристократию, принявшую и использовавшую в своих интересах "консервативную" федеральную конституцию 1787 года.

Первым крупномасштабным демократическим наступлением на позиции новой американской элиты Бирды, подобно всем историкам-прогрессистам, считали джексоновскую демократию (под нею в первую очередь понималось президентство Э.Джексона в 1829-1837 гг.). Победы сторонников Джексона, согласно Бирдам, были обусловлены двумя факторами - резко возросшей социальной и политической активностью фермерства Запада и подъемом рабочего движения восточных штатов. Джексоновская демократия трактовалась ими как правление фермерско-рабочей коалиции, нанесшей сокрушительный удар по финансово-банковской элите нации.

Следующая консервативная элита, ставшая в схеме Бирда на пути американской демократии - это плантаторы-рабовладельцы южных штатов. Вопреки всем канонам американской академической историографии Бирды определяли капиталистический Северо-восток и рабовладельческий Юг как две "антагонистические системы",[14] а гражданскую войну 1860-х годов рассматривали как вторую Американскую революцию.

Исповедуя принцип "экономической интерпретации истории", Бирды вступали в полемику с большинством американских историков, доказывавших, что рабство не могло рассматриваться в качестве причины гражданской войны, поскольку его отмена не значилась в идейно-политической платформе северян и возглавлявшей их республиканской партии. Бирды же предлагали различать две причины гражданской войны - фундаментальную и непосредственную. К фундаментальной причине они относили "столкновение двух господствующих систем организации труда - свободной и рабской"[15] и приводили разнообразные аргументы и факты, показывавшие нарастание их антагонизма в разных сферах американской жизни в десятилетия перед гражданской войной. Конфликт этих систем был по сути равнозначен социальной революции, не уступавшей по своим последствиям великим европейским антифеодальным революциям, он оказался "социальным катаклизмом, в результате которого капиталисты, рабочие и фермеры Севе-

---

[14] Beard Ch.A., Beard M.R. The Rise of American Civilisation. Vol.2, p.3,7.
[15] Ibid., Vol.1, p.702.

ра и Запада отстранили от власти в национальном правительстве плантаторскую аристократию Юга".[16]

Определяя рабство как первопричину конфликта Севера и Юга, Бирды вместе с тем задавались очень важным и сложным вопросом: почему уничтожение рабства не фигурировало среди непосредственных причин гражданской войны или, как сказали бы мы сегодня, почему идеологическое выражение причин гражданской войны не совпадало с ее основополагающей материальной причиной? Подобно многим американским историкам, Бирды отмечали отсутствие требования об уничтожении рабства в платформе республиканской партии, в выступлениях А.Линкольна в канун гражданской войны. И уже в отличие от них Бирды видели в идеологической платформе северян, делавшей упор на требованиях территориального ограничения рабства и верховенства федерального правительства, своеобразную фальсификацию целей второй Американской революции.

Рабство вызывало в сознании северо-восточной буржуазии, доказывали Бирды, противоречие: с одной стороны, буржуазия осуждала его как докапиталистическую форму эксплуатации рабочей силы, а с другой - видела в аболиционистском требовании уничтожения рабства вопиющее попрание священного права частной собственности. Это противоречие буржуазного сознания предопределило компромисс во взаимоотношениях капиталистов Северо-Востока с плантаторами Юга, закрепленный в конституции 1787 г. и поддерживавшийся более полувека.[17]

Расценивая рабство в качестве основополагающей, но не получившей идеологического выражения причины гражданской войны, Бирды критиковали тех историков, которые рассматривали идеологическое (типа аболиционистской критики) осуждение рабства в качестве непосредственного толчка схватки Севера и Юга. В частности, Бирды не приняли концепцию Дж.Роудса, который доказывал, что северяне руководствовались гуманистическими мотивами, моральным осуждением рабства. Историки-прогрессисты исходили из того, что сознание северян было исполнено расовых предрассудков, что война велась ими отнюдь не ради бескорыстного освобождения негров и что в основе второй Американской революции лежала не моральная, а социально-экономическая несовместимость капитализма и рабства.

---

[16] Ibid., Vol.2, p.54.

[17] Ibid., Vol.1, p.702, 711. Характерно, что в данном случае Бирды определяли конституцию 1787 г. как классовый компромисс между северо-восточной буржуазией и южными плантаторами и отошли от точки зрения, высказанной в 1913 г. и трактовавшей конституцию как воплощение воли торгово-финансовой буржуазии.

Бирды рассматривали гражданскую войну как социальную революцию и с точки зрения ее происхождения, и с точки зрения ее итогов. Бирды одними из немногих американских историков главными вопросами социальной революции объявляли смену господства одного класса другим (в гражданской войне - плантаторов-рабовладельцев промышленной буржуазией) и изменение в отношениях собственности. Бирды сознательно отказались писать историю гражданской войны как военную историю: характерному для традиционной американской историографии описанию подходов, наступлений и отступлений, драматических сражений они демонстративно предпочли анализ социального законодательства, межпартийных и внутрипартийных размежеваний, изменения состояния промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Имея в виду главный итог гражданской войны - отмену рабства, они подчеркивали не столько ее морально-этическую сторону, сколько заключенный в ней факт экспроприации собственности плантаторов-рабовладельцев на сумму 4 млрд. долларов (беспрецедентной, по словам историков, конфискации "в истории англосаксонского права").[18]

Бирды считали ограниченным характер гражданской войны как социальной революции: она освободила негров без земли, обрекла их тем самым на униженное экономическое, социальное и политическое существование. Показательно, что Бирды, определяя гражданскую войну как социальную революцию, ни разу не употребили в отношении нее термина "демократическая".

Вообще Бирды отказывались ставить знак равенства между понятиями "капитализм" и "демократия", более того, рассматривали их как антиподы, что особенно ярко проявилось в трактовке ими третьего основного, по их концепции, периода американской истории, начавшегося сразу после гражданской войны. В их изображении третий период истории США - это триумф и вакханалия капиталистического класса, новоявленных "капитанов индустрии". Историки показывали, как по завершении гражданской войны финансисты и промышленники Северо-Востока освободились от союзнических обязательств в отношении пролетариата, фермерства, негров, утвердили политическое господство и начали беззастенчиво использовать механизм государственной власти для создания своих экономических империй. Бирды подводили красноречивый итог классового диктата "капитанов индустрии": за четверть века после окончания гражданской войны и Реконструкции в анналах конгресса не зафиксировано ни одного демократического закона, а

[18] Ibid., vol.2, p.100.

немногие псевдодемократические акты типа "антитрестовского" закона Шермана провалились. Зато все требования предпринимателей - золотой стандарт, запретительные (непреодолимые для иностранных конкурентов) тарифы, земельные пожалования корпорациям, судебные предписания против профсоюзов - в полном объеме воплотились в жизнь.[19]

Концепция третьего периода американской истории может создать впечатление о наличии у Бирдов не только критического отношения к капитализму, но даже антикапиталистических "предубеждений". Насколько верно это предположение? Представляется, что отношение Бирдов к капитализму было именно социально-критическим, не более, но и не менее того. Бирды ни разу не подвергали сомнению целесообразности капиталистических экономических основ. Вместе с тем они решительно отказывались ставить знак равенства между капитализмом и гуманизмом, капитализмом и социальной демократией и при помощи обширных исторических материалов своей монографии об американской цивилизации показывали, что капитализм в его естественно-историческом развитии утверждает экономическое и политическое господство элит и что творцом экономической, социальной и политической демократии может быть только народ - в случае, если он способен противопоставить свою волю высшему классу.

Но именно эта концепция и лежала в основе популистско-прогрессистской идеологии, твердым приверженцем которой Чарлз Бирд оставался до конца 1920-х гг. Наличие идеологической "начинки" в методологии, теоретических построениях, концепциях Чарлза Бирда очевидно. Но означает ли это, что научная значимость знаменитых монографий Бирда равна нулю или в лучшем случае минимальна?

Представляется, что наличие в монографиях Бирда ярко выраженных идеологических установок определенно исказило объективную картину американского исторического процесса, но отнюдь не перечеркнуло оригинального научного вклада Бирда в историографию. Более того, как это ни звучит парадоксально, но научный вклад Бирда оказался существеннее вклада многих историков, создававших монументальные фактографические полотна американской истории и чуравшихся каких-либо идеологических влияний. Этот парадокс нуждается в разъяснении.

Прежде всего, об очевидных недостатках Бирда. Его исторические интерпретации, безусловно, являются односторонними. Характеризуя различные социальные силы американской истории,

---

[19] Ibid., vol.2, p.312-313.

Бирд изображал элиты преимущественно черными красками, а средние слои и низы, то есть народ, белыми. В действительности роль тех и других была куда как более разнообразной и противоречивой. Кроме того, поведение элит и народа, как и их взаимоотношения, вопреки видению Бирда, были различными в различные периоды американской истории. В ранний период и в эпоху образования США американские торгово-предпринимательские слои, финансисты сыграли большую позитивную роль в создании основ быстрого экономического развития Соединенных Штатов, а просвещенная политическая элита немало способствовала утверждению передового государственного строя. Позитивные начала присущи и деятельности американских элит в последующие эпохи, в том числе и на рубеже XIX-XX вв., когда предпринимательская активность элит привела не только к созданию монополий, но и выходу США на ведущие позиции в мире. Вместе с тем элиты этого этапа, в основном нувориши, в наибольшей степени проявляли недемократизм, эгоизм, интеллектуальное невежество. Бирд абсолютизировал эти недостатки современных ему американских буржуазных элит и механистически, нарушая принципы историзма, переносил их на элиты прошлого, в том числе на отцов-основателей страны.

Противоречивой была роль в американской истории тех социальных сил, которым Бирд выставлял одни плюсы. Например, политические силы, являвшиеся опорой джексоновской демократии, хотя и клялись в верности демократическим принципам, но сами проявляли нетерпимость в отношении оппонентов, а разрушение ими национального банка наряду с определенным позитивным эффектом (оживление экономической конкуренции) привело и к дестабилизации финансово-денежной системы страны. Массовые демократические движения рубежа XIX-XX веков питались во многом консервативными экономическими идеалами, выдвигали фантастические версии при объяснении своих неудач (они относились на счет заговоров сильных мира сего), намечали зачастую упрощенные и утопичные пути достижения социальной справедливости. В отношении демократических сил критический подход Бирду был чужд.

Односторонне критический подход Бирда к роли элит в американской истории имел два следствия. Первое - это умаление и даже отрицание их вклада в национальную историю. Второе следствие - концентрация Бирда на тех сторонах деятельности элит, которые прежде почти полностью выпадали из поля зрения академической историографии. Раскрытие этих сторон, среди которых наличествовали эгоистические материальные интересы и расчеты,

стремление подчинить им государство и партии, негативное отношение к демократии, пренебрежение чаяниями народа, неизменно подкреплялось в трудах Бирда обильными первоисточниками. Очевидно, что новаторский подход Бирда сформировался под непосредственным воздействием популистско-прогрессистских движений, но, реагируя на их заказ, Бирд в своих исследованиях стремился использовать приемы профессиональной историографии, а потому создал труды, которые были научными, а не публицистическими, и которым было даже суждено войти в классику американской исторической науки. Чуткая реакция на вызовы современности в сочетании с профессионализмом помогла историку создать оригинальные исследования, осуществить важную и принесшую исторической науке пользу ревизию историографического наследия. Но очевидно и то, что чуткая реакция Бирда на вызовы времени достигла степени, превратившей историка в методологическом и теоретическом отношении в пленника популистско-прогрессистской идеологии. Результатом стало то, что оригинальные труды Бирда оказались одновременно односторонними, в которых наряду с раскрытием неизвестных компонентов исторической истины были проигнорированы компоненты, не укладывавшиеся в популистско-прогрессистские идеологические схемы.

Как свидетельствует анализ научного творчества Бирда, ему так и не удалось создать сбалансированных научных трудов, вмещающих и излагающих разные стороны исторического процесса. Более того, Бирд предстает, судя по его дальнейшей научной эволюции, историком крайностей, круто, на 180°, менявшим свои методологические, теоретические и исследовательские подходы. Это "шараханье" из одной крайности в другую опять-таки произошло под непосредственным воздействием смены исторических эпох.

Коренное изменение исторических взглядов Ч.Бирда произошло очень быстро, в течение буквально нескольких лет в начале 1930-х годов. Именно те годы совпали с основополагающими переменами в мировой истории. Первая среди этих перемен, отчетливо прослеживающаяся в эволюции взглядов американского историка - это стремительное утверждение тоталитарных режимов в крупнейших странах мира - Германии, Италии, СССР. Триумф отвратительных в глазах Бирда диктаторских режимов не мог быть, по его убеждению, объяснен одними экономическими причинами, более того, как полагал историк, события в ведущих странах Европы свидетельствовали, что "военный человек", как и "политический человек" могли влиять на ход истории гораздо серьезнее, чем "экономический человек". Другая перемена, повлиявшая на мировоззрение Бирда - это радикальный поворот в истории его соб-

ственной страны, Соединенных Штатов Америки. Экономический кризис 1929-1933 гг. сопровождался всплеском политических баталий и приходом к власти выдающегося государственного деятеля Ф.Д.Рузвельта, оказавшегося способным придать американской истории новое направление. Бирд с самого начала оказался поклонником реформ Рузвельта, увидев в них альтернативу и германскому фашизму, и советскому социализму. Новый курс Рузвельта, по его убеждению, был нацелен на воплощение в стране подлинной социальной справедливости, в результате чего США стали бы воплощением самой справедливой в мире цивилизации. Вследствие всех радикальных исторических перипетий начала 1930-х гг. Бирд поменял и свои методологические принципы, и подходы к американскому прошлому.

В 1930-е годы Бирд прочно встал на позиции релятивизма: каждое историческое явление, не уставал повторять он, неповторимо, уникально, а потому конструировать какие-либо схемы и закономерности исторического процесса бессмысленно и вредно. Другая теоретическая идея, почерпнутая Бирдом у итальянского историка Б.Кроче, ставшего поистине его кумиром, заключалась в том, что историография есть в первую очередь воплощение мыслей современников о прошлом. "Если дать самое реалистическое определение понятию "история", в его общепринятом и наиболее употребительном смысле, то следует признать, что история есть мысли о ней, а не реальность, источники или специфическое знание", - утверждал Бирд в своем программном выступлении в качестве президента Американской исторической ассоциации в 1933 году.[20]

Бирд решительно отверг принципы классического позитивизма, которым в значительной степени следовал в предшествующий период. В его критике О.Конта, Г.Спенсера, других классиков позитивизма были рациональные моменты (например, протест против рассмотрения исторических законов по аналогии с биологическими или физическими законами), однако пафос ее был направлен против признания законов исторического развития как таковых и возможностей их познания. В конечном итоге Бирд отказал историографии в праве именоваться наукой и стал рассматривать ее как разновидность общественной мысли или искусства. Показательна в связи с этим его критика ранкеанского объективизма. Последний был подвергнут острой критике в прогрессистской историографии, в том числе и в работах Ч.Бирда, еще в начале XX века. Но если в тот период прогрессисты критиковали фон

---

[20] Beard Ch.A. A Written History as an Act of Faith. - American Historical Review. 1934. Jan. Vol.39, N 2, p.219.

Ранке за фактографичность, пренебрежение социально-экономической историей и ролью народных масс, то Бирд в 30-40-е годы критиковал ранкеанское притязание на объективное выявление и описание исторических фактов. Справедливо указывая, что ранкеанская "объективность" и "фактографичность" на практике воплотили интересы европейских реакционных сил посленаполеоновской эпохи, Бирд ставил под сомнение само наличие объективных исторических фактов и объявлял их категорией субъективного восприятия историка.[21]

Решающую роль в историческом процессе Бирд закреплял уже не за материальными интересами, а за такими факторами, как идеи и идеология, поступки людей, "иррациональность и насилие" и особенно "амбиции и усилия исключительных личностей".[22] А в их постижении огромную роль играла интуиция историка, его способность "вживаться" в помыслы героев и психологию масс.

Как все эти методологические установки повлияли на трактовку Бирдом американского исторического опыта? В первую очередь они дали ему возможность для отстаивания тезиса о неповторимости, уникальности американской истории. Созданная им прежде концепция американской цивилизации была отброшена. В конце 1930-х - начале 1940-х гг. супруги Бирд издали III и IV тома "Развития американской цивилизации", которые в теоретическом и методологическом плане не имели ничего общего с первыми двумя. Особенно показателен IV том, озаглавленный "Американский дух. Исследование идеи цивилизации в Соединенных Штатах".

В начале книги Бирды категорически заявили об уникальности американской цивилизации, ее сущностном отличии, даже при наличии сходства в некоторых чертах, от всех иных цивилизаций, в том числе европейских. Китайская стена возводилась ими даже между американской и английской цивилизациями. Бирды охарактеризовали факторы, которые определили уникальность цивилизации в США: это изначальные демократические свободы, социальный состав эмиграции, формировавшейся из бунтарских слоев феодальной Европы, уникальное географическое положение Америки, наличие огромного количества свободных земель и равенство экономических возможностей, высокая социальная мобильность.[23] В такой трактовке было мало оригинального, она являлась квинтэссенцией традиционалистских концепций, которые Бирдами бескомпромиссно отвергались в первой четверти XX века.

---

[21] Ibid., p.220-221.

[22] Beard Ch.A. The Economic Basis of Politics. N.Y., 1945. P.91.

[23] Beard Ch.A., Beard M. The American Spirit. A Study of the Idea of Civilization in the United States. N.Y., 1942, p.149-152.

Более оригинальным было обоснование цивилизационного подхода к истории. Сама идея заимствовалась из философии Просвещения, а провозглашенные этой философией ценности - свободы слова, печати, объединений, естественные и неотъемлемые права человека, политическая демократия и разделение властей - объявлялись внеклассовыми идеалами и достояниями. Цивилизационный подход противопоставлялся марксистскому классовому подходу, который решительно осуждался. Здесь Бирды впервые подвергли жесткой критике Маркса, который, по их мнению, ошибочно отождествил цивилизационные идеалы Просвещения с "буржуазной цивилизацией". Эти ценности были, как доказывали Бирды, не классовыми, а универсально гуманистическими и служили надежной основой для оценки прогрессивности того или иного общества.[24]

Бирдовская концепция цивилизационного подхода, признающая наличие универсальных внеклассовых общественных ценностей, и одновременное рассмотрение Соединенных Штатов Америки как совершенно уникальной цивилизации оказались в очевидном противоречии друг с другом. С одной стороны, Бирды неизменно подчеркивали уникальность американской цивилизации, а с другой, доказывали, что Соединенные Штаты лидировали в утверждении не чего иного, как универсальных цивилизационных ценностей.

В работах 1930-40-х гг. Бирд пересмотрел практически все прежние интерпретации американского прошлого, совершая подчас фантастические сальто-мортале. Особенно показательно изменение оценок отцов-основателей и характера американской конституции 1787 года. Если в 1913 г. он писал о консервативном, откровенно антидемократическом классовом характере федеральной конституции, то три десятилетия спустя превозносил мудрость отцов-основателей, отказываясь видеть в высшем законе США какие-либо недостатки. Авторы конституции, доказывал он, были прагматиками, что позволило выработать "емкие" и "гибкие" статьи конституции, способные служить орудием утверждения образцов демократии, в том числе и социальной. Когда-то Бирд писал о правлении федералистов в 90-е годы XVIII в., как об одном из наиболее реакционных периодов в американской истории, а в начале 40-х годов уже определял его как федералистский "новый курс", который помог "сцементировать союз, преобразовать страну из

[24] Ibid., p.457-462.

сырьевого придатка Европы в независимую промышленную нацию".[25]

В 30-40-е гг. Бирд воспринял тот широко распространенный в американской историографии вывод, что главным и идеальным механизмом общественных преобразований в США является двухпартийная система и что функция третьих партий, массовых народных движений, радикалов и революционеров заключается в том, чтобы поднимать актуальные социально-политические вопросы, которые могли получить практическое разрешение исключительно на основе усилий республиканцев и демократов.[26] Так Бирд отказался от идеи о решающей роли социального конфликта в историческом развитии США, являвшейся лейтмотивом его исторических работ раннего времени.

В концепции американской истории, созданной Бирдом в 1930-е гг., опыт США явно выступал как позитивная альтернатива тоталитарным экспериментам европейских стран. При этом Бирд исповедовал либерально-реформистскую веру, то есть полагал, что Соединенные Штаты должны развиваться на основе классовых компромиссов, преодоления крайностей неравенства при помощи государства, если уж были исчерпаны естественные регуляторы. Он стал горячим поклонником рузвельтовского нового курса, в котором видел либерально-реформистскую альтернативу, с одной стороны, социалистическим революциям, а с другой - фашистским режимам. В 1934 г. в эссе "Собственность и демократия" Бирд писал о наличии у частной собственности "социальной стороны" и обосновывал право государства регулировать ее развитие. В 1937 г. он прогнозировал национализацию "целых секторов капиталистической системы" и видел смысл "демократического процесса" в дополнении политической демократии экономической. В 1944 г. Бирд резко осудил книгу "Путь к рабству" апостола буржуазного индивидуализма Ф. фон Хайека, в которой решительно отвергалось расширение социально-экономических функций государства.[27]

Характеристика исторических взглядов Бирда будет неполной без учета его концепции внешней политики США, изложенной в монографиях "Идея национального интереса", "Открытые двери внутри страны" и ряде других. Бирд указывал, что в США сложилось три главных направления в подходе к проблемам внешней политики. Первое - имперский изоляционизм - настаивало на отказе от каких-либо долговременных международных обязательств и со-

---

[25] Beard Ch.A. The Republic. N.Y., 1943, p.115, 270.

[26] Ibid., p.271-272.

[27] Borning B.C. The Political and Social Thought of Charles A.Beard. Seattle, 1962, p.191-193.

юзов, выступало за "свободу рук" в достижении своих целей на мировой арене. Второе направление - так называемый интернационализм - выдвигало требование вовлечения США во всевозможные лиги и блоки якобы в целях поддержания мира, а на самом деле - утверждения гегемонии Соединенных Штатов на международной сцене. Бирд развенчивал империалистический характер обоих направлений, но особенно критиковал второе, использовавшее для обоснования своих целей демократическую риторику.

Третье направление - "континентализм" - добивалось неучастия США в военно-политических союзах и отказа от внешнеэкономической и политической экспансии как средства удовлетворения интересов американского капитала и способа решения внутренних социальных проблем. "Континентализм" (по терминологии отечественных историков - "демократический изоляционизм")[28], к которому Бирд причислял и себя, требовал от правящих кругов США сосредоточиться на внутренних проблемах и отказаться от активной внешней политики, особенно участия в блоках, что было чревато втягиванием страны в крупномасштабные войны. Он объявлял трагическими для США последствия их участия в первой мировой войне: в стране был свернут курс на либеральные реформы, произошел ренессанс грубого индивидуализма. Не менее трагическими последствиями, доказывал Бирд, было бы чревато вовлечение США в новые конфликты европейских держав, тем более участие на чьей-либо стороне в новой мировой войне.[29]

В последние годы жизни исторические взгляды Бирда приобретали все более политизированный характер, исторические труды превращались им в средство идеологической борьбы. То, что он выступал при этом на стороне либерального, а не консервативного лагеря, не меняло сути дела - его исторические концепции, используя известное выражение, оказались "политикой, опрокинутой в прошлое". Сам Бирд на склоне лет пытался, как бы объясняя, а возможно и оправдывая свои научные зигзаги, представить тесную зависимость историка от своей эпохи и ее перипетий в качестве сущностной характеристики исторической профессии и высказал в связи с этим суждение, ставшее крылатым: "История! Да это кот, которого тянут за хвост туда, куда он меньше всего хочет идти сам!". Но подобные зигзаги, вопреки мнению Бирда, все же не являются некоей универсалией, "правилом поведения" историков. Вместе с тем, они весьма типичны и, как представляется, в связи с

---

[28] Манькин А.С. Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США. 1923-1929 гг. М., 1980, с.12-13.

[29] Kennedy T.C. Charles A.Beard and American Foreign Policy. Gainesville (Flo.), p.118-163, 313-328.

историографической ситуацией, сложившейся в современной России, заключают в себе злободневные уроки.

Случай с Бирдом свидетельствует, что "диалог" с собственной эпохой, которого историк избежать не в состоянии, таит в себе противоречивые следствия для историографии. С одной стороны, новая эпоха, как об этом, на мой взгляд, особенно ярко свидетельствует первый этап научной деятельности Бирда, дает возможность историку, чутко реагирующему на ее вызовы, увидеть в прошлом те пласты, которые прежде оставались незамеченными, и полно использовать скрытые прежде возможности для создания оригинальных научных трудов. Но тот же этап свидетельствует и о другом: в "диалоге" историка с собственной эпохой существует опасный рубеж, переступив который, он оказывается пленником современности и подчиняет ее запросам свои исторические подходы.

Неспособность Бирда сохранить научный суверенитет, вступая в диалог со своей эпохой, проявилась еще более полно на втором этапе его творчества. Тогда Бирд круто поменял свои исторические взгляды, сменив социально-критический подход на апологетический. Труды второго периода мало что добавили к его научному имени, ибо если бирдовский социально-критический подход при всей его односторонности был все же оригинален и способствовал выявлению неизвестных сторон американского опыта, то апологетический подход всегда использовался большинством американских историков и, воспользовавшись им, Бирд в лучшем случае освежил и синтезировал концепции традиционалистской историографии. При этом и апологетический, и социально-критический подходы отражали определенные, хотя и разные исторические реалии, но исследовать их взаимосвязь и цельность ни один из подходов не был в состоянии. А без этого ни одно из исторических исследований объективным не может быть признано.

Все сказанное о Бирде не означает, что его труды не имеют научного значения. Он использовал односторонние подходы к истории, но использовал их талантливо, так что его труды, как раскрывающие отдельные стороны и механизмы американской истории, до сих пор представляют научный интерес. Но всесторонней научной картины прошлого США они не содержат. Если не всю, то часть вины за это несет сам Бирд, талантливый американский историк, который, чутко реагируя на вызовы своего времени, защищал и выражал с помощью своих исторических трудов определенные политические тенденции.



А.Л.Ястребицкая

ИСТОРИК КУЛЬТУРЫ ЛЕВ ПЛАТОНОВИЧ КАРСАВИН: У ИСТОКОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В РОССИИ

"Он был великим не потому, что накопил большое количество выписок и написал кое-какие научные исследования; а потому, что всегда вносил в свою работу ощущение жизни, которым не пренебрегает ни один подлинный историк".[1]

Эти слова Люсьена Февра (1878-1956), сказанные им о своем младшем друге и единомышленнике Марке Блоке (1886-1944), могут быть с полным основанием отнесены и к их современнику - российскому историку Льву Платоновичу Карсавину (1882-1952). Жизнь не сводила основателей "Анналов" и Новой исторической науки с Карсавиным лично, не были они, видимо, знакомы и с творчеством друг друга. Впрочем, трудно утверждать это с полной уверенностью. Ведь после вынужденной эмиграции в 1922 г. Карсавин обосновался в Западной Европе, сначала в Берлине, затем непосредственно в Париже. И даже после того, как он в 1928 г. стал профессором только что основанного университета в Каунасе, связь его с Францией, где в Париже оставалась семья, сохранилась. Но дело даже не в этих формальных фактах и житейских связях. Как известно, парижский период (1924-1929) эмигрантской жизни Л.П. Карсавина - это время его активной деятельности как одного из теоретиков русского евразийского эмигрантского движения. С 1925 г. Карсавин регулярно печатается в евразийских изданиях, с 1926 г. руководит "Евразийским семинаром", в центре занятий которого цикл его лекций "Россия и Европа" и идеи культурного единства этапов исторического развития и самой истории человечества как процесса взаимодействия культур. И кто знает, может быть, не только стремление к сравнительному исследованию аграрной истории средневековой Европы побудило М.Блока изучить русский язык, о чем упоминает Л.Февр в своих записках о нем.

Но как бы то ни было, и всемирно известные сегодня французские историки, и их российский коллега, истинный масштаб творческой личности которого до сих пор остается непроясненным и недооцененным в полной мере даже на его родине, жили не просто в одно время и почти в одном месте. Они жили в одном мире - европейском начала нового столетия, пережившем катастрофу первой мировой войны, революционные потрясения и крушение одной из крупнейших европейских монархий. Они были талантливы и

[1] Февр Л. Марк Блок и Страсбург. // Февр Л. Бои за историю. М., 1991.

ангажированы своим временем и своей наукой. И не удивительно, что их имена оказались в одном ряду тех, через чье творчество историческая наука XX века впервые открыто и последовательно артикулировала свою потребность в самоидентификации, в выработке новых, адекватных ее возможностям и самой природе исторического знания, методов постижения прошлого. Это совпадение не случайно. Напротив, мы имеем здесь дело с одним из уникальных проявлений закономерности, но закономерности культурно-исторической, реализующейся на уровне интеллектуальной истории. И Л.Февр, и М.Блок, и Л.Карсавин были людьми одной культуры, и присущее ей сознание, порождавшее "однородные идеи и запросы", было достоянием каждого из них.

Данная статья не предполагает сравнительного анализа. Предварительный и общий контур его уже был намечен мною в первых публикациях, посвященных творчеству Л.П.Карсавина-историка.[2] Здесь же мне хотелось бы еще раз акцентировать внимание на процессе формирования в его творчестве самой идеи новой исторической науки как истории тотальной и культурной, а также ее инструментария. Эта задача представляется тем более актуальной, что в массе появившихся в последнее время публикаций, посвященных Л.П.Карсавину или так или иначе упоминающих о его творчестве, присутствует один и тот же стереотип оценки его как "эволюционировавшего" от истории - истории средневековой религиозности - к философии и, в конечном счете, как исключительно религиозно-философского по характеру и основной направленности.[3] Подобный подход представляется мне неправомочным упрощением. Он механистичен и неоправданно раздробляет на редкость цельную методологически и концептуально, органичную по своей центральной идее научную практику и философские искания этого выдающегося ученого, в то время как карсавинская "эмпирия" и его конкретно-исторические исследования, исходят из одной и той же монистической идеи мира и истории как истории культурной и целостной. Развертываемая в разных ракурсах, история эта пронизывает и его работы по средневековой религиозности и культуре в целом, и истории православия и католичества, публи-

---

[2] Ястребицкая А.Л. Историк-медиевист Лев Платонович Карсавин (1882-1952). Аналитический обзор. М., 1991.

[3] См. Хоружий С.С. Карсавин и де Местр. // Вопросы философии. М., 1989, № 3, с.79-92; Он же. Лев Платонович Карсавин. // Лит. газ. М., 22 февр. 1989. По инициативе проф. С.С.Хоружего и петербургских философов создана Комиссия по творческому наследию Л.П.Карсавина и развернута публикация его основных трудов в серии "Памятники религиозно-философской мысли. Русская религиозная философия". В настоящее время вышло в свет три тома: Религиозно-философские сочинения. М., 1992; Философия истории. СПб., 1993; Малые сочинения. СПб., 1994.

цистические статьи, в частности и те, что относятся к периоду его "евразийской" деятельности, и цикл его "малых" философских сочинений, не говоря уже о фундаментальной монографии "Философия истории".

Л.П.Карсавин - историк культуры par excellence, по преимуществу. И думается, что далеко не случайно его последний большой труд, написанный в годы пребывания в Литве и вобравший в себя прочитанные им курсы лекций по античной и средневековой философии, имеет название "История культуры" (издан в 90-е гг. на лит. языке). Творчество Л.П.Карсавина можно было бы обозначить, пользуясь его же излюбленным термином, как "всеединство", своеобразно реализующееся в каждом его исследовании, будь то конкретно-исторические или теоретические труды.

Л.П.Карсавин - ученик выдающегося педагога и медиевиста И.М.Гревса. Он был его гордостью. "Из всех моих учеников, - вспоминает А.В.Карташев слова Гревса, - я первым по талантливости ставлю Г.П.Федотова. Но, конечно, выше всех сравнений я считаю сверхдаровитого Карсавина".[4] Это высказывание Гревса относится к 1914-1917 гг., когда уже появились в печати первые монографии Карсавина[5] и первые рецензии на них, в том числе и самого Гревса. "Чувствуется сила и вдохновение, очень большие знания, печать подлинного исследователя, настоящая способность исторического творчества, несмотря на серьезные пробелы в технике и искусстве...", - такими словами завершает И.Гревс свою рецензию на "Очерки...".[6] Но учитель шокирован, и дело не в отмеченных недостатках. Все гораздо серьезнее: его ученик

> "будто бы пережил веру в правильность "генетического метода" изучения истории и вообще, по-видимому, недоволен господствующими в нашей науке методическими взглядами и приемами, даже хочет, может быть, вообще отказаться от объяснения, от разыскания причинно-следственной связи между явлениями. Ему, видимо, желается ограничить себя описанием хода, но не внешних событий, как ставила свою цель некогда школа Ранке, а внутренних процессов, отмечая в их течении только сосуществования и последовательности, но не взаимодействия и генезис..."

Это цитата из той же рецензии Гревса, точно передающая существо методологической позиции, декларированной Карсавиным уже в магистерской диссертации. С большей определенностью и последовательностью эта позиция формулируется в "Основах средневеко-

---

[4] Карташев А.В. Лев Платонович Карсавин (1882-1952). // Л.П.Карсавин. Малые сочинения. СПб., 1994, с.471.

[5] Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII-XIII вв. СПб, 1912; Его же. Основы средневековой религиозности в XII-XIII вв. преимущественно в Италии. Пг., 1915.

[6] Гревс И.М. Рецензия. // Науч. ист. журн. / Под ред. Н.И.Кареева. СПб., 1913. Т.I, вып.1, № 1, с.80-91.

вой религиозности". Как и в первой монографии, в центре внимания автора здесь не богословские системы, не идеология, но тот всеобщий подъем религиозных чувствований, эмоций, который определял особенность XII-XIII вв. - кульминационной эпохи Средневековья; энергия и инициативы церкви, как участника и одного из движителей и "направителя" этого подъема; столкновения и взаимодействие ересей и традиционной религиозности и т.п.

Более последовательно выдержанное методологически и методически, это исследование с полным правом можно было бы назвать манифестом новой исторической науки в российской историографии. Карсавин открыто направляет здесь свою критику против "мании" поиска происхождения и классификаций, которой была одержима современная ему наука. Важно понять не то, "как создавалось", пишет он в обширном введении к этой книге, а "как было" - найти в самих фактах, собранных историком, присущую им внутреннюю упорядочивающую взаимосвязь, обеспечивающую единство и неповторимое своеобразие изучаемого им времени. Карсавин формулирует здесь суть своего научного подхода и вводит новую адекватную ему систему понятий. "Генетическому методу" он противопоставляет т.н. "статическую историю", поиску формальных причинно-следственных связей, "филиации" идей и институтов - изучение общего "религиозного фонда"[7] как системы "мирочувствования", мировидения, присущей данной исторической эпохе и проявляющей себя в сознании, восприятии жизни, поведенческих формах каждого индивида, этому обществу и эпохе принадлежащего:

> "Мы допускаем однородную психическую организацию людей данной эпохи, предполагаем, что люди такого-то времени и такой-то среды росли и образовывались в одинаковых условиях и под одинаковыми влияниями, которые должны были создавать в них одинаковые навыки, вызывать однородные запросы и идеи. Мы не допускаем, чтобы действие общих причин останавливалось перед чьей-нибудь колыбелью, даже колыбелью гения. Допуская своеобразные скрещивания влияний, мы тем не менее всегда предполагаем что-то общее и присоединяем сюда уравнивающее, сглаживающее индивидуальные особенности влияние взаимного общения..."[8]

---

[7] Вводимое Карсавиным в "Основах..." инструментальное понятие "религиозный фонд" по существу своему адекватно употребляемому им параллельно, но введенному раньше, в "Очерках...", понятию "средний религиозный человек" или "средний человек". Карсавин сам указывает на эту тождественность в своем Предисловии к "Основам...". Разъяснение этого термина, вызвавшего непонимание и острую критику, дается им также в вышедшей ранее "Основ..." статье "Символизм мышления и идея миропорядка в Средние века" (См. Науч. ист. журн. / Под ред. Н.И.Кареева. СПб., 1914. Т.I, вып.2, № 2, с.10-28).

[8] Карсавин Л.П. Основы... С.16.

Таким образом, проблема средневековой религиозности XII-XIII вв. выводилась Л.П.Карсавиным за пределы традиционной "истории духа" и формулировалась им как проблема культурная и социально-психологическая, как проблема коллективного сознания:

> "Мы берем человека не в тот момент, когда он "строит свое мировоззрение" или занимается его "выработкой", а на всем протяжении его жизни, когда он не думает о согласовании своих мыслей и чувств.".[9]

Именно этот метод, ориентирующийся на анализ "состояния" - "мировидения", определяющего систему внутренних взаимосвязей в обществе, Карсавин и называл "статической историей" - "системной", "культурной", сказали бы мы сегодня. И именно этот ракурс наблюдения позволил ему одним из первых ощутить скрытый в недрах духовной жизни Средневековья главный нерв средневековой культуры, определяющий ее специфику и дающий знать о себе во всех ее проявлениях - противоречивую двойственность, "антиномичность сознания", по выражению Карсавина - то, что современные историки культуры предпочитают называть амбивалентностью картины мира средневекового человека.[10] Он пишет в "Основах...":

> "Справедливая в общей форме антиномичность сознания особенно применима к изучаемой нами эпохе. Франциск Ассизский любит природу, восхищается ее красотой в "Гимне брату солнцу", он жалеет и любит свое тело "бедного брата осла". И он же изнуряет свое тело чрезмерною, достигающей пределов гастрономии аскезой, подавляет в себе естественнейшие и невиннейшие желания. Поэт пантеистической любви вдруг становится упорным борцом с демонами. Непосредственное подражание Христу и свободное понимание Его заветов чередуется в нем с формализмом и буквоедством. Папа Григорий IX, друг Франциска, умиляется до слез при виде жалкой жизни миноритов, он сам воспевает "Владычицу Бедность", и он же более, чем кто-либо другой, упорно и не стесняясь в средствах, борется за обладание миром. В ереси гневное отвержение церкви сочетается с неистребимой верой в нее, и вальденский диакон Раймунд де Коста безнадежно пытается примирить признание римского клира с признанием вальденской иерархии. Любвеобилие Доминика не мешает ему стать для еретиков "злым псом" Господа, и, посылая свои жертвы на костер, инквизитор проливает слезы перед образом Распятого. Внутри индивидуального сознания всплывают и сталкиваются противоречивые религиозности, и колеблющимся шагом по извилистым путям идут религиозные вожди к своим неосуществимым целям..."[11]

"Основы средневековой религиозности" - монография, ставшая программной для творчества Карсавина как историка

---

[9] Там же. С.36.

[10] Гуревич А.Я. Дух и материя: Об амбивалентности повседневной средневековой религиозности. // Культура и общественная мысль: Античность. Средние века. Возрождение. М., 1988, с.59-65; Он же. Категории средневековой культуры. М., 1984; Он же. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

[11] Карсавин Л.П. Основы... С.37.

культуры. Именно здесь впервые им была сформулирована идея исторического процесса как синтезирующего единства "социального" (т.е. всех видов социальной практики) и "психического" ("душевного"), под этим Карсавин понимал - и это важно подчеркнуть - состояние общественного сознания, духовную жизнь человека, в том числе и не всегда осмысляемые, но выражающие себя в поведенческих формах подсознательные рефлексы, то, что культурантропологи сегодня определяют термином "ментальность".

Чтобы оценить новаторство Л.П.Карсавина, вспомним, что то было начало XX века, время, когда историки, открыв для себя социологию, сферу производства и хозяйственной жизни, материальную культуру, в области культуры духовной не вышли еще за пределы "истории идей". Интерес же к "психологии", "психическому", "формам умствования", хотя и резко возросший в начале века, развиваясь автономно, не обрел еще исторического измерения. "Сопереживание", "вживание" и тому подобные термины имели широкое хождение, в том числе среди учеников И.М.Гревса. Но в карсавинском словоупотреблении этот термин означал не традиционную реконструкцию "душевного мира" людей прошлых эпох по аналогии с "нашим собственным", но стремление понять его в категориях именно их времени и присущего ему массового сознания.

Являлся ли Карсавин в этом первооткрывателем? Не суть важно. Несомненно однако, что он был в числе тех немногих, кто оказался в состоянии воспринять и артикулировать те еще едва уловимые идеи, которые нарождались в мировой науке. Жак Ревель, французский историк "школы "Анналов", в одной из своих статей говорит о работах 10-20-х гг., посвященных "формам умствования" и соответственно поступкам "первобытных" людей, детей, различных социальных групп и о прямом опыте "прививки психологии к истории", предпринятом А.Берром.[12] История, утверждал Берр, в общем и целом это сама психология, это - "рождение и развитие психэ"; он полагал также, что "эволюция человеческого" должна стать объектом науки о поведении, о поступках, которая дала бы к ним ключ, объяснила бы их. И десять лет спустя эту же мысль повторит Л.Февр.[13] Л.П.Карсавин знал и высоко оценивал монографию А.Берра в той ее части, которая каса-

[12] Berr A. La synthese en histoire: Essai critique et theorique. P., 1911.

[13] Ревель Ж. История ментальностей: Вехи изучения.//Споры о главном. М., 1993.

лась критического анализа современной историографии, в частности Г.Риккерта.[14]

Карсавин интересовался всем новым и значительным в историографии. Оставленный в 1906 г. по окончании университета на кафедре всеобщей истории для подготовки к профессуре, он был отправлен в научную командировку в Италию, работал в архивах Флоренции, знакомился с историческими памятниками Венеции, Падуи, Ареццо, Лукки. Летом 1907 г. он посещает Италию вновь, знакомится с научной жизнью Германии. В 1910-1912 гг. он работает над докторской диссертацией сначала в Париже, затем в Риме и Флоренции. Письма Карсавина тех лет, адресованные научному руководителю и близкому человеку И.М.Гревсу, содержат немало косвенных и прямых свидетельств его живейшего интереса к западноевропейской научной жизни и мысли.[15] Он интересовался ею, но искал свой путь. "Как-то хочется, старое сделав яснее, устремиться к новому, которое различаешь еще "сквозь магический кристалл", и скучно переписывать уже написанное в Париже и повторять давно ставшее ясным", - пишет Карсавин из Рима Гревсу (2 февраля 1911 г.).[16] Он в курсе новинок и околонаучных страстей: "Знаете ли Вы, - сообщает он в этом же письме, - что теперь Тейбнером издается новый Zeitschrift für Kulturgeschichte под редакцией Гётца, что Гётц писал там что-то о Kulturgeschichte и Белов, воспользовавшись этим случаем, выругал Лампрехта и опорочил его Институт?".[17] Постоянного внимания к зарубежным исследованиям требовала и его собственная интенсивная творческая жизнь и обширная педагогическая практика в предреволюционные и первые годы после революции, вплоть до высылки в 1922 г. из России на знаменитом корабле философов.

Но дело все же даже не столько и не просто в информированности Карсавина, сколько в том, что уже носившиеся в воздухе идеи нового метода историко-культурного синтеза и обновления на этой основе исторической науки были созвучны его собственным размышлениям и, что немаловажно, его манере, способу восприятия и осмысления мира. То, что прежде всего бросается в глаза в карсавинских описаниях его итальянских, например, впечатлений

---

[14] Карсавин Л.П. Введение в историю: Теория истории. - Пб., 1920. Вып.1: Введение в науку. История. С.53.

[15] Ястребицкая А.Л. Указ. соч.

[16] Российская историческая мысль: Из эпистолярного наследия Л.П.Карсавина: Письма И.М.Гревсу (1906-1916). / Сост. Клементова С., Клементов А.; Введение Ястребицкая А.Л.: У истоков культурно-антропологической истории в России. М., 1994.

[17] Там же. С.74.

- стремление к целостному восприятию, к выявлению контекста и всей совокупности возможных взаимосвязей, идет ли речь об отдельных памятниках архитектуры или архитектурных формах, городском ландшафте, отдельной провинции или творчестве художника, стиле хрониста и т.д. Во всех случаях первоочередным и главным для Карсавина является установление связи единичного с общим, целым, или, напротив, опознание следов этого целого в деталях и фрагментах и в конечном счете - обнаружение связи с "общественной психикой" и "возвращение" к целому, но уже "обогащенному" этим знанием. Ибо каждое индивидуальное и неповторимое развитие, будь то великие Ботичелли, Джотто или Франциск Ассизский, "укоренено в целом развитии" и вне связи с этим целым "мы никогда не сможем возвыситься от интереса антикварного до исторического". Объекты изучения историка - события, великие личности - лишь тогда открывают прошлое, "когда опознана их укорененность в единстве развития". "Единство развития" - вот, что интересовало Карсавина прежде всего в изучении исторического процесса и на раскрытие чего было ориентировано его исследовательское сознание и интуиция.[18] Работая над "Основами...", он пишет Гревсу:

> "Меня начинает занимать интересная сторона дела, эмбриональная еще в "Очерках". Это то, что можно назвать "диалектикой идей". Что ни говорите, но есть правда во всех этих гегельянских диалектиках, только надо понять их не метафизически, а позитивно. Продумывание до конца какой-либо религиозной идеи эпохи странным образом совпадает с ее раскрытием в источниках, так что не знаешь, что делаешь - измышляешь или подбираешь тексты. И еще больше правды в понятии "народного духа" "гения эпохи", только - тут мы с Вами разойдемся - следует понимать его, как общее, отличительное свойство "среднего человека". Разумеется, этот средний человек - существо воображаемое, но тем не менее глубоко реальное. И чем далее я иду в работе, тем тверже убеждаюсь в своей правоте. Даже более того, *мне кажется, что и все историки под другими именами и названиями ищут того же самого.* По отношению к моей работе меня смущает не сомнение в этом, а необъятность *еще не известного мне* материала..." (24 июля 1913).[19]

Исследование с этих позиций средневековой религиозности и еретических движений XII-XIII вв. привело Карсавина в конечном счете к выводам, во многом предвосхищавшим результаты современных работ в области взаимодействия народной культуры и ре-

---

[18] Это также и то, чему отдавал должное учитель Карсавина при всей настороженности (и в целом неприятии) к методологическим исканиям своего ученика: "... Он чертит яркие общие картины, с искусством восстанавливает часто стертые в памятниках даже мелкие рисунки. Автор обладает в высокой степени интуицией исчезнувшей во времени действительности, способностью чуять через завесу памятников биение пульса того бытия, которое запечатлело в них лишь следы. Это - большое благо и ценный дар..." См. Гревс И.М. Рецензия...

[19] Российская историческая мысль... С.92-93.

лигиозности с книжной культурой высших слоев, средневековых интеллектуалов. Двигаясь "от религии низших слоев к религии высших", Карсавин акцентировал внимание на единстве и взаимосвязанности протекавших там и здесь процессов и на сближении их по существу на уровне "общего религиозного фонда" - неотрефлектированного мифомагического сознания. Уже в период работы над "Очерками..." он вплотную подошел к проблеме, ставшей впоследствии также одной из актуальных и дискуссионных - проблеме народной религиозности, ее природы, формирования, функционирования в системе средневековой культуры. Он делится с Гревсом своими планами:

"Мне кажется, что взяв ряд религиозных явлений, как катаризм, вальденство, гумилиаты, августинцы, ордена etc. - в них можно открыть, выражаясь фигурально, характерные черты религиозной физиономии эпохи. Эти-то черты должны быть базой исследования народной религии. Около них следует группировать явления, и только они могут позволить определить удельный вес различных сторон религиозной жизни. А то как разобраться в указаниях на культ реликвий и религиозное равнодушие и на другие более характерные, но сейчас не подвертывающиеся под перо черты противоречия религиозной жизни..." (15 января 1911).[20]

Это - в плане конкретно-историческом, а методологически первые исследования Карсавина означали уже по существу серьезную заявку на новую трактовку содержания исторического процесса как целостного единства массового сознания - господствующей "психологии" и социальной практики человека, а самое изучение средневековой религиозности в этом контексте обретало важное эпистемологическое значение, открывающее путь к пониманию своеобразия средневековья как исторической эпохи, как особой культуры. Это понятие, присутствующее и в "Очерках...", и в "Основах...", Карсавин раскрывает и формулирует в своей синтезирующей монографии "Культура средних веков" (увидевшей свет в 1918 г. - через три года (!) после "Основ..."), где границы "повседневного бытования" религии так или иначе затрагивают сферу семьи и городской и сельской жизни, и королевский и княжеские дворы, не говоря уже о самой церкви и "ее людях" самых разных культурных уровней и положений. И это находилось в полном согласии с его общей концепцией истории как культурного процесса. Во введении к книге говорится:

"Историю культуры автор понимает как изображение развития или раскрытия некоторой основной психической стихии, проявляющейся через индивидуальные осуществления во всех сферах жизни изучаемой коллективности - от социально-экономических отношений до высот мистико-философского умозрения... К выяснению "основной психической стихии" можно подходить с разных точек зрения, и данное на страницах этого "очерка" построение не требует

[20] Там же. С.71-72.

признания религиозно-философских взглядов автора: оно, хотя и ценой отказа от последних объяснений, легко переводимо на язык позитивной мысли. Ведь "основную психическую стихию" можно изучать и только по ее проявлениям в экономической или политической истории, отбрасывая религиозные проблемы. *Но, если вообще религиозно-метафизическое понимание ближе к истине и плодотворнее* - в применении к Средневековью, к эпохе по преимуществу религиозной, оно предписывается самим существом дела. Следует устранить возможность важного недоразумения. - Цель автора не в объяснении экономических явлений религиозными, не в искании и указании причин, хотя для краткости ему и приходится прибегать к видимости причинного объяснения: к "потому", "поэтому", "так как" и "в силу". Его задача обнаружить деятельность основных моментов развития в разных сферах жизни, не касаясь чрезвычайно сложного вопроса о взаимоотношениях этих *условно разделяемых* в исследовании и изложении сфер. Ясно, что для выполнения такой задачи нет необходимости стремиться к связному и полному изображению средневекового процесса во всех его аспектах. В одних случаях стихия жизни ярче сказывается в философской мысли, в других - в экономической борьбе, что нисколько не препятствует религиозному (но уже в высшем смысле) пониманию второй..."[21]

Хотелось бы обратить внимание в этой обширной цитате на один методологически принципиальный момент, получивший позднее развитие в других работах Карсавина (прежде всего в "Философии истории") и чрезвычайно важный для понимания как общей идеи, "смысла" его конкретно-исторических исследований, так и метода периодизации им исторического процесса, подхода к историко-культурному сравнительному анализу (как, например, в эссе "Восток, Запад и русская идея"). Речь идет о том, что служит исходным для познания и характеристики исторической культуры. Отмечая, что им может быть "любой момент данной культуры", Карсавин вместе с тем подчеркивает и наиболее предпочтительный: "религиозно-метафизическое понимание". Обращаясь к этой проблеме на другом историко-философском уровне, развивая свою мысль, Карсавин пишет, что "историк должен искать идею культуры в наиболее непрерывном, наиболее психическом и духовном"- в том, что выражает отношение "идеи культуры" к идее человечества, к Абсолютной истине, к Абсолютному благу, Бытию, Красе".[22] Иными словами, речь здесь не о божественном Промысле или "Абсолютном недосягаемом знании", но об "имманентно" присущей каждой "исторической индивидуальности" - "каждой исторической культуре" потребности в самоидентификации: осмыслении проблем мироздания и себя по отношению к Абсолюту и другим культурам. Именно в этом смысле, полагал Карсавин, в реальном историческом процессе "религиозные культуры" (христианство "со всеми его видами", иудейство, ислам, брахманизм, буддизм и т.д.) являются "высшими по отношению к культурам, объемлющими

---

[21] Карсавин Л.П. Культура Средних Веков: Общий очерк. Пг., 1918. С.1-4.
[22] Карсавин Л.П. Философия истории. Берлин, 1923. С.171.

группы их индивидуальностями".[23] И с этим трудно не согласиться, во всяком случае по отношению к культурам доиндустриального периода и, в частности, к Средневековью - эпохе религиозной по преимуществу, когда христианство как господствующая форма самосознания являлось нормой и знаковой системой, где всякая мысль облекалась в образы христианского мифа, в традиционную фразеологию, почерпнутую из Священного Писания и трудов отцов церкви.

Когда Л.П.Карсавин выдвигает на первый план при изучении средневековой культуры ее "религиозные качествования", он тем самым указывает, выражаясь современным языком, на "структурообразующий" элемент присущего этой эпохе коллективного и индивидуального сознания, на тот "умственный инструментарий", посредством которого люди моделировали макро- и микрокосм, свой образ жизни и свои представления о добре и зле. Подобный синтезирующий подход был новаторским не только для российской, но и шире - европейской медиевистики начала века. Он открывал и новые возможности в изучении истории религии, как специфической массовой и константной формы социального сознания и самосознания, смена форм которого определялась не механистической сменой философских систем, трансформацией догматики и т.п., но сложным взаимодействием с социальным целым, с общими, в том числе и национально-этническими представлениями эпох и неизбежной при этом постепенной десакрализацией отдельных ее аспектов и сфер. Именно этот принцип положен Карсавиным в основу таких его исследований, как "Монашество в Средние века" (1918), "Католичество" (1918), "Святые отцы Православной церкви" (1922?) и, конечно же, названной выше "Культуры Средних веков". Эта монография - один из первых в исторической науке опытов "реабилитации" Средневековья и раскрытия его своеобразия как культурно-исторической целостности. Задача, как ее формулирует сам автор - показать здесь Средневековье как "культурное целое, выражающее проходящий через него общий процесс культурного развития (тоже вполне понятный лишь в плане мирового бытия) и в то же время обладающее некоторым самодовлением и непреходящей ценностью, абсолютным значением..."[24] Но раскрыть своеобразие Средневековья - значит, по Карсавину, понять и раскрыть специфику собственно средневековой религиозности, как "идеи" его культуры в целом, и именно опираясь на это, определяет Карсавин и хронологические рамки Средних веков как исторического периода. Это звучало новаторски и представляло

[23] Там же. С.172.
[24] Карсавин Л.П. Культура Средних веков... С.3.

открытый вызов принятому принципу исторической периодизации, исходившему из искусственного выделения "того или иного частного процесса и искания его генезиса".[25]

Специфики средневековой религиозности, по Карсавину, - в идее (или образе) Града Божия, и главная проблема, довлевшая над сознанием средневекового человека и его устремлениями, духовными и мирскими, - обрести "единство божеского с человеческим во всех сферах жизни". Именно в этом напряженном стремлении к идеалу - к духовно-нравственному единству - видел Карсавин истоки характерной для средневекового человека противоречивой двойственности его сознания и поведения - амбивалентности, "антиномичности" средневековой культуры, о чем говорилось выше. Эта идея, стоит за всеми "внешними проявлениями культуры", за противоречиями и борьбой и в социально-экономической, и в политической сферах жизни Средневековья. Карсавин пишет:

"Величие и трагедия Средневековья - в его неосуществившемся стремлении к всеобъемлющему синтезу. Борьба империи и папства; противоречивые построения идеала Града Божьего, разрушаемые его идеей, столкновение и взаимопроникновение религиозного и мирского, надолго разлучающихся в XII-XIII вв., усилия и неудачи схоластики и мирского знания - только разные обнаружения основной средневековой проблемы; проблемы, говоря кратко, единства Божеского с человеческим во всех сферах жизни. Смутным томлением по этому единству начинается Средневековье в IV-V вв., тяжелым и беспокойным сознанием его неосуществленности кончается оно в XIII в. под радостные гимны начинающего свой победоносный путь мирского".[26]

В этом свете становится понятным исключительный интерес Карсавина к проблеме религиозности, в 20-е гг. навлекший на него обвинения большевистской печати в "средневековом фанатизме", "сладкоречивой проповеди поповщины" и т.п., а позднее, уже с "положительным знаком", давший основание для закрепления за ним образа исключительно "религиозного философа". Конечно, история средневековой религиозности занимает центральное место в предреволюционные годы и в его научной, и в педагогической практике. На Высших женских курсах, где Карсавин начинает работать с 1908-1909 гг., он читает спецкурсы по истории папства и раннему францисканству, ведет семинар по творчеству Сальвиана. В одном из писем этого времени он сообщает Гревсу о своем намерении прочитать там курс, дающий "картину религиозного развития с V-VI по XII-XIII вв." и излагает его план в деталях.[27] Несом-

---

[25] Карсавин Л.П. Философия истории... С.22.

[26] Карсавин Л.П. Культура Средних веков... С.197.

[27] "...Исхожу я из религиозного состояния IV-VI веков, двигаясь от периферии религиозной жизни к центру, т.е. сначала религия низших слоев и паганизация в них христианства.., затем высшие классы: религия в связи с культурой (тут нашел себе место и Сидоний). Наконец ядро религиозной жизни и тут останавливаюсь на Павли-

ненно, тема средневековой религиозности была созвучна его собственным религиозно-философским исканиям. В письме Гревсу Карсавин прямо говорит об этом и делится некоторыми мыслями на этот счет:

"Приятно, что взялся за религиозную историю: это вполне по характеру, так как я чувствую в себе религиозные склонности и иногда предаюсь скептическому мистицизму... Удивительная запутанная страна - богословие. Особенно с построением Божества. Желательно избежать дуализма, а это возможно только при создании из Бога существа аморального... Придется, эволюционно объяснив мораль, вернуться к бессознательной (в нравственном смысле) жизни и отказаться от приятных бесед о добре и зле. Но это неприятные теории и слишком догматичные... Я в своей гордыне называю это скептическим богословием. Тут есть нечто общее со схоластической тезой "истинное в теологии может быть ложным в науке". Может быть, корни этого изречения и надо искать в области сходных чувствований..."[28]

В свете этих "признаний" и рассуждений становится понятен глубинный смысл сказанного Карсавиным в том же Предисловии к "Культуре Средних веков": "Пренебрегая средневековыми схоластиками и мистиками, - пишет он, - мы суживаем наше постижение вечного: забывая о "простых" явлениях жизни, отрезываем себе путь к пониманию ее существа; отъединенные от прошлого, целостно не живем в настоящем".[29] В этом глубокомысленном высказывании вместе с тем выражена и квинтэссенция карсавинского понимания истории человечества и жизни человека как органического звена в сменяющей друг друга цепи поколений. Исторические культуры не проходят и не исчезают бесследно, сформулирует Карсавин эту свою мысль позже в "Философии истории":

"Это явление чрезвычайно редкое, а может быть и небывалое. Каждая после своей невидимой гибели переживает себя в том, что связано с ее вещественными остатками, в традициях, продолжающих свое существование в лоне других культур, в их памяти-знании о ней. Для исторического процесса характерно сосуществование ряда культур, иногда в полном расцвете, не только их смена..."[30]

Эта идея культурного "всеединства" человечества присутствует уже в первых работах Карсавина. Она никогда не была для него отвле-

---

не Ноланском, Амвросии, Иерониме, Августине и пеллагианстве. Думаю, что не ошибся, рассматривая дальнейшую религиозную историю по странам - Италия и государство франков. Причем, здесь нет нужды в строгом различении высших (по религиозному развитию) слоев христианства от низших. Ибо народная религия - паганизированное (на античный, кельтский или германский лад) христианство подымается в высшие слои (Григорий Великий), а павшая культура высших классов, спасая остатки догмы (тоже паганизированной, но философски) и принижая ее, приближается к народной религии. Почти полное единство религии - в государстве франков..." (6 июля 1908, Луга). (Российская историческая мысль... С.48).

[28] Российская историческая мысль... С.48-49.

[29] Карсавин Л.П. Культура Средних веков... С.3.

[30] Там же. С.165.

ченной, теоретической формулой, но глубоко личной идеей - ключевой установкой его сознания, определявшей и собственное восприятие им окружающего мира, и направленность его научного творчества, будь то конкретно-историческое исследование или философские рассуждения - никогда не умозрительные, не отвлеченные, но всегда отражающие биение жизни и пульс времени. Таковы его "Saligia" (1913), "Noctes petropolitanae" (1919), "О свободе" (1921), "О добре и зле" (1922) или "Диалоги" (1923) и др.

Чтобы правильно понять эти его труды, включая "Философию истории" и более поздние философские работы, следует их рассматривать, можем мы сказать с полным основанием, перефразируя слова его современника и ровесника, французского биолога и философа П.Тейяра де Шардена, не как "метафизические и тем более не как теологические", "а единственно и исключительно как научную работу".[31] И то, что Карсавин стремится дать в них, - это не объяснение происхождения общества, истории человечества, а лишь подход к их изучению. При вдумчивом чтении легко убедиться в том, что интересует его прежде всего культурно-социальное содержание религиозных формул и религиозности как формы сознания. Карсавин говорит о религии, религиозности, церкви как культурно-историческом феномене, важном и для понимания исторического процесса и общественно-политической практики в современной ему России, изучение которого в состоянии пролить свет на многие проявления массовой социальной психологии. Позиция Карсавина в этом вопросе прежде всего - позиция ученого, "хладнокровно" изучающего природу явления на всех его уровнях.

Карсавин в полной мере сознавал новаторство, продуктивность и перспективность выдвигаемой им концепции истории и подходов к ее изучению. Он не сомневался в нападках и был готов к дискуссии. Ко времени появления "Культуры Средних веков" он успел уже ощутить горечь обвинений в "самомнении", непонимания и потерь - фактического разрыва с И.М.Гревсом, отчуждение его учеников.[32] Письма Карсавина Гревсу тех лет пронизаны стремлением добиться понимания, смягчить противоречия. Под огнем критики Гревса оказалась и сама карсавинская концепция изучения истории как "процесса социально-психического", и трактовка религиозности как "основной психической стихии жизни" Средневековья, и вся понятийная система, включая такие ключевые ее понятия как "статическая история", "средний человек", "народная куль-

---

[31] Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.

[32] Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. С.177-178, 279, 281.

тура", "народная религиозность". Критика порождала ответную критику, разрушала теплоту и искренность отношений, сделав их в конце концов невозможными: "Стало вырисовываться глубокое разногласие между нами как в отношении к жизни, так и в отношении к науке, и к тому, что лежит в самой глубине, и что дороже науки, дороже жизни... Так утерялось между нами живое ощущение друг друга..." - напишет Гревс в одном из последних своих писем Карсавину. И это было пережито обоими как глубокая трагедия.[33]

Но в их чудом уцелевшей до нашего времени переписке отразилось все же нечто большее, чем частные отношения любящих и уважающих друг друга людей, чем традиционный конфликт "отцов и детей" в науке. Она запечатлела момент рождения в российской интеллектуальной жизни и в исторической мысли нового исследовательского сознания, персонифицированный в индивидуальностях Л.Карсавина и Н.Оттокара - лучших и самых любимых учеников И.М.Гревса, выдающегося педагога и ученого позитивистской школы, открывшей для историков "простые проявления" жизни, но остановившейся перед осмыслением их места и роли в истории.

С точки зрения общей ситуации в отечественной исторической науке ко времени написания Л.П.Карсавиным "Культуры Средних веков" и его самосознания как ученого, степени противостояния его официальной науке, очень выразителен следующий пассаж из уже цитированного Предисловия к этой монографии:

"... Такая постановка вопроса [речь идет о дефиниции "истории культуры" - *А.Я.*] не вполне согласуется с временно господствующим в "исторической науке" направлением, ушедшим в специальные, но *беспринципные* искательства и пытающимся объединить разлезающуюся груду сведений только в неудобочитаемых компендиях и *коллективных* - точно синтез может быть коллективным делом! - "всеобщих историях". Однако она [постановка вопроса - *А.Я.*] связана с забытыми традициями классиков истории и ее философского (не "методологического") осмысления, с именами Мишле, Тэна, Ранке и Буркхардта, Шеллинга, Гегеля и Фихте, небрежение заветами которых и привело нас к "лабораторным" методам и "микроскопическим" результатам. За эти слова, вне всякого сомнения, пишущий их подвергнется обвинению в горделивых притязаниях и самонадеянности, что и позволяет ему объяснить не обвинителям, а беспристрастным и внимательным читателям, почему они все-таки написаны. - Может быть, результаты работы и не соответствуют вложенному в нее труду, а "очерк" не удался. Самый подход к делу и понимание задачи кажутся автору единственно правильными и настоятельно необходимыми для выведения истории из состояния аморфности и рассеянности, в каком она сейчас находится. А это обязывает пренебречь личными соображениями и в меру своего разумения и сил указать на забываемые основные проблемы науки, чо лучше достигается не "методологическими" трактатами, а синтетическими, хотя бы и рискованными попытками. Автор просит своих читателей в центр внимания поставить вопрос о том, необходимо ли и плодо-

[33] Российская историческая мысль... С.94-102, 104.

творно понимать историю так, как она понята на нижеследующих страницах. Тогда и неполные и неудачные наблюдения могут стать полезным материалом для будущих синтетических построений, время которым все равно приходит, хотим мы того или не хотим".[34]

Общий очерк "Культуры Средних веков", опубликованный Карсавиным в 1918 г., предваряет собой начало кульминационного этапа его творчества, отмеченного всесторонней проработкой и осмыслением лежащей в его основе новой исторической эпистемологии. Именно на последующие за выходом этой книги пять лет (до высылки в 1922 г. из Советской России) приходятся главные философско-теоретические работы Л.П.Карсавина, в которых получает свое последовательное и законченное выражение выдвинутая им концепция культур-антропологической истории. Это - "Введение в историю (теория истории)" (1920), "Философия истории" (1922), "Восток, Запад и русская идея" (1922). В отличие от "Очерков..." и "Основ средневековой религиозности", названные работы остались неизвестными широкому читателю и недооцененными еще и сегодня даже специалистами. Несомненно, способствовали забвению и последовавшая вскоре высылка автора, и утверждение в Советской России идеологического порядка, не поощрявшего интеллектуальные "умствования" по мировоззренческим проблемам. Но и без того: идеи Карсавина, развитые в этих работах, "пугали", по его же собственному выражению, "привыкшее мыслить в традиционных категориях позитивизма сознание". Сыграло свою роль и время. Язык современной науки стал иным и теперь уже подчас сама кар-савинская терминология затрудняет понимание его идей, в действительности поразительно созвучных нашим сегодняшним исканиям.

Важность этих взаимосвязанных, дополняющих друг друга работ трудно переоценить. Они имеют ключевое значение для понимания творчества Л.П.Карсавина. Изложенная им здесь система идей и концепция исторического процесса, как легко заметить, сложились в ходе конкретных исследований культуры западноевропейского средневековья, средневековой религиозности, а также в результате основательного осмысления истории мировой исторической науки и состояния современной Карсавину западноевропейской и отечественной медиевистики. Но не прошли бесследно и социальные катаклизмы в революционной России. С этой точки зрения и "Введение в историю", и "Философия истории", и, конечно же, "Восток, Запад и русская идея" - факт не только личной и творческой биографии Л.П.Карсавина, но и всей российской культуры. Они позволяют уяснить уровень научно-исторической мысли в Рос-

[34] Карсавин Л.П. Культура Средних веков... С.2.

сии начала века и первых революционных лет, присущее лучшим ее представителям высокое сознание своей общественной и научной ответственности и вместе с тем включенности в европейскую интеллектуальную жизнь, в круг проблем, волновавших мировую науку. И еще глубже - всю напряженность и драматизм ломки социального и в этом контексте исторического и исследовательского сознания.[35] Эти работы - не просто плод оригинального мышления их создателя. В культурно-историческом смысле они - "ответ" на "вызов" времени, на проблемы эпохи, переломной не только для русской, но и европейской культуры и исторической науки, как одного из ее важнейших элементов. Эти работы - одна из актуализаций подспудно развивавшейся с конца XIX - начала XX столетия тенденции к переосмыслению традиционных схем историописания, вошедших в непреодолимое противоречие, с одной стороны, с массой нового фактического материала, появившегося в результате открытого позитивизмом экономического и социального измерения исторического прошлого, потребностью в его систематизации и новом синтезе, а с другой - с социальным опытом, обретенным их автором в результате первой мировой войны и революционных потрясений.

Трагические события этой глобальной катастрофы, массовые жертвы, разгул народной стихии и крушение под ее натиском казавшейся незыблемой официальной культуры и российской государственности, благоустроенного мира повседневной жизни с его умозрительными интеллектуальными конструкциями похоронили многие мифы, владевшие сознанием историков, и в том числе один из наиболее стойких - о рационалистическом начале истории. Они высветили несостоятельность, псевдоисторичность априорных конструкций о высшем регулирующем принципе в истории, будь то вера, мировой дух, философия или эволюционистские схемы, заимствованные у естественных наук, типа теории прогресса или направляющего действия объективных социально-экономических законов и процессов. Те, кто пережил войну и Октябрьский переворот и сохранил, несмотря ни на что, интерес и способность к творчеству, не могли не задуматься о подспудно действующих силах, "стихии" исторического процесса, коренящейся в глубинах человеческого сознания. Но это, в свою очередь, не могло не утверждать в мысли о непригодности методов историописания, отвсдящих исто-

---

[35] Рамки статьи, к сожалению, не позволяют дать всесторонний и конкретный анализ этого процесса. Это задача монографического исследования, над которым автор и работает. Здесь же мне представляется важным дать возможность читателю ощутить en gros всю глубину интеллектуального переворота, осуществленного этими работами Л.П.Карсавина в области исторического познания.

рику роль либо рассказчика, регистратора сообщений источников, либо "прокурора" или "адвоката" истории. Это побуждало к переосмыслению того, что есть историческая наука, ее предмет, исторический факт и источник, историческое сознание, заставляло, наконец, задуматься о специфике методов собственно исторической науки.

Новый культурно-смысловой контекст чрезвычайно выразительно дает о себе знать во "Введении в историю". Это - не кабинетные измышления "историографа", но манифест ученого, ангажированного своей наукой и временем. И это уже не глас вопиющего в пустыне. Знаменательно, что опубликована эта работа была в серии "Введение в науку. История", основанной по инициативе как самого Карсавина, так и таких энтузиастов обновления исторической науки, как С.А.Жебелев и М.Д.Приселков, возглавивших ее редакционный совет. Сам состав историков, привлеченных к работе над ее последующими выпусками ("Введение в историю" было первым), как и планируемая их тематика указывали на то, что целью изданий было утверждение нетрадиционных концепций изучения всеобщей и отечественной истории. Среди авторов отдельных выпусков были академики Б.А.Тураев, В.В.Бартольд, Н.Н.Марр, О.Ф.Ольденбург, проф. Е.В.Тарле, В.М.Алексеев и др.

Хотя, как заявлял сам автор в предисловии к "Введению в историю", цель его заключалась в том, чтобы "облегчить всем желающим серьезно и научно заняться историей, а, в частности - учащимся, первые шаги их самостоятельной работы"[36], эта небольшая по объему книжечка далеко выходила за рамки традиционной пропедевтики. Задача ее автора в данном случае состояла не столько в ознакомлении с существующими концепциями истории и подходами к ее изучению, сколько в воспитании самостоятельного исторического сознания и умения выработать собственную позицию:

"Приступающему к занятиям историей необходимо прежде всего получить ответы на вопросы: что такое история? каковы ее цели и каковы методы изучения исторического материала? в чем заключаются особенности, а следовательно, и значение исторического мышления? В области остальных наук все подобные вопросы решаются в общем легко и единообразно, делаясь спорными и сложными лишь при дальнейшем, более глубоком их изучении. В истории же именно они и вызывают самые сильные разногласия и между историками-специалистами, и между философами, занимающимися теорией истории, и между теми и другими. Обычно историк находит ответы на все указанные вопросы лишь после долгой специальной работы, но и эти ответы удовлетворя-

---

[36] Карсавин Л.П. Введение в историю: Теория истории. - Пб., 1920. Вып.1: Введение в науку. История. С.1.

ют очень немногих. Отсюда следует, что каждый сам должен искать ответов на свои запросы, и все "введения" могут быть ему полезны лишь как первоначальные ориентирующие указания и советы, а отнюдь не представляют собою изложение бесспорных общепринятых положений... Автор стремится выдвинуть систему основных проблем теории истории, указать на их природу и тем самым подвести читателя к самостоятельной работе в сфере этих проблем и критике его, автора, взглядов..."[37]

Таким образом, "Введение..." - приглашение к дискуссии и одновременно включение в полемику, развертывавшуюся вокруг коренных проблем исторического познания в начале столетия в европейской науке. Как сам отбор работ по методологии истории, так и методические замечания Карсавина - красноречивое свидетельство его подхода к анализу самого историографического процесса как культурной целостности, открытости его к накопленному предшественниками позитивному опыту, так же как и его предпочтений и неприятий. Даже не разделяя общеметодологических построений тех или иных историков, как, например, Ланглуа и Сеньобоса, Карсавин тем не менее обращает внимание читателя на то полезное, что он может извлечь из их работ для себя ("приемы внешней критики источников", а также и то, что они "вводят в круг вопросов социальной истории"). Он выделяет продуктивные постановки проблем в работах Эд.Мейера и А.С.Лаппо-Данилевского - подчеркивает присущий их методологии отказ от истории, "отыскивающей законы" и причинно-следственные зависимости, и вместе с тем их интерес к "субъективному элементу в истории", к "случаю", "историческому факту", так же как и постановку вопроса о важности связи исторической науки с антропологией и филологией и в этом контексте - их интерес к новым жанрам исторических исследований, в частности, к биографии. Именно постановкой вопроса о своеобразном, индивидуальном в истории привлекли внимание Карсавина также и работы французского историка А.Д.Ксенопола.

В целом же в центре внимания Карсавина - работы, развивающие монистический взгляд на историю, так или иначе ориентированные на изучение исторического процесса в его "всеобщности", т.е. "тотальности": в органическом, внутреннем синтезе, в единстве всех сфер человеческого бытия, или способствующие уяснению важности именно этой линии развития исторических исследований. Здесь представлены работы по историческому материализму и трудам Маркса; исследования Г.Шпета ("История как проблема логики". М., 1916) и книга А.Берра ("Синтез в истории. Критическое и теоретическое эссе". 1911). Издаваемый Берром журнал "Revue de

[37] Там же. С.5.

synthese historique" - предтечу знаменитых "Анналов", основанных М.Блоком и Л.Февром, Карсавин рекомендует начинающим историкам как один из важнейших источников информации о новой европейской историографии. Эта же методологическая ориентация определяет и подбор библиографии в списке тем и проблем (так же как и источников) для самостоятельных занятий и введения в процесс исторической работы. Здесь фигурируют также и классические фундаментальные труды по всеобщей и отечественной истории, ознакомление с которыми Карсавин считал полезным дополнением к специальным работам по теории истории. Таким образом, "вспомогательные" разделы "Введения в историю" дают общую панораму состояния исторической мысли, выделяя основные противоборствующие тенденции в понимании того, что есть история и каковы ее методы познания. Но одновременно это также и своего рода подтверждение - иллюстрация развиваемой Карсавиным концепции о специфике исторической науки и о природе творчества историка, сформулированной в вышеприведенном фрагменте Предисловия.

История меняет свои представления. В ней нет, утверждает Карсавин, и не должно быть места бесспорным истинам. Ибо историческая наука - форма самопознания общества, и здесь, как ни в одной другой науке, важен субъективный момент - личность самого исследователя, ориентированность его мышления и, соответственно, "вопросов", ответы на которые он ищет. Каждая новая концепция - не истина в последней инстанции, но приглашение к продолжению дискуссии. Здесь явная аллюзия на Ш.Сеньобоса и Ш.Ланглуа ("Введение в изучение истории", 1899): "Прогресс в исторической науке достигается неизбежным противоречием между поколениями ученых", - мысль, которая через девятнадцать лет прозвучит еще раз в "Апологии истории" М.Блока.[38] Созвучие карсавинского "Введения в историю" с этой книгой основателя "Анналов" поразительно. Как и "Апология..." Блока, оно вполне могло бы быть снабжено подзаголовком "Ремесло историка". И так же, как в "Апологии...", здесь предлагалось новое видение предмета исторической науки и ее методов, синтезировавшее в себе потребности современной обоим авторам историографии и критическое осмысление идей долгого ряда предшественников о человеке как субъекте истории и творце исторической культуры. "История - наука перемен", - цитирует Л.Февр в своих воспоминаниях (1946 г.) "излюбленное" Блоком определение, да и сам он вторит ему: "Историк не тот, кто знает. Историк тот, кто ищет", "История - это

[38] Блок М. Апология истории или ремесло историка. М., 1986.

наука о переменах". Историки-реформаторы первой половины XX столетия и на Западе, и в России, они говорят здесь одним языком.[39]

Оставляя читателю простор для самостоятельных размышлений и выводов, Л.П.Карсавин вместе с тем четко обозначает во "Введении..", повторив это также в "Философии истории", но уже на другом теоретическом уровне, круг имен и теорий, в полемике с которыми он развивает свою собственную концепцию истории. Он не приемлет юмовско-кантовское механистическое понимание развития и причинности в истории, выступает против ограниченности теории ценностей Риккерта и дильтеевского метода "вживания" в историю, подвергает критике распространенные идеи о роли личности в истории (в том числе Н.Кареева) и господствующую позитивистскую теорию прогресса и т.д.

Карсавин последовательно утверждает в этих своих работах идею "всеобщей". "единой" - "тотальной", как сказали бы мы сегодня, истории.[40] Для него история - не совокупность обособленных "фактов" и "факторов", связуемых внешними по отношению к ним причинными зависимостями, но органически целостный процесс развития "социально-деятельного человечества". "Социально-деятельное человечество" в карсавинской концепции - не абстракция и не простая механическая совокупность бесконечного числа индивидуумов. Это реальное единство, которое проявляет себя в деятельности "всякого исторического индивидуума", в том числе и "индивидуумов коллективных" (народ, семья, государство, класс и т.п.), мотивируя ее. При этом, однако, подчеркивает Л.П.Карсавин, не происходит умаления индивидуальной деятельности, свободы индивидуального поведения и выбора цели. Действующая в конкретном историческом обществе "мотивированность" пронизывает различные формы социальной деятельности - экономическую, политическую, философскую, религиозную и т.д., которые, будучи различными и сохраняя свою специфику, "остаются единою деятельностью", потому что "в каждой из ее форм целостно проявляется единый субъект" - человечество, переживающее тот или иной конкретный отрезок своего исторического развития.[41] Карсавинская концепция "единой" истории, таким образом, антропологична по преимуществу, ибо подлинный ее субъект и творец - "всевременное и всепространственное человечество", а содержание

---

[39] Февр М. Указ. соч. С.135, 507.

[40] См.: Ле Гофф Ж. С небес на землю. // Одиссей: Человек в истории. М., 1991. С.24-28; Гуревич А.Я. От истории ментальности к историческому синтезу. // Споры о главном. М., 1993; Он же. Синтез в истории и "Школа Анналов". М., 1992.

[41] Карсавин Л.П. Введение... С.8, 9, 11.

ее и, соответственно, предмет изучения исторической науки - социальная практика человека в ее развитии и в единстве всех ее форм: общественной, политической, материально- и духовнокультурной. При этом моментом, обеспечивающим единство системы и ее своеобразие на том или ином этапе ее исторического развития, является момент "психический". Карсавин считает, что всякая социальная деятельность - прежде всего "душевная", поскольку "ею движут потребности, желания, то есть факты порядка психического". "Даже для самых правоверных "исторических материалистов" вроде Каутского, - пишет Карсавин во "Введении...", - ныне психичность исторического процесса сомнению не подвержена: они спорят только о том, какие из душевных потребностей важнее: голод или жажда истины".[42] Таким образом, социальная деятельность, утверждает Карсавин, суть социально-психическая деятельность.

Для понимания эпистемологической важности этого положения, всей глубины и принципиальности разрыва с историографической традицией XIX в. важно иметь в виду (об этом уже отчасти шла речь выше), что, оперируя широко распространенными в то время в исторической науке терминами "психический", "душевный", "душевная жизнь", почерпнутыми из традиционной психологии, изучающей процессы человеческого организма, Карсавин вкладывал в них иное, социально-историческое содержание. То, что он имел в виду, относилось к состоянию общественного сознания во всем его спектре, включая и неотрефлектированные формы - то, что современная социальная психология называет коллективными автоматизмами общественного сознания, а историки - ментальностью. В словоупотреблении Карсавина термины "психическая", "душевная" жизнь подразумевали также и то, что историческая культурантропология сегодня называет "социальными навыками мышления", что же касается психологии в том смысле, как ее понимает "естественная наука о душевных волнениях", то между нею и историей нет никакой связи, - писал позже в "Философии истории" Карсавин, разъясняя свою методологическую позицию: "Чем историк подлиннее, тем далее он от [такой - *А.Я.*] "научной" психологии".[43] "Психическая жизнь" в терминологии карсавинской концепции "единой" истории охватывает феномен человеческих представлений, желаний, устремлений, этики исторических обществ, влияющий на изменения общества, мотивирующий экономическую, политическую, философскую, религиозную и другие формы соци-

---

[42] Там же. С.12.
[43] Карсавин Л.П. Философия истории... С.26-27.

альной деятельности человека, человечества на том или ином отрезке его истории.

Большое место отводит Л.П.Карсавин критике так называемой "генетической теории", широко рекламируемой в начале века, как последнее слово научной мысли, и в частности, присущего ее адептам механистического толкования исторического развития и исторической закономерности, как протекающих где-то "вовне", в отрыве от субъекта истории, как неуклонного "прогресса" и эволюции от более простых форм к более сложным. Аргументируя свою позицию, он пишет во "Введении...":

"Идея прогресса связана с более или менее бессознательным отрицанием единства развития, и теоретику прогресса процесс развития представляется в виде прерывного ряда сменяющих друг друга фаз или периодов. Лучшее для него лежит в будущем, настоящее и прошлое навсегда умирают. Данный момент развития, данная эпоха обладают значением не сами по себе, а только как средство или этап к будущему.

Это особенно ясно сказывается в отношении к прошлому, в пренебрежительном взгляде на умственное развитие, науку и общественную жизнь наших предков и в погоне за "последними словами". Так закрывается единственный путь к пониманию прошлого, в котором не усматривается уже ничего вневременно ценного и важного, и утрачивается всякое оправдание исторического интереса. Зачем, действительно, изучать прошлое, если законов и правил для будущего историк найти не может, а вместо каких-нибудь фантастов и метафизиков вроде Платона, Плотина и Николая Кузанского, полезнее изучать самоновейшие системы Когена, Авенариуса или Бергсона? Беда только в том, что, при отдаленности прогресса, не стоит изучать и их, так как настоящее тоже станет прошлым и в глазах наших потомков будет заслуживать лишь забвения.

Так обесценивая историю, теория прогресса неизбежно обесценивает и современность; лишая смысла все минувшее, лишает смысла и нашу социальную деятельность и низводит весь наш труд на степень жалкой работы червяка, удобряющего землю для неведомых и безразличных ему существ. Раскрывая природу теории прогресса, мы легко усматриваем в ней противоречивое сочетание морального пафоса и мечты о светлом будущем других с безнравственнейшим и жестоким восхвалением факта гибели и страданий бесчисленных поколений ради недолгого счастья немногих счастливцев. Впрочем, и долгое счастье, и счастье многих не смогут оправдать мимолетной горести одного".[44]

Что касается самого Карсавина, то для него развитие, как основополагающая категория "для истории и обществоведения" - это диалектически противоречивый единый процесс изменения, в котором "непрерывно пребывает изучаемая историческая коллективность": "Нечто обладает полной актуальностью, как настоящее, нечто уже утратило ее, перейдя в прошлое, нечто еще не наступило".[45] Развитие, по Карсавину - в самом субъекте истории: всегда себе по существу тождественном, социально-деятельном челове-

---

[44] Карсавин Л.П. Введение... С.30-31.
[45] Там же. С.9.

честве, которое заключает в себе сразу и одновременно "как не погибающее для него прошлое, так и уже существующее для него будущее". Поскольку развивается самое человечество, постольку исключаются и внешние причинные связи (поиском которых поглощена "генетическая история") и определяется свобода воли и "целеполагающая деятельность человека". Таким образом, железной поступи истории Карсавин противопоставляет более гибкое, вероятностное представление об историческом развитии: переход от одной формы общественного бытия к другой мыслится им не абсолютно предопределенным, подчиненным не знающему колебаний закону, но более или менее вероятностным, допускающим отклонения и вариации.

Из определения процесса истории как непрерывного, взаимосвязанного социально-психического развития человечества, предполагающего включенность каждого человека в череду сменяющих друг друга поколений - в поток истории, вытекают, согласно Карсавину, и особенности механизма его познания историком. В познании исторического прошлого, пишет Карсавин, соединяются два "психических процесса" - две "психологии", ментальности, как сказали бы мы сегодня: познающего (то есть историка) и изучаемого им исторического субъекта (индивида, общности, группы, эпохи). Что же касается историка, то здесь включается двуединый механизм - "самопознание" и "познание": "я" и "не я". Из этого вытекает, утверждал Карсавин, с одной стороны, неизбежная ограниченность всякого исторического знания, "хотя оно всегда и направлено к преодолению своей ограниченности и может развиваться в ее преодолении, эмпирически, однако, цели своей не достигая", а с другой, то, что он определял как "необходимость сопереживания, вживания [историка] в чужую душевную жизнь".

Констатируя это, Карсавин дистанцируется от чрезвычайно популярной в начале века концепции немецкого философа неокантианца Генриха Риккерта, видевшего в истории исключительно построения "нашего ума" и исключавшего возможность адекватной реконструкции прошлого. Та же "ограниченность" знания историка, о которой говорит Карсавин - нечто совсем иное. Карсавин понимает ее как относительность его возможностей, коренящуюся в специфике его сознания как феномена другой культуры, другого исторического времени, проблемы которого собственно и диктуют историку ракурс изучения прошлого и его вопросы к нему. Вместе с тем, познание прошлого открывается исследователю, который стремится изучать его в категориях сознания, ценностных представлений ("душевных процессов", по терминологии Карсавина), свойственных людям того времени. Именно такой смысл

(составляющий, между прочим, одну из максим современной "новой исторической науки", так же как и формирующегося сегодня направления "культурной истории") вкладывает Карсавин в термины "сопереживание", "вживание в чужую душевную жизнь", к которым он призывал историков. И это не имело ничего общего с теми теориями "о параллелизме душевных и телесных явлений" и поисками соответствующих аналогий в истории, которыми так увлекались его современники. Карсавин пишет:

"Во всяком случае, если история как наука возможна, в переживании нам даны подлинные душевные процессы других индивидуумов (личностей и коллективностей) и подлинный социально-психический процесс в его целостности. Иными словами, воспринимая действительность, мы воспринимаем ее в ее реальности, а не преобразуем ее, как полагает неокантианец Риккерт. Всякое преобразование (Umformung) есть уже искажение преобразуемого и таким путем знания о действительности мы получить не можем: создаваемый нами, хотя бы из элементов действительности, фантастический образ, "построение" нашего ума, конечно, не удовлетворяют и никогда не удовлетворят нашей потребности в знании. Поэтому нельзя утверждать вместе с Риккертом, что в естественных науках мы обобщаем или "генерализуем", а в исторических - "индивидуализируем". Если даже...Риккерт и прав в своем различении истории и естествознания по признаку общего-индивидуального, общее и индивидуальное могут и должны быть не плодом нашей умственной работы, но вполне реальными аспектами действительности, являющей нам то ту, то иную свою сторону".[46]

Новые задачи диктуют историку и выработку нового исследовательского инструментария. И во "Введении в историю", и в "Философии истории" большое внимание уделяется Карсавиным работе историка с источниками и самим принципам их отбора. "Цель историка, - пишет он во "Введении в историю", - не в простом описании развития, но и в объяснении его, в понимании его необходимости".[47] Прямое сообщение документа, утверждал Карсавин, полемизируя с традиционным представлением, это еще не доказательство того, что так было на самом деле. Для того, чтобы документы "заговорили", историку необходимо выявить связь их и их свидетельств с "единством", с "социальной организацией, чувствованиями, психологией" изучаемой исторической эпохи или коллективности. Наибольшей надежностью, считал Карсавин, обладают в этом отношении литературные памятники. Но историк, писал он, не должен игнорировать и такие исторические документы, которые описывают обычаи, обряды, убранство храмов, архитектурные памятники и археологические материалы, так как они проливают свет не только на материальные условия и технические

[46] Там же. С.17.
[47] Там же. С.3.

возможности, но и на социальную организацию и психологию общества и человека.

Акцентировка Карсавиным важности изучения специфики социально-психического содержания исторических эпох и обществ давала повод недоброжелательной критике обвинять его в идеализме, в отрыве им "субъективной" стороны исторического процесса от "объективной", "материальной" и т.п. В действительности, напротив, Карсавин подчеркивает органичность и неразрывность сочетания "субъективного" и "объективного" в истории и в процессе ее познания, как воплощения единой социальной практики человека. Эта мысль последовательно проводится им в названных работах. То, против чего он выступает - "механистическая причинная связь", посредством которой обе эти сферы сводятся вместе в историческом исследовании. Методически полезное в целях более полного изучения выделение "факторов" - экономического, политического, идеологического, религиозного и т.п., утверждал Карсавин, онтологически вредно, так как сплошь и рядом ведет к постановке вопроса об их причинных взаимодействиях и к возникновению материалистических, идеалистических и т.п. теорий и к бессмысленным и бесплодным спорам, так как "вполне естественно - при сосредоточении на исследовании одного какого-нибудь ряда и при недостаточном внимании к существу проблемы, одинаково убедительными представляются доводы и тех, и других". Во всех тех случаях, когда условно выделяется частный процесс (будь то история какого-нибудь культурного мира, народа, эпохи, учреждения, системы идей и т.п.), возникает и проблема подобного двойственного объяснения, причем по мере сужения объекта рассмотрения число "фактов" и "факторов" нарастает настолько, что "все историческое развитие предстает не чем иным, как причинною комбинацией разных факторов...что глубоко неисторично".[48]

Карсавин не умалял значения материальных основ общественного бытия и изучения истории экономических отношений. Но, утверждая это, он выступал против абсолютизации их роли в историческом процессе и концентрации исследовательских усилий исключительно на связанной с этим тематике, как открывающей, якобы, единственно правильный путь к пониманию прошлого. Бессмысленно было бы отрицать параллелизм развития "субъективного" и "объективного" рядов, развивает он свою мысль в "Философии истории", но важно здесь не то, что один ряд "причиняет другой", а то, что в обоих проявляется "одна и та же фаза социально-психического развития, что они в некотором от-

[48] Карсавин Л.П. Философия истории...С.19.

ношении "составляют единство и укоренены в единстве".[49] Карсавин иллюстрирует свою мысль конкретно-исторически, и этот экскурс в силу его выразительности и современности звучания, имеет смысл здесь привести:

"Разумеется, социальной идеологии крестьянства в Германии XVI в. не понять, не поняв его социального положения. Надо знать реальные отношения между крестьянами и господами, крестьянами и горожанами, повинности и оброки, лежавшие на первых, степень их зажиточности... Но какой смысл всего этого? Взаимоотношение между крестьянином и господином вовсе не является внешним, поддающимся числовому выражению фактом. Оно может быть определяемо или нет нормами права и обычая. Но даже, если оно всецело определено точною нормою, чего никогда и нигде еще не бывало, сама норма есть факт порядка психического, для историка к тому же, существенный не в отвлеченности своей, а в конкретности. Важно, как представлял себе норму "средний" [с точки зрения массового сознания - *А.Я.*] крестьянин, признавал ли он ее справедливою, выполнял ли он ее за страх или за совесть. Не зная этого, совершенно бесполезно говорить о нормах права в той связи, в какой они существенны для истории. Точно так же мало численно определить, сколько рабочего времени отнимали у крестьян повинности и какую часть их расхода составлял оброк. Какой бы точностью ни отличались установленные нами цифры, сами они ровно ничего не означают, ничего "не говорят". Чтобы они заговорили, надо знать "субъективное" отношение к ним крестьянина. При тех же самых повинностях и при той же самой степени зажиточности возможны очень разные душевные состояния: в одних случаях добросовестное выполнение своих обязанностей и уважение к правам господина (например, в некоторых "реакционных" районах революционной Франции), в других - негодование на произвол, революционные настроения и т.п.

Если отношение крестьянина к его социальному положению нам известно, тогда числовая характеристика второго может быть для нас удобным вспомогательным средством, знаком или аббревиатурой. Вместо того, чтобы каждый раз описывать конкретное хозяйство, как соответственным образом *воспринимаемое* хозяином, удобнее кратко называть число десятин или гуф. Особенно это удобно тогда, когда нам удастся связать разные психологические типы с разными числовыми знаками. Но если мы за цифрою не воспринимаем, хотя бы смутно, человека, цифра для нас совершенно бесполезна. Все это банальные истины. Приходится, к сожалению, их повторять перед лицом наивной веры, что история сводится к росту капитала, ренты, цен и т.п.

Итак, "внешнее" для историка является лишь знаком внутреннего, символом, или, лучше сказать, аббревиатурой, которая применима только в очень ограниченной сфере и далеко не всегда требует точности. А возвращаясь к "внутреннему" или "субъективному", понимая, например, социальное положение в смысле некоторого социально-психического факта или, вернее, процесса, мы возвращаемся к уже установленным нами тезисам. Социальные отношения, социальный строй, как и право, и государство, и общество, и класс суть некоторые психические реальности, природу которых, конечно, надо выяснить... но которые, во всяком случае, не существуют без индивидуумов и внешне не выразимы и не разъединимы иначе как условно и путем аббревиатур.

То же самое следует сказать и о социальном или хозяйственном положении. При исследовании его большую помощь могут оказать точные статистические

---

[49] Там же. С.19.

данные, цифры. Но все эти цифры только знаки скрытой за ними реальности и совсем не обладают тем же самым значением и смыслом, каким обладают они в науках о материальной природе. Предмет истории всегда социально-психологическое; и только на основе психического возможен исторический синтез..."[50]

Исторический синтез, о котором говорит здесь Карсавин, есть раскрытие содержания конкретно-исторической общности как культуры. Культура - это понятие является ключевым для понимания карсавинской концепции исторического процесса и его познания. Не оперируя им практически во "Введении в историю", он тем не менее раскрывает здесь, как уже отмечалось выше, самую суть этого понятия, ибо культура для Карсавина в его концепции - "история целиком" и историк - одновременно и историк культуры. Раскрытию и обоснованию этой концепции культуры посвящены специальные разделы "Философии истории".[51] Карсавин понимает культуру историко-антропологически. Она не сводима для него к традиционным трактовкам в качестве творческого духа избранных:

"Во всех своих выражениях культура неповторимо-своеобразна, специфична. Она по-своему преобразует материальную среду, выбирая себе соответствующую, раскрывается в своем материальном быте, в своем социально-экономическом и политическом строе, в своих эстетике, мировоззрении, религиозности..."[52]

Понимаемая таким образом культура - это и определенная фаза всемирно-исторического развития, и каждое конкретное историческое общество. Человеческая история есть диалектическое взаимодействие культур, по мысли Карсавина. Он не оперирует привычным для нас сегодня понятием "диалог", "диалогичность культур", но эта мысль является центральной в его рассуждениях о развитии и движении истории: "Полное исчезновение какой-нибудь культуры - явление чрезвычайно редкое, а может быть и небывалое... Для исторического процесса характерно сосуществование ряда культур, иногда в полном расцвете, не только их смена..."[53] Полемизируя со своим современником О.Шпенглером, Карсавин утверждал здесь, что развитие культур и исторического процесса в целом есть диалектически-противоречивый единый и непрерывный процесс движений и изменений, исключающий "абсолютную недоступность культур друг для друга", на чем настаивал Шпенглер. Конкретный историко-культурный процесс, полагал Л.П.Карсавин, нельзя понять, подходя к нему "интегрально-эмпирически": "Конечно, он все

---

[50] Там же. С.20-22.
[51] Там же. С.160-177.
[52] Там же. С.170, 163-165.
[53] Там же. С.165.

время обогащается появлением нового. Но зато в нем все время наблюдается и вытеснение новым старого. В нем эмпирически возникают некоторые абсолютно-значимые ценности, но в нем исчезают другие, столь же абсолютно-значимые".[54] Отсюда и проистекает условность и схематизм исторических периодизаций, диктуемых целями специальных исследований и не учитывающих целостности и единства исторического процесса.

Именно в "Философии истории" получает разностороннее развитие, исключающее какие-либо иррациональные истолкования, и другой методологически важный вопрос, во "Введении в историю" лишь обозначенный Карсавиным[55], о том, что может служить исходным для характеристики и понимания культуры (рассмотренный выше в связи с темой религиозности). Настаивая на предпочтительности уяснения историком именно господствующего "религиозно-метафизического понимания" в широком смысле, присущего той или иной культуре, исторической общности, Карсавин, как уже отмечалось, стремился дать не объяснение происхождения общества, истории, а лишь подход к их изучению. Но именно в этом он решительно порывает и с традиционной позитивистской, и с философско-христианскими концепциями истории, ставя в центр внимания человека, свободного в своей воле и действиях ("целеполагании") во всех формах его социальной активности. Дело в том (подчеркнем еще раз), пишет Карсавин в "Философии истории", что самоосмысление по отношению к Абсолюту и другим культурам присуще и человечеству в целом, как "исторической индивидуальности", и каждой исторической цивилизации как культуре.[56] Иными словами, выдвигая на первый план при изучении культуры "ее религиозные качествования", Карсавин тем самым указывал на элемент, структурировавший (особенно в традиционных обществах) коллективное и индивидуальное сознание и соответственно образ жизни и поведенческие формы. В этой постановке вопроса нет ничего мистического, трансцендентного. Новаторство ее, однако, заключалось в том, что она открывала простор для изучения наиболее константных форм массового социального сознания, в том числе и религиозности.

Не содержит ничего иррационального и впервые появляющееся во "Введении в историю" и развитое в "Философии истории" карсавинское определение человечества как "всеединого, вневременного и развивающегося всепространственного субъекта" - опре-

---

[54] Там же. С.167.
[55] Карсавин Л.П. Введение... С.28-29.
[56] Карсавин Л.П. Философия истории... С.172.

деление, до сих пор приводящее в замешательство его критиков и читателей. Оно, по существу, тождественно его концепции культуры, как "истории целиком". Применительно к области конкретно-исторической понятие это означает лишь то, что каждая коллективность и каждый относящийся к ней индивид обладают, если воспользоваться современной терминологией, той "общей картиной мира", той системой ценностей и "умственных привычек", которые моделируют их социальную практику и повседневную жизнь, создавая "всеединство", и определяют специфику их времени, эпохи как исторической культуры. Диалектическое взаимодействие культур, их "взаимопроникновение" - это то, что обеспечивает "всевременность и всепространственность" понимаемого таким образом "всеединства" человечества, как творца истории, культуры. Отвечая на обвинения своих оппонентов в метафизичности, в умалении свободы индивида и т.п., Карсавин писал о том, что идея "всеединства"

"...несколько пугает привыкшее мыслить в категориях позитивизма сознание. И при крайней пугливости и подозрительности трудно убедить его в том, что как раз идея всеединства и только она освобождает от всякой необоснованной метафизики, от таинственных трансцендентных сил, как бы их ни называли: душою, разумом, энергией или еще как-нибудь...В научной истории нельзя обойтись без категории всеединства, все равно изучаем ли мы историю человечества или историю социальной группы, существующей в эмпирически ограниченном пространстве времени..."[57]

Таким образом, в идее всеединства карсавинской концепции истории - утверждение самоценности человека и его истории, ибо человечество, как полагал Карсавин, "не растворяется и не теряет своего смысла во всеединстве Космоса, моментом которого оно является"; оно имеет "собственный идеал и действительность всеобщей истории".[58] Пафос Карсавина - в утверждении идеи о Космосе и Бытии как "духовно-душевно-телесном единстве", как "Человеке". Теория всеединства, подчеркивал ее создатель,

"...дает возможность понять мир как одно развивающееся целое. Человек содержит в себе всю природу и всю историю. Полнее всего он индивидуализируется и осуществляется в некоторых своих качествованиях - в историческом бытии, в стяженно-всеедином субъекте истории. Меньшей степени выраженности достигает он в других своих качествованиях - бытии природном и в качестве Природы. Но в Природе раскрываются иные его аспекты, абсолютно ценные..."[59]

Но, констатируя это, Карсавин решительно расходился с господствующими концепциями исторического процесса, так же как и с глобальными теориями о мироздании (религиозными и ес-

---

[57] Там же. С.87.
[58] Там же. С.357.
[59] Там же. С.349.

тественно-философскими), широко распространенными в начале века. Утверждая абсолютную тождественность природы, естественного мира и человека, их создатели не оставляли последнему практически места для свободной творческой инициативы. Об остроте дискуссий вокруг этой проблемы свидетельствует полемический тон карсавинских работ, присущий им глубокий подтекст, явные, но уже не всегда понятные сегодня аллюзии, и страстная защита их автором творческих возможностей человека и истории как науки.

Л.П.Карсавин находился в центре научной и интеллектуальной жизни своего времени и жизни своей страны, обуревавших ее страстей, борений, антагонизмов. Он современник революции, воспринявший ее как данность и не приемлевший ее разрушительной стихии и идеологии. И нет ничего удивительного в том, что как историк он не остался в стороне от осмысления исторического прошлого России и переживаемой им самим ее современности. Эта линия в творчестве Карсавина обычно игнорируется как научная. Она вульгаризируется политическими ярлыками и прямо перечеркивается идентификацией с "евразийством", в свою очередь, сводимым к "пробольшевизму". Очевидно именно в этом коренится сегодня одна из причин как известной "сдержанности" по отношению к имени Карсавина и роли его в истории российской науки, так и возвышения его как религиозного философа, хотя и не без намеков на политические "слабости" великого человека. Думается, однако, что подобный подход по большому счету несправедлив и поверхностен. Историк культуры (в раскрытом значении этого понятия) Карсавин не обошел вниманием различные срезы социальной психологии и социального поведения той эпохи, частью которой был он сам. Это очень серьезная и требующая всестороннего анализа тема. Но для того, чтобы убедить читателя в ее обоснованности, отсылаю его к одному из разделов "Философии истории" - "Проблема воздействия индивидуальности на качествование [т.е. развитие и содержание культуры - *А.Я.*]. Большевистская революция".[60]

Почти одновременно с этой работой Карсавина увидела свет другая, также малоизвестная до сих пор: "Восток, Запад и русская идея" (1922). Она представляет собой опыт сравнительно-исторического исследования западноевропейской и восточноевропейской культур. Карсавин развертывает свой анализ, отталкиваясь от "религиозного момента" как структурообразующего. Он характеризует смысл и особенности теизма античности и Средне-

[60] Там же. С.304-311.

вековья, "нехристианского" Востока и христианского, православного и католического мира, особенности восприятия ими Абсолюта, то, как этот теизм трансформировался в развитии научной и общественной мысли, в идеологии (характер подходов, постановки проблем и т.п.), философии, самой религиозной мысли, в искусстве, в повседневной жизни, быте, изменяясь со временем, обретая разнообразные формы, подчас весьма далекие от "исходного" этического идеала, не несущие уже прямой информации об источниках своего генезиса, в конечном счете определяя константные элементы "восточной" и "западной" европейских культур, так же как и их различия.

Понятие "русской идеи" в этом контексте тождественно понятию "идеи культуры", как господствующей системы мировоззренческих представлений, ценностных ориентаций, неотрефлектированных форм сознания. Карсавин прослеживает, как эта "идея" складывалась и изменялась на протяжении тысячелетия, неся в себе трансформируемый, обогащаемый запросами реальной жизни общества, изначальный фонд христианско-православных представлений. "Русская идея" в карсавинском исследовании не имеет ничего общего с идеей "народа-богоносца" или "соборности", по крайней мере в том "почвенническом" смысле, который часто вкладывается сегодня в это понятие. Нет в ней ничего и от "неославянофильства". Эта работа Карсавина - попытка объяснить с культурно-исторических позиций некоторые "вечные" проблемы русской истории, которые в переломные ее эпохи, приобретая особую остроту, становятся объектом разного рода спекуляций от иррациональных и националистических до вульгарно-нигилистских. Исследование Л.П.Карсавина направлено против тех и других.

Какая бы то ни было иррациональность чужда Карсавину - трезво и остро мыслившему ученому. Но то, что интересовало его, прежде всего и главным образом связано с человеческим сознанием и самосознанием в истории, с исторической социальной психологией - индивидуальной и коллективной (именно этот аспект, как мы пытались здесь показать, доминирует в его исследованиях средневековой религиозности и религиозности вообще, социокультурный механизм действия которой он стремился постичь) "ментальностью", в том числе и исследовательской. Карсавина интересовала проблема функционирования "психического" в социальном целом, роль его в становлении последнего как исторической культуры, а также и в обеспечении культурно-исторической преемственности, непрерывности исторического развития человечества, которое он понимал как самораскрытие. Именно в утверждении идеи человека и человечества как предмета научного позна-

ния, в стремлении "открыть" для историков человека как исследовательское поле, наиболее полно синтезирующее в себе доступную для изучения социальную и "психическую (психологическую) ткань" прошлого - значение и особенная актуальность творчества Л.П.Карсавина.

Карсавин опустил историка с метафизических высот на землю - к деятельному человеку и его социокультурной практике, возвысив тем самым одновременно историю до уровня подлинно научной - особой дисциплины, оперирующей специфической системой понятий и методов, учитывающих своеобразие именно ее предмета изучения. Он один из тех немногих, кто в начале века уже предвосхищал наступление "эры науки о человеке", кто утверждал, что человек как предмет познания - "ключ" ко всем наукам о прошлом человеческого общества, о его настоящем и его будущем. Именно утверждение этой мысли составляет нерв, сквозную линию - "Идею" творчества Л.П.Карсавина как историка культуры, медиевиста и философа, отражая также особенность и его собственного "мировидения", и исследовательского сознания. Понимание этого прежде всего и главным образом хотелось бы донести здесь до читателя. Нравственным долгом является воздать по заслугам этому крупному, европейского масштаба ученому - его уникальному творчеству, на редкость цельному по связующей его "идее культуры", но все еще раздробляемому на отдельные сюжеты и темы, затемняемого разного рода клише (от "мистических" до "славянофильских").

Концепция истории и подхода к ее изучению, выдвинутая Карсавиным, как уже отмечалось, антропологична в том смысле, какой вкладывает в это понятие современная историография. Он был одним из тех, кто осознал насущные потребности науки и принял "вызов" времени. В этом отношении Л.П.Карсавин бесспорно является одним из российских предшественников того ее направления, которое сегодня называют "исторической антропологией", а в последние годы все чаще - "культурной историей".[61]

В историю исторической науки наше столетие войдет, вероятно, как время, когда историки всерьез задумались о природе и особенностях своего ремесла, о возможностях своей науки и месте ее в системе научного познания в целом. Под знаком этих рефлексий в послевоенной Европе родилась Новая историческая наука, поставившая под вопрос традиционные приемы анализа, выработ-

---

[61] Burke P. Die "Annales" im globalen Kontext. // Osterr. Ztschr. für Geschichtswiss. Wien, 1990. H.1. S.9-24; Chartier R. Le monde comme representation. // Annales. E.S.C. P., 1989. N 6. P.1505-1520.

танные позитивизмом XIX в., заставившая задуматься об относительности исторического знания и о природе этой относительности. Сегодня она сама, как бы иллюстрируя эту относительность, оказалась под огнем критики. Не все в этой критике равноценно, не все продуктивно. Но если отвлечься от импульсов вненаучных, нетрудно заметить за всем этим озабоченность все той же проблемой исторической гносеологии, но уже на другом "витке": не столько "присвоения", осознания важности самой идеи историко-антропологического подхода, сколько выработки конкретного инструментария, позволяющего этот подход реализовать - обнаружить "в действии" сам "культурный механизм" исторических явлений, событий, массовой практики и индивидуального поведения. Это побуждает к критической переоценке обретенного в ходе исканий 60-80-х гг. исследовательского багажа, заставляя задуматься о природе и интеллектуальных процедурах интерпретативной практики самого историка.

Проблемы, волновавшие в начале века и даже еще в его середине относительно узкий круг энтузиастов, сегодня, на исходе столетия становятся предметом рефлексии массового исследовательского сознания, при этом, что само по себе знаменательно, как на "Западе", так и там, где, как в России, гуманитарные науки лишь вступили на путь высвобождения из-под идеологического и психологического пресса тоталитарных режимов. В этом общеевропейском контексте интенсификации движения творческой мысли, изменения массового исследовательского сознания творчество Л.П.Карсавина обретает новое звучание: оно раскрывает, позволяет осознать и ощутить "связь времен" - тот живой диалог культур и поколений, который составляет нерв процесса развития мировой науки и науки истории как ее неотъемлемой части.



О.Т.Ермишин

ГЕРБЕРТ БАТТЕРФИЛД И РЕЛИГИОЗНОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

XX век - время великих потрясений и катаклизмов, заставившее во многом переосмыслить представления о человеке и его жизни. Мир, еще недавно казавшийся таким прочным и разумно устроенным, рушился на глазах, и людям, выброшенным в этот хаос, приходилось волей-неволей искать решения возникших проблем. В апокалипсической атмосфере эпохи по-разному складывались судьбы представителей науки. В поисках духовных и нравственных идеалов они размышляли, надеялись, разочаровывались, и мало кто из них оставался равнодушен к событиям современности. Изменялось отношение к науке и культуре, государству и обществу, этическим и религиозным ценностям. В связи с этим большой интерес вызывает английский историк Г.Баттерфилд (1900-1979), научные, религиозные и гуманистические взгляды которого гармонически сочетались друг с другом.

Герберт Баттерфилд родился в 1900 году в Западном Йоркшире, в деревне Оксенхоуп с населением две тысячи жителей. Йоркшир - традиционный центр английской методистской церкви, которая была основана в середине XVIII века Джоном Уэсли, выступившим с проектом реформы англиканства. Две важнейшие особенности методизма, нашедшие опосредованное выражение в книгах Баттерфилда - это методическое изучение Библии (отсюда и название церкви) и активная проповедническая деятельность. Альберт Баттерфилд, по профессии бухгалтер, активист местной общины, оказал наиболее сильное влияние на воспитание своего старшего сына. С семи-восьмилетнего возраста Герберт с отцом каждый вечер совершали прогулки по окружавшим деревню вересковым пустошам; их беседы остались в его памяти на всю жизнь. Бог и человек, Провидение и история, первородный грех и свобода воли - темы разговоров, которые получат свое развитие в книгах будущего историка.

Творческие способности проявились рано - с восьми лет Герберт начинает писать новеллы и стихи. Получив начальное образование дома, он много читает, его любимые авторы в этом возрасте - В.Гюго, А.Дюма, Э.Бронте, Т.Гарди. Деревенская жизнь с ее близостью к природе, благоприятное семейное окружение, любовь к литературе - те основы, на которых складывается спокойное и созерцательное отношение Герберта Баттерфилда к миру.

После окончания школы Баттерфилд поступает в 1919 году в Кембриджский университет, решив посвятить себя изучению ис-

тории. В 1923 году он выиграл конкурс на лучшую письменную работу, написав очерк "Исторический роман", ставший его первой опубликованной книгой. В ней он заявил себя продолжателем традиции Дж.Тревельяна и Т.Карлейля. История - ушедший, но удивительно близкий мир. Исчезнувшее прошлое сохранилось и может возрождаться через творческое воплощение, для которого необходимы романтические впечатления и ассоциации. Историк должен не трактовать и схематизировать события, а переживать их, психологически проникая в мироощущение эпохи со всем ее укладом жизни, обычаями и традициями, человеческими мыслями и страстями, удачами и бедами. Личность организует историю в одно целое и является главной ее движущей силой, и заслуга исторического романиста - умение показать персонажей в жизни, механизм их воздействия на историю. Для Баттерфилда история - "эпическая поэма о Человеке", он утверждает, что "она должна быть симфонией, каждая ее оркестровая часть делает что-то для выражения главной идеи целого, и каждый момент, каждый год, каждый век добавляют новый такт в партитуру и несут архитектуру целого дальше".[1]

В целом раннее мировоззрение Баттерфилда можно охарактеризовать как романтическое. Примеры, к которым он обращается для иллюстрации своих идей - Т.Карлейль, В.Скотт, Д.С.Мережковский - говорят сами за себя. Задачи истории как науки и исторического романа предельно сближаются.

В студенческие годы под руководством Г.Темперли и во время стажировки в США, в Принстоне (1924-1925 гг.), Баттерфилд успешно занимается дипломатической историей, в результате чего была написана монография "Мирная тактика Наполеона (1806-1808 гг.)" (1929). Но наиболее интересующей его темой становится теория исторического знания, и книга "Вигская интерпретация истории" (1931) приносит ему известность в научных кругах. В ней автор обращается к той традиции, под влиянием которой сам сложился как ученый. Он подвергает вигскую интерпретацию строгой критике, пытается преодолеть ее ограниченность, которую видит в изучении прошлого ради настоящего, в использовании исторических знаний для актуальных целей.

В конце XIX века результатом вигской историографии стала "эпическая поэма английской свободе", т.е. критерием оценки и идеалом признавалась английская государственная и политическая система. Одна из главных фигур вигского исторического направления, которая пользуется наибольшим вниманием автора книги -

---

[1] Butterfield H. The Historical Novel. Cambridge, 1924. P.82-83.

Джон Актон (1834-1902). Здесь следует отметить замечательную особенность Баттерфилда как ученого - его любимые историки для него не идеал и образец подражания, а предмет критического анализа. Он обладает умением учиться, критикуя. Основа вигской историографии - "суд потомков". Во взглядах Актона для Баттерфилда неприемлем морализм и оценочное суждение, когда историк мнит себя высшим арбитром и судьей истории. По мнению Баттерфилда, субъективность вигского историка не приносит сама по себе вред, и достижение беспристрастности - иллюзия. Наоборот, Баттерфилд полагает, что ученый должен использовать все возможности своего чувственного восприятия, и главное средство для "встречи" прошлого и настоящего - "творческий акт исторического воображения", который совершается через интуицию и симпатию. Историк не может быть просто пассивным зрителем, прошлое существует в его сознании и оживает в нем через усилие чувственного переживания. Он должен обладать особым мироощущением, где интуиция - способность читать между строк, чувствовать живую ткань истории, а симпатия - проникновение в психологию людей прошлого, приближение к их образу мира, способность понять историческое лицо независимо от личного отношения к нему. Интуицию и симпатию объединяет воображение, которое достигается путем проекции прошлого на чувственной плоскости сознания, где эмоции, сочувствие, страстность делают прошлое понятным настоящему. Необходимо показать процесс изменения через характерные и значительные детали, а не искажать историю путем привнесения догм, как это делают вигские историки.

Баттерфилд пишет: "Историческая наука - это форма образного описания, как книги путешествий. Она касается скорее процессов жизни, чем ее смысла, содержания и цели.[2] Он считает, что только после описания исторического процесса во всем разнообразии возможна авторская интерпретация, которая неизбежно субъективна и отлична от мнимой "объективности" вигских исследователей. Таким образом, Баттерфилд создает концепцию, где теоретически обосновывает автономность истории и ее независимость от современности, исследование историка как авторский творческий процесс.

Заметные изменения в мировоззрении Баттерфилда происходят во время второй мировой войны. События мирового значения вносят коррективы во взгляды историка, дают сильный импульс его размышлениям о сущности и смысле истории. В 1944 году Баттерфилд становится профессором Кембриджского университета и

---

[2] Butterfield H. The Whig Interpretation of History. London, 1931. P.67.

выпускает книгу "Англичанин и его история", в предисловии к которой он уже утверждает, что "прошлое похоже на использованную часть киноленты - это свернутая кольцом внутренняя сторона настоящего, часть структуры мира XX века".[3] Столкновение с реальными фактами истории не оставило места прежним романтическим иллюзиям, и для Баттерфилда начинается новый период, когда он пытается найти сочетание между открывшейся ему трагической сущностью истории и личным желанием утверждения мировой гармонии. С этого времени Баттерфилд начинает применять и развивать понятие "Провидение", которое играет ведущую роль в его лекциях о христианстве и истории, прочитанных на радиостанции Би-Би-Си в 1947-1948 годах и вышедших отдельной книгой в 1949 году.

Определяя связь человека с историей, Баттерфилд утверждает: "В действительности, мы создаем наше представление о человеческой истории в целом, когда мы делаем выбор нашей религии - именно комбинация истории с религией, или с чем-то эквивалентным религии, порождает энергию и наполняет историю смыслом. Мы можем найти это в христианской истории, или в марксистской истории, или даже в "Истории мира" Г.Уэллса".[4] Преимущество христианского взгляда на историю Баттерфилд видит в том, что христианство исторично по своей сути, в религиозном человеке глубоко укоренено чувство собственной историчности, участия в мировой истории.

Провидение, по мнению Баттерфилда, главный фактор исторического развития, и это не слепой фатум, не заранее написанная пьеса, которую будут играть марионетки, это *со*творчество свободной воли человека и провиденциальной природы мира. Человек обладает самосознанием, интеллектом и свободой выбора, и эти качества, вступая в столкновение с внешними условиями мира, творят динамическое движение истории. Противоборство свободы и необходимости - одна из важных сторон действия Провидения в истории. Провидение нельзя выразить в рациональных определениях, и поэтому Баттерфилд часто применяет разные метафоры. Историю он сравнивает с музыкой огромного оркестра, которая одновременно сочиняется и исполняется, и каждый музыкант способен проявить свой талант, но он не может видеть ни весь оркестр, ни его дирижера. В другом месте историк пишет, что люди подобны детям, плохо исполняющим музыкальную композицию,

---

[3] Butterfield H. The Englishman and His History. Cambridge, 1944. P.V.
[4] Butterfield H. Christianity and History. London, 1949. P.23.

написанную гениальным композитором, и тот не может ничем помочь, ибо музыканты должны сами совершенствоваться.

Провидение продолжает первоначальную работу Творения, наполняя собой все предметы и явления в мире. Оно лежит в природе вещей, в структуре и условиях мира. Человек, осуществляя свободу выбора, на свои мысли и действия всегда получает ответ Провидения, творящего высший суд. Баттерфилд считает, что, например, факты духовного разложения общества накануне 1914 года говорят сами за себя, и первая мировая война может расцениваться как наказание за определенное зло цивилизации. Провидение обладает еще одной важной особенностью - способностью творить добро из зла. Войны, бедствия, страдания безусловно ужасны, но они не дают людям оставаться в состоянии самодовольства, восторжествовать их низменной природе, они очищают человеческий дух и направляют его на новые ступени развития.

В историографии часто сталкиваются две тенденции - объяснение исторического события через действие законов или признание зависимости истории от власти слепого случая. Баттерфилд показывает это чаще всего на примере английского историка Дж.Бьюри, который сначала придерживался строго научных взглядов на историю и считал ее сферой влияния законов, но потом, когда он стал логически исследовать исторический процесс, пришел к выводу о преобладании в нем случайных совпадений. Баттерфилд убежден, что, если быть до конца честным, то каждый историк должен решить - либо все подчиняется случайности и история - "сказка, рассказанная идиотом", либо все в руках Провидения, определяющего каждый момент истории.

Согласно своим религиозным взглядам собственную модель исторического исследования Баттерфилд формулирует в лекции "Бог в истории". История в его понимании распадается на три структурных уровня. В первом уровне - люди творят историю и имеют свободу воли, во втором - история подчиняется законам. Эти оба уровня относятся непосредственно к моменту событий, они взаимодействуют между собой и развиваются по своей внутренней логике, для человеческого разума их течение непредсказуемо, их объединяет Провидение, действие которого Баттерфилд сравнивает с творением музыки - сочиненную композицию можно изучать, применять к ней законы, но не следует забывать, что композитор написал ее не по каким-то правилам и схемам, а в порыве вдохновения. Сферу исторического анализа образует третий уровень, когда уже все произошло и находится на временной дистанции, и после этого получает возможность объяснения.

Соответственно трем уровням существуют три пути исторического исследования. Один относится к поступкам и решениям людей, их свободе воли - биографическое исследование, второй путь, названный историческим, касается выявления и изучения тенденций, создающих причинную связь событий. Третий путь распространяется на религиозно-метафизическую область и рассматривает действие Провидения. Баттерфилд для согласования двух противоречивых положений применяет третий всеобъемлющий принцип. Здесь он не является новатором, так как подобный прием можно наблюдать на всем протяжении истории человеческой мысли, от мира идей Платона до русской философии всеединства. Один из очевидных культурных источников концепции Баттерфилда - Аврелий Августин, который понимал историю как встречу времени и вечности, и ему же принадлежит идея о том, что свобода человеческой воли и предопределение не противоречат друг другу и сливаются в Провидении. Много общего объединяет Баттерфилда не только с либеральной протестантской теологией, но и с современным неотомизмом. Он развивает свои мысли как сугубо личные, но также опирается на солидную традицию в этой области.

В лекции "Современное состояние исторической науки" Баттерфилд выделил три основные тенденции в историографии первой половины XX века: рост профессионализма, влияние марксистских взглядов, воздействие методов естественных наук. Он пытается показать и преодолеть негативные результаты этих трех факторов. Академическая историческая наука XX века подвергается серьезной критике у Баттерфилда. Ее отличие от христианской интерпретации, обозревающей человеческую историю в целом, заключается в том, что она ограничивается изучением отдельных сторон и деталей процесса и часто служит идеологическим целям.

Человек играет амбивалентную роль в истории - он одновременно ее творец и ее создание. Человек обладает свободой воли, но также включен в социальную структуру, где подчинен влиянию общества. Эти структуры образуют второй, кроме природного, вид необходимости, и относятся к тому, что Баттерфилд называет "провиденциальным порядком". Им признается определенное значение экономической и социальной истории, понимаемой как комментирование этого "провиденциального порядка". Баттерфилд критикует марксистскую интерпретацию истории, трактуя ее как ограниченную форму академической науки, где абсолютизируется роль экономических и социальных законов. По его мнению, многих западных ученых академический марксизм привлекает возможностью найти прочную базу для исследования, спасение от релятивизма. Марксизм принимает само собой разумеющимся материали-

стический взгляд на мир. Главная же опасность марксистских взглядов в истории - не материализм как таковой, а материалистическое понимание природы человека, нивелировка личности. Марксисты стремятся к абсолютному объяснению истории через законы общественного развития, и для этого личность устраняется, заменяясь понятиями "класс" и "социальная группа". Марксистские историки могут делать значительные выводы в области экономики и социальной истории, но они впадают в грубые ошибки в сфере духовной жизни, которую не могут полностью игнорировать. Марксистская историография во многом просто мистифицирует себя, потому что оперирует абстрактными терминами, которые ничего не значат в отрыве от человека как главного деятеля истории. "Человек, делающий историю" - реальный факт, по мнению Баттерфилда, и все интерпретации истории, игнорирующие это, обречены на искаженную картину исторической действительности. Главной заслугой марксистской историографии является практика структурного анализа, способного к более глубокой оценке фактов, чем в случае нарративного исследования. Но любая схема и концепция может претендовать лишь на частичное объяснение исторического процесса, и поэтому Баттерфилд полагает более действенным соединение и синтез различных подходов к истории.

Факторы истории разнообразны и многочисленны. Не только Провидение и личность, но и политическая. социальная, экономическая стороны истории - это части единого процесса. Но методы их изучения различны: есть проблемы, где положительных результатов достигает нарратив или структурный анализ, тогда как в других случаях бессильны все средства традиционного исследования. Можно, например, рассказать историю распространения христианства и показать социальную принадлежность первых христиан, но за гранью изучения остается способность понять Божественность Христа, или в другом случае - источник гениальности Бетховена. Для понимания предметов духовной культуры, таких как религия и творчество, необходимо чувствовать и внутренне переживать их, они мало доступны для абстрактного мышления. способного лишь показать внешний каркас или разъять на понятия внутреннее единство. Бога не удается "увидеть за работой" в истории, если искать свидетельство об этом на страницах книг. Его нужно сначала открыть в глубине себя, а затем можно почувствовать в живой ткани исторического процесса.

Взаимодействие науки и религии, считает Баттерфилд, плодотворно для обоих, так как религия не позволяет замыкаться только на духовном, а в науке христианские взгляды способствуют большей широте гипотез. Историк много внимания уделяет приро-

де научного знания, он различает научный метод и то, что он называет "популярной наукой". Под последней понимаются те принципы, которые определили коллективное восприятие мира. Одним из преобладающих взглядов стало представление о Вселенной как огромном часовом механизме, где все движется по неизменным и строгим законам. Бог постепенно вытесняется в сознании человека из такого механического мира, сначала представляемый деистами как сила, приведшая в движение этот механизм, а затем совсем устраняется. На уровне философии утверждается познание опытным путем и по принципу очевидности. Бог становится абстрактной идеей, не имеет доступа в человеческую реальность и живого отношения к жизни.

В начале периода новой истории ученые сосредоточили все внимание на изучении физического мира, однообразного для всех людей, и оставили в стороне философские вопросы бытия, решаемые в религиозных учениях, но затем они оказались в очень ограниченном положении, не понимая, что бесконечность эмпирического знания бессмысленна и есть тайны, к которым стремится человек в поисках смысла своей жизни. Баттерфилд утверждал, что есть реальность более подлинная, чем внешняя очевидность мира, и ее источник можно найти в своей душе, в области личного знания.

Интерпретация истории в значительной степени зависит от богатства и полноты духовного мира ученого. Баттерфилд рассматривает исторические или современные события с религиозных позиций, с точки зрения Вечности, часть которой несет в себе каждый человек. Он пытается найти то, что стоит за потоком времени, само оставаясь во все времена неизменным, он ищет подход к исследованию, наиболее независимый от субъективности человеческого сознания.

Яркий пример анализа исторических фактов Баттерфилд показывает в книге "Международный конфликт в XX веке" (1960), где он делает попытку выявить взаимосвязь происхождения международной напряженности с разными сторонами человеческой природы. Основной силой, вызывающей межгосударственные противоречия, историк считает антагонизм идей и идеалов, порождающий чувство страха и вражды между народами. В XX веке наиболее сильно это проявилось в противостоянии западной демократии и восточного коммунизма. Английский историк отмечает преходящее и неустойчивое содержание этих идеологических явлений. В более ранний исторический период роль основного врага политической стабильности играла демократия, ассоциировавшаяся с ужасами Французской революции и якобинского террора, но потом проходит некоторое время, и демократия понимается уже как неразрывно

связанная с идеалами прогресса и гуманизма, а место главного источника социальной опасности в Европе занимает коммунизм.

Изучая историю, легко видишь допущенные ошибки, и кажется, можно избежать их в будущем, если научиться предсказывать и планировать ситуации по аналогии друг с другом. Баттерфилд считает такую позицию грубым заблуждением потому, что свободная воля людей вносит в историю непредсказуемость, и каждая историческая ситуация является уникальной комбинацией обстоятельств. Он пишет: "Роль личности - это не просто орнамент, но фактор фундаментальной структуры истории. Исторический процесс так гибок, что все будущее может быть отлично от направления усилий наших математиков, вычисляющих, что было бы, если бы Наполеона убили бы в его юности, или бы Гитлер проиграл в январе 1933 года. В этом смысле история как жизнь, и каждая личность может осознать, что она реально действует в мире, что ее решения дают результат здесь и сейчас".[5]

Мировоззрение Баттерфилда - это своего рода религиозный персонализм, основой которого является библейская модель мира. Религиозный человек, делая открытия в области науки, неизменно соотносит их со своими убеждениями. Вера является конституирующим началом его мировидения, личной интенцией самоопределения во Вселенной. Вера создает особое измерение бытия и представляет творческое начало, несводимое к вопросу о той или иной конфессиональной принадлежности.

Баттерфилд уделяет много внимания библейской проблематике. Он задается вопросом, почему евреи, такой малочисленный народ на небольшой территории, оставили глубокий след в истории, и указывает на глубину их исторического мышления. Уникальное историческое мировоззрение сформировалось в испытаниях и трагических событиях. Обретение глубокого откровения о жизни и историю через трагедию, - считает Баттерфилд, - более понятно людям, пережившим период 1939-1945 годов, чем представителям XIX века. Восприятие истории в Ветхом Завете создается путем проекции религиозного сознания на историю, характеризуется пониманием национальной миссии и судьбы народа. Бог мыслится участником всех исторических событий и неразрывно связан с человеком, их взаимоотношения организуются обетом покровительства Бога над иудейским народом. Но за грехи постоянно следует наказание, которое порой реализуется в самых тяжелых формах - египетское рабство, потеря национальной независимости, военные поражения от могущественных соседей, рассеяние по всему

[5] Butterfield H. Writings on Christianity and History. New York, 1979. P.161-162.

свету. Наказание не отменяет обета, они все время сменяют друг друга в преобладающем влиянии на исторические события. Действия людей всегда имеют моральное содержание. Человек постоянно выбирает между добром и злом, и зло наказывается Богом, ибо для Него все есть добро. Бог есть любовь, которая очищает мир через высшую кару от власти злого небытия.

Г.Баттерфилд не был абсолютно одинок в своих взглядах. При всем отличии двух историков нельзя не обратить внимание на общие идеи, которые он разделял с А.Дж.Тойнби (1889-1976). Безусловно, это не касалось схематизации и масштабности общего подхода автора "Изучения истории". Тот, кто так тщательно избегал определенных выводов и придерживался осторожных суждений, с трудом примет четко оформленную концепцию развития цивилизаций, даже если это развитие постоянно соотносится с воздействием "высшей реальности". Однако, творческое наследие Тойнби не исчерпывается только "Изучением истории", которое действительно оставляет несколько в тени многие другие его работы. В 1952-1953 годах Тойнби прочитал лекции в Эдинбургском университете, на основе которых была создана книга "Подход историка к религии" (1956). В ней Тойнби рассматривает развитие истории через смену разных типов религиозного сознания. При сопоставлении этого исследования с "Истоками истории" Баттерфилда нетрудно увидеть много общего. В обоих случаях авторы видят в религии организующее начало истории, только Тойнби анализирует ее место вообще в истории, а Баттерфилд - в историческом знании. Без сомнения, многие идеи книги Тойнби повлияли на Баттерфилда в момент написания "Истоков истории".

Очень близки друг другу Тойнби и Баттерфилд в оценке возможностей человеческого познания. Часто цитируемые Тойнби источники - Евангелие и "Мысли" Паскаля, где в первом случае выделяется мысль апостола Павла о частичном знании человека ("Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло..." - 1 Кор.13:12). Человек противоречив, его природа загадочна, и в этом Тойнби согласен с Паскалем. Человек удивительно соединяет в себе множество противоположностей, и в первую очередь дух и материю, которые делают его существующим в двух измерениях, между двумя крайностями ("... судья всех вещей и бессмысленный червь земли, обладатель истины и клоака неуверенности и заблуждений, слава и отброс мироздания"). Но, если Паскаль был склонен предпочесть "безмолвное созерцание", то для Тойнби парадоксальность и относительность человеческого знания как раз и являются источниками усиленного исследовательского поиска. В 1973 году в одном из последних эссе он написал: "Моя человеческая способность любить и

понимать слаба. Но я надеюсь, что буду стараться любить и понимать столь долго, сколько проживу".[6]

Религиозное понимание истории не имеет строгих границ, оно лишь основано на более углубленном видении мира, которое у каждого историка выражается в разных формах. Религиозная интерпретация истории не ограничена только субъективностью исследователей и не превращается в "интеллектуальную игру" релятивистов, она объединяет историков ориентацией на одну, абсолютную истину, вдохновляет на познание мира и человека в целом, подразумевает неустанные творческие усилия в поиске ответов на конечные вопросы бытия, что в свою очередь приводит к преодолению ложных и догматических взглядов в исторической науке.

В последней своей книге "Истоки истории", изданной посмертно в 1981 году[7] , Баттерфилд показал широкую панораму эволюции исторического знания с древнейших времен и до начала новой истории, смену разных типов исторической мысли. Историческое сознание понимается Баттерфилдом как коллективная память, отношение человека, обусловленное его разумом, к внешнему миру в категории времени. Библейская интерпретация истории явилась альтернативой языческим представлениям, где циклизм исторического развития формировался путем соотнесения его с законами природного мира. Вместо такой статичной картины мира в Библии была заявлена линейная динамичная концепция, где прошлое, настоящее и будущее виделось единой великой драмой, в которую вовлечено все человечество. У этой драмы есть начало, и она идет к кульминации. Библия представляет собой символ истории, так как начинается с творения мира в Книге Бытия и заканчивается предсказанием новой земли и неба в Апокалипсисе.

В отличие от провиденциализма, эсхатология слабо выражена в работах Баттерфилда. С одной стороны, видимо, это обусловлено личным мировоззрением историка, его отвлеченным и созерцательным отношением к действительности, когда каждый актуальный момент времени понимается как часть огромного процесса. Он писал, что, возможно, в далеком будущем археологи будут раскапывать руины Лондона, как прежде открывали древнюю Трою, и говорить об Англии, как мы сейчас вспоминаем об Ассирии. С другой стороны, английский ученый всегда подчеркивал неспособность человека узнать о задачах Провидения, о высших замыслах Творца, и поэтому эсхатология выражена у него только идеей ограниченности прогресса и критическим отношением к успехам

---

[6] Toynbee A.J. An Historian's Approach to Religion. Oxford, 1979. P.321.
[7] Butterfield H. Origins of History. L., 1981.

цивилизации. Техническому и социальному прогрессу Баттерфилд противопоставляет духовное самосовершенствование личности. Любой человек несет на себе печать первородного греха, он должен строго оценивать себя и бороться со злыми началами в своей душе, осознавать моральную ответственность и понять, что и от него зависит сделать мир лучше, что он не может оставаться пассивным, и ему все равно придется делать выбор в разных ситуациях.

Христиане, как и во времена Римской империи, оказались в XX веке в языческом окружении, им так или иначе приходится соперничать с другими идейными системами за влияние на людей. Представители новых идеологий сильно отличаются от прежних язычников, они имеют разработанные концепции человеческой истории, и обычно это модернизация христианской схемы, как мы можем видеть на примере либеральной и марксистской интерпретаций истории. Главными оппонентами христианства являются те, кто называет себя гуманистами. Они критикуют историческую церковь за ее ошибки и выступают против христианского понимания природы человека. Баттерфилд считал неправильным рассматривать церковную историю, не учитывая, что она делалась людьми и, следовательно, была такой же историей грешников. Существует церковь, служащая национальным интересам, связанная с государственными задачами, являющаяся некой объединительной основой общества. В своей социальной функции церковь не может быть лишена недостатков и заблуждений, привносимых в нее людьми. С другой стороны, религия представляет внутреннее дело человека, область личной воли и выбора.

Противоборство между двумя формами религии, внутренней и внешней, проходит через всю церковную историю. Церковь как социальная система сыграла важную роль. Например, когда Западная Римская империя пала и на территории Западной Европы стали хозяйничать варвары, уничтожившие античную культуру, она объединила народы и заложила основы духовного развития нового общества. Христианская культура объединила структуру ценностей и идеалов, но ее ядро - личные переживания и восприятие отдельного человека. Если раньше внешняя форма религии играла преобладающую роль, утверждая христианство властью государства, то, чем ближе к современности, тем больше религия развивается с ростом индивидуальной свободы.

Современный образ мышления на Западе сформировался на повсеместной секуляризации мысли. Наука, технология и рационализм пытаются вытеснить религию из жизни. Это порождает защитную реакцию церкви, выраженную в двух направлениях - либо в консерватизме и отстаивании старых представлений об уст-

ройстве мира, либо в эволюции и следовании за новыми научными открытиями. Баттерфилд считает, что здесь существует смешение религиозных и светских элементов. Христианство должно стоять над временем, быть моральной программой, духовной религией, служащей живому контакту человека с Творцом.

По мнению Баттерфилда, выраженному в лекции "Христиане в наступающий период", в первую очередь следует трезво осознать возможности человеческого познания. Знанию всегда предстоит незнание, и бесконечность эмпирического познания доказывает, что за его пределами остается способность понять основы бытия, для достижения которых необходимо преодоление границ рациональности. Акт человеческого познания направлен на определенный объект, обусловлен субъективным опытом и не способен охватить целостный образ мироздания. Другая особенность человеческой личности - сложная и многослойная психическая организация, где отношение к миру, кроме разума, формируют разнообразные состояния - любовь, боль, ненависть, симпатия, удивление и другие. Картина мира, создаваемая личными переживаниями, часто противоречит той, которая навязывается коллективным мнением. В силу своей относительности человек никогда не имеет окончательного представления о мире. Многие ученые прошлых веков наивно считали, что находят ключ к конечным секретам мироустройства, но любой историк без труда увидит, как в каждую эпоху меняются идеи и взгляды людей. Более того, при подробном анализе обнаруживается, что в прошедших эпохах, даже в древности, люди имели больше откровения о жизни, чем в современный период истории. По причине того, что научное исследование замыкается в основном в сфере изучения материального мира, игнорирует духовную сторону человека, концентрация внимания на одной точке зрения приводит к самым плачевным последствиям.

Научному опыту противоположен религиозный, вера достигает знания о жизни в молчании и, лишенная рациональных приемов и терминологии, способна достигнуть в своей простоте глубин, недоступных науке. Баттерфилд утверждает необходимость воспитания в человеке интеллектуальной скромности, способности воспринимать мир во всем многообразии, наполненным таинственным смыслом.

В XX веке идеи правили жизнью, люди создавали идеологические системы и делались их рабами, перестали глубоко воспринимать мир, довольствуясь примитивными схемами. Они пытались навязывать умозрительные идеи жизни, но она постоянно их опровергала. Человек, ослепленный рационализмом, не учится у жизни, а видит мир, искаженный своими иллюзиями, создает мифы, кото-

рые оборачиваются страшными кошмарами войн, революций, атмосферой бездуховности и насилия. Все это стало серьезным испытанием для человечества и требует необходимых выводов.

Христианская концепция истории создается синтезом философии истории и религиозного учения о бытии. Английский ученый уделяет мало внимания фактологии, а исходит из целостной модели исторического процесса, которая способна не прогнозировать и объяснять конкретные события, а показать их символическое значение. Концепция Баттерфилда - это попытка органично обобщить духовный и исторический опыт человечества, она предельно адогматична и утверждает творческий подход к познанию истории. Баттерфилд не преподносит готовые выводы, а ищет неординарные средства выражения для разъяснения принципов христианского учения.

В 1933 году он записал в дневнике: "Я думаю, что лучшая очевидность христианства в сердце - это тихая уверенность, пламя, что горит в молчании, милосердие, всегда не выраженное до конца, и вместе с тем ясное спокойствие и доверие к Провидению".[8] Эту убежденность ему удалось пронести через всю жизнь.

От первоначального отвлеченного понимания истории как объекта для творческого самовыражения Баттерфилд приходит к реализму восприятия исторической действительности, которая проникнута противоречиями и трагизмом. Но и здесь он остается верен себе, находя утверждение смысла истории через свое религиозное мировоззрение, где вся сложность и дисгармония человеческой жизни оправдываются через надвременные и абсолютные ценности.



[8] Butterfield H. Writings... P.XII

Ч.Фитьян-Адамс (Великобритания)

АНГЛИЯ ХОСКИНСА: ГЕНИЙ ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ[7]

I

Знаменательное достижение Уильяма Джорджа Хоскинса состоит в том, что он произвел настоящий переворот в исторических представлениях своих соотечественников. Его самая известная и значительная работа "Формирование английского ландшафта" (*The Making of the English Landscape*), впервые опубликованная в 1955 году, остается шедевром, поскольку заставляет всех тех из нас, кто читал ее, по-иному смотреть на то, что нас окружает, и пытаться понять этот мир рационально, исторически, прежде всего *органически* и, в связи с этим, как что-то *соединенное* с нами. Трудно назвать другого современного британского историка, которому бы всецело удалось сделать историю столь непосредственно касающейся каждого жителя этой страны.

Но *The Making of the English Landscape* представляет собой только наиболее "очищенный", совершенный продукт тех многочисленных разработок У.Дж.Хоскинса в поразительно широком спектре специальных исторических дисциплин, в каждой из которых он сыграл выдающуюся роль. Действительно, одним из показателей чрезвычайного масштаба его творческого вклада в наше познание прошлого является тот факт, что так много разных исторических специальностей, возникших в середине XX века, оказались обязаны ему если не самим появлением, то по крайней мере своими последующими достижениями. Уильям Хоскинс, бесспорно, считается одним из замечательных отцов-основателей аграрной истории как современной академической дисциплины; историки города раннего нового времени признают его в числе своих первопроходцев; его работы в определенном смысле сыграли роль катализатора историко-демографического изучения эпидемий и голодовок; а для истории ландшафта он был первым среди тех, кто, последовательно и систематически соотнося результаты полевых исследований с документальным и картографическим материалом, сделал профессиональной нормой обязательное использование целого нового класса источников - визуальной информации. И главное - Хоскинс способствовал росту престижа английской *локальной* истории, от того скромного состояния, в котором она вызывала недобрую снисходительность "настоящих" историков, до статуса

---

[7] Настоящий очерк представляет собой сокращенный и исправленный вариант статьи, опубликованной в серии *Transactions of Leicestershire Archaeological and Historical Society*, LXVI, (1992), и печатается в переводе с разрешения ее издателей.

академической дисциплины. Изучая прошлое той или иной местности, он задавал обманчиво простые вопросы, которые никогда раньше не ставились, и систематически использовал все виды архивных источников, такие как инвентарные описи завещаемого имущества, налоговые списки, реестры горожан, которые, попав в руки мастера, раскрывали неожиданно личную - и потому человечную - информацию о кажущихся обыденными вещах. Это его перу принадлежит новая локальная история графства Девон и, хотя задуманная им социально-экономическая история Лестершира так и не была написана, ему все же воздают должное как одному из самых влиятельных исследователей истории этого края. Под его прямым влиянием даже несокрушимо традиционалистская "Викторианская история графств Англии" была, наконец, вынуждена расширить и модернизировать свою устоявшуюся тематику. И дополняют все это те разнообразные пособия для начинающих локальных историков и множество общедоступных местных и региональных путеводителей или справочников, газетных статей, радиопередач, не говоря уже об имевших большой успех телесериалах, которые свидетельствуют о его исключительном даровании популяризатора науки.

Только об очень немногих других историках, ушедших или ныне живущих, можно сказать, что они столь же полноценно выполнили для своего собственного и для последующих поколений тройственную *социальную* функцию историка - регистратора, интерпретатора и, к тому же, распространителя своей версии прошлого. Никогда до него ни один академический историк не затрагивал напрямую чувств широких масс простых людей и не побуждал их самих по-настоящему заниматься историей, за исключением, конечно А.Дж.П.Тейлора, единственного возможного его конкурента.

II

Д-р Джонсон утверждал: "Истинный гений - это ум большой обобщающей силы, волей случая принявший специфическое направление". Как известно, Хоскинс сам превознес партикуляризацию, приведя в качестве эпиграфа к своему сборнику "Провинциальная Англия" (*Provincial England*) слова Уильяма Блейка: "Обобщать - значит быть идиотом. Вдаваться в подробности - вот единственно достойное занятие". Мы видим, как в *The Making of the English Landscape* он настаивает на том, что "за каждым обобщением лежит бесконечное разнообразие и красота дета-

лей".[8] В действительности именно благодаря его необыкновенной способности замечать частности мертвое прошлое в его произведениях непременно оживает. Вот что он писал в неопубликованных заметках: "Локальная история вносит свой вклад в историю всеобщую, но она также существует сама по себе - локальный историк должен всегда помнить об уникальности своего предмета, так же как и всякий хороший художник-портретист, а иначе у него получатся просто типажи."[9] Поиски уникального, несомненно, лежат в основе успеха Хоскинса как самобытного историка, но этим дело не исчерпывается. Подлинный дар У.Дж.Хоскинса состоит в его способности соотносить открытые им частные особенности с универсалиями, а, по моему мнению, именно это свойство, больше чем все другие, является признаком гениальности.

Примечательно, что сегодня комментаторы обращаются к работам Хоскинса только за тем, что отвечает их собственным специфическим интересам. Таким образом, те самые академические специализации, развитие которых он поощрил своим примером, скрывают теперь целостность его видения прошлого. Историкам агрикультуры нужна информация об урожайности, историки ландшафта обращаются к его работам по заброшенным средневековым деревням, а историки-урбанисты разыскивают те комплексы городских занятий, которые он реконструировал. И поскольку "тематические" историки склонны ограничиваться узкими периодами, в рамках которых специализируются, они, как правило, теряют полноту хронологического охвата, которая отличала видение Хоскинса. Ибо то, что характеризовало самые плодотворные годы его творчества, было ничем иным как новым видением всей английской истории, не поняв которое нельзя постичь У.Дж.Хоскинса. Поэтому сейчас будет уместно сосредоточиться на становлении этого в высшей степени персонализованного взгляда на историю. Новый свет на этот счет могут пролить собственные записные книжки Хоскинса, которые хранятся в архиве Отделения английской локальной истории Лестерского университета.

III

Хоскинс приехал в Лестер в 1931 году, в возрасте двадцати трех лет, для того, чтобы читать лекции по экономике в тогдашнем университетском колледже. В это время он также готовил к печати рукопись своей первой книги "Промышленность, торговля и люди

---

[8] W.G.Hoskins, *The Making of the English Landscape*, p.161. London: Hodder and Stoughton, 1955.

[9] Department of English Local History Archive. Набросок прощальной лекции, прочитанной в Эксетерском университете.

Эксетера в 1688-1800 годы" (*Industry, Trade and People in Exeter 1688-1800*), которую завершил в феврале 1935 г. Хотя его первая статья по Лестерширу (о его англосаксонских и скандинавских поселениях) появилась в *Transactions* уже в 1935 г., занятый другими делами, он пока не мог начать серьезную работу по Центральному региону.[10]

Надо сказать, ему исключительно повезло с источниками по Лестерширу, поскольку многие из них были к этому времени уже опубликованы или подготовлены к печати. Так Хоскинс, почти весь предыдущий исследовательский опыт которого ограничивался периодом 1650-1800 гг., получил немаловажное преимущество - удобную возможность использовать сложную средневековую документацию. Доступность столь обширного материала опубликованных первоисточников, высвободила ему время, с одной стороны, для анализа рукописных инвентарных описей XVI века, а с другой для длительных пеших и велосипедных прогулок, которые он совершал по всему Лестерширу и Ратленду в поисках видимых следов средневековой эпохи, день за днем обследуя окрестные поля (прежде всего вокруг местечка Уигстон Магна, где он жил), "обнаруживая средневековое прошлое в тропинках, родниках, межевых валах..."[11]

Преподавание не только не мешало научной деятельности, но даже стимулировало ее. Записные книжки содержат не только эскизы лекционных курсов и некоторые наблюдения исследователя, но и первые наброски планов его будущих книг: "Крестьянин Мидленда" (*The Midland Peasant*), "Центральная Англия" (*Midland England*), "Лестершир: история его ландшафта" (*Leicestershire: A History of the Landscape*) и "Локальная история в Англии" (*Local History in England*). Чтение лекций и работа над книгами шли рука об руку.

Теперь, благодаря записным книжкам, можно с высокой степенью точности воспроизвести тот момент, когда мысли Хоскинса повернули в новое русло. Ни записные книжки, ни публикации не указывают на появление его главной организующей идеи в 1940-41 г. До и даже после этой даты рассуждения Хоскинса сфокусированы на трех связанных между собой локальных темах: на топографии Лестершира, ранней социально-экономической истории его сельской части и на более детализированном изучении Уигстон

---

[10] Farewell lecture notes; 'The Anglian and Scandinavian settlements of Leicestershire', *TLAS*, 18 (1935), pp.110-47.

[11] W.G.Hoskins, *Leicestershire: An Illustrated Essay on the History of the Landscape*, p.XV. London: Hodder and Stoughton, 1957.

Магна. Иными словами, на этой стадии он все еще продолжал собирать. сопоставлять и упорядочивать данные, как визуальные, так и документальные. В основе систематизации подготовленного для лекционных курсов археологического материала оставалась категория местонахождения: в зависимости от последнего выделялись замки, места, обнесенные рвом, типы деревень, пахотные поля. дороги и мосты. Он посещал заброшенные средневековые деревни еще осенью 1940 г.; его первая статья по этой теме была сдана в печать в 1944 г., а вышла в свет в следующем году. Его самые ранние разработки инвентарных описей XVI в. были впервые опубликованы в 1940 (по завещанию приходского священника) и в 1941-42 гг. (по лестерширскому фермеру). Однако, сколь бы новаторскими они ни были, ни эти, ни другие статьи, опубликованные вплоть до 1943 г., не обнаруживают никаких следов более высокого уровня референции, чем сам регион. Тем не менее здесь уже узнаваем сравнительный метод Хоскинса, соотносящий друг с другом изменения в жизни различных общин или типы поселений внутри *Лестершира*.

Но на этом этапе карьеры более важное значение имело то, что благодаря своему нетрадиционному вниманию к визуальным данным Хоскинс, наконец, заполнил существенный пробел в своем исследовательском опыте. Он раздвинул хронологические рамки своей компетентности, приобретя специальные познания по истории раннего и высокого средневековья, а также периода Тюдоров, не говоря уже о профессиональной эрудиции в области ранней новой истории Англии в целом. Короче, - и в этом ирония судьбы, - как только Хоскинс освоил мастерство исследователя на всей временной протяженности локализованной истории, его доступ к предмету изучения был внезапно отрезан второй мировой войной.

IV

Дело в том, что, по всей вероятности, именно впечатления и переживания этого периода, оказались существенно важными для последующего развития исторических взглядов Хоскинса. Почти на пять лет он был "выслан" в Лондон для работы на Центральную комиссию регулирования цен. Но позднее он писал в *Midland England*:

> "даже это лишение свободы, ибо таковым оно всегда является для сельского жителя, было полезным. В невыносимой скуке и пустоте лондонской жизни единственным средством сохранить разум...были размышления о тех годах, когда я ежедневно обходил поля и деревни Мидленда, по возвращении домой

искал в книгах и манускриптах ту историю, следы которой видел днем, а затем снова отправлялся, чтобы продолжить исследование."[12]

Отлученный от привычного распорядка и предельной конкретности своих изысканий, Хоскинс был теперь вынужден думать об исторических моделях большего масштаба. Предметами его размышлений стали крупные исторические сдвиги, подсказанные самой войной. Вот весьма красноречивые строки воспоминаний из набросков к прощальной лекции:

"1 сентября 1939 г. - 'Немцы бомбили Краков' - пожилой хранитель со своим стаканом молока сворачивает - нет, не карту Европы, а эксетерский список плательщиков подушной подати 1660 года. - 'Это мне долго не понадобится'. Воздушный налет 1942 года: крик чаек над руинами - разрушения от пожара 1003 года, мелькнуло в подсознании. Потом старая дама, собирающая букетик полевых цветов посреди булыжников Хай-стрит, цыгане, привязывающие своих лошадок на травянистых холмах, где некогда была Саут-стрит...- все это история. Годы сосредоточенных раздумий чутким к истории".

О бомбардировке Плимута он позднее напишет так: "20 мая варвары начали систематическое разрушение города" и "в ту страшную весну 1941 года, миссионерами цивилизации XX века [отметим эту фразеологию - *Ч.Ф.*] город был подвергнут мощным ударам с воздуха и понес многочисленные повреждения и потери".[13]

Абсолютное и упорное отвращение Хоскинса к современному массовому обществу и, в еще большей мере, к его разрушительному техническому потенциалу, распространилось и на послевоенные годы. О силе его растущего возмущения по этому поводу можно судить по ныне заслуженно знаменитому критическому разносу в адрес современного мира из The Making of the English Landscape, вышедшему из-под его пера вероятно в 1954 г.:

"Что же произошло с исконным ландшафтом английской деревни? Аэродромы раздели его догола повсюду, где имеются ровные хорошо дренированные участки земли, прежде всего в восточной Англии. Жалкие опустошенные Линкольншир и Суффолк! А длинные мягкие линии покатых склонов Котсуолда, те покрытые туманом нагорья из серого оолита, как же они стали заложниками чудовищных потребностей этой новой эпохи! Над ними день за днем гудит жуткий призрак атомного бомбардировщика, оставляя на небесах Констебла и Гейнсборо след, похожий на мерзкого слизняка. Англия бараков типа "Ниссен", сборных домов и электрических ограждений из колючей проволоки вокруг некоей сатанинской силы, не подлежащей упоминанию; Англия автомагистральных развязок, лишенных деревьев и пропахших дизельным топли-

[12] W.G.Hoskins, *Midland England: A Survey of the Country between the Chilterns and the Trent*, 'The Face of Britain series', London: Batsford, 1949.

[13] W.G.Hoskins, *Devon. A New Survey of England*, p.456. London: Collins, 1954.

вом, забитых грузовиками; Англия дальнего бомбометания, там где некогда царила тишина, как в болотах Линкольншира; Англия боевых полигонов на вересковых пустошах Брекленда и танков, с грохотом прорывающихся через пустые разрушенные деревни Уилтшира; Англия фугасов, падающих на доисторические памятники Дартмура - это варварская Англия естествоиспытателей, военных и политиков. Давайте отвернемся и попытаемся разглядеть прошлое, пока не все утрачено этими вандалами."[14]

Как и многие его современники, Хоскинс был хорошо осведомлен о крупных изменениях циклического характера в развитии человечества и представлял их с точки зрения истории целых цивилизаций. Некоторые представители его поколения размышляли над "Закатом Европы" Освальда Шпенглера, а другие (как, например, его прямой преемник на посту главы Отделения английской локальной истории Герберт Финберг) обращали взоры на "Изучение истории" Арнольда Тойнби, но на самого Хоскинса, всегда интересовавшегося экономической, социальной и культурной подоплекой исторических фактов, произвели глубокое впечатление некоторые из ранних произведений Льюиса Мэмфорда. Однако вывод, который он сделал из рассуждений самого Мэмфорда о процессе эволюции от одной стадии к другой, состоял в том, что "старую цивилизацию нельзя оценивать с помощью количественных критериев". Он записал в своей книжке:

"Нам следует вновь открывать и спасать остатки старых квалитативных цивилизаций, которые мы ежедневно безжалостно уничтожаем для того, чтобы увеличить наше богатство и силу. Вот в чем состоит - и об этом надо говорить чаще - трагедия современного мира. Старые квалитативные цивилизации, имевшие целью не силу, а совершенство, это наш потерянный рай."[15]

В разгар войны мысли Хоскинса были заняты не только общим противопоставлением настоящих и прошедших условий человеческого существования, но также и более конкретными историческими наблюдениями. Однако, судя по записной книжке, озаглавленный "Социально-экономическая история одной деревни в Мидленде", которую он начал заполнять в 1943 или в 1944 году, вплоть до этого момента Хоскинс испытывал затруднения с определением центральной темы. Можно не сомневаться, что целый ряд книг, которые в это время привлекли его внимание, самым непосредственным образом повлияли на то, что он стал смелее находить в своем микроскопическом исследовании проявления более общих процессов. Великолепная работа Ф.М.Стентона "Англосаксонская Англия" (*Anglo-Saxon England*) была опубликована в 1943 году, и

---

[14] Hoskins, *Making of the English Landscape*, pp.231-2.
[15] Notebook entitled 'The Economic and Social History of a Midland Village'.

ключевая фраза из нее цитируется в заметках Хоскинса: "Центральная линия развития англосаксонского общества может быть описана как процесс, в ходе которого крестьянство, вначале состоявшее по существу из свободных людей, которые не признавали никакого господина ниже короля, постепенно потеряло свою хозяйственную и личную независимость".[16] Из книги Джорджа Каспара Хоманса "Жители английской деревни XIII века" (*English Villages of the Thirteenth Century*), впервые опубликованной в США в 1941 г., он почерпнул концепцию "корневой семьи", которую использовал, чтобы подчеркнуть продолжительность существования некоторых свободных крестьянских семей в Уигстоне, что стало одной из главных тем его статьи "Крестьянские семьи Лестершира и их родословные", появившейся в *Transactions* за 1946 год. В работе другого американского историка - книге Милдред Кэмпбел "Английские йомены во времена Елизаветы и ранних Стюартов" (*The English Yomen Under Elizabeth and the Early Stuarts*), которую Хоскинс рецензировал для журнала *Economic History Review* в 1944-45 г., он нашел подтверждение своей растущей уверенности в том, что класс йоменов должен стать предметом пристального внимания историков. Кроме того, должно быть, примерно тогда же на него произвела сильное впечатление книга Джорджа Бурна "Перемены в деревне" (Change in the Village), вышедшая в свет задолго до этого, в 1912 году. Эта книга, в особенности, помогла Хоскинсу связать свое общее представление о ценности и предпочтительности "квалитативной" цивилизации (по сравнению с "квантитативной") с конкретной задачей найти тему, в свете которой задуманный им труд по истории сельской Англии обрел бы новый смысл.

Бесспорно, Хоскинса вдохновило глубокое проникновение Бурна в утраченную культуру деревни. Он записал, вероятно в 1943-44 г., что Бурн считал "...крестьянскую традицию по своей силе равнозначной определенной форме цивилизации - цивилизации сельской Англии. Люди находили в ней не только способ добывать средства существования, но также поддержку и помощь, необходимые для того, чтобы жить хорошо."[17] Бурн показал на конкретном примере, как огораживание общинных угодий в 1861 г. привело уже в 1900, а особенно в 1910 г., вначале к постепенной, а затем ко все более ускоряющейся эрозии крестьянского образа жизни. Таким образом, возможные параллели с Уигстоном, кото-

[16] Notebook, 'The Economic and...', p.4.

[17] Notebook, 'The Economic and...', p.11 from G.Bourne, *Change in the Village*, p.116. London: Duckworth, 1912.

рым тогда занимался Хоскинс, были совершенно очевидны. Под заголовком "Огораживание в Уигстоне. Переворот 17 ноября 1766 г., когда было принято судебное решение" (на первой странице записной книжки) Хоскинс вписывает несколько строк другими, красными, чернилами: "Было покончено с привычной формой жизни, существовавшей более 1200 лет, со старыми именами, старыми межевыми знаками, завершилась последняя жатва", "ветер в последний раз отряхивал ячмень, цветение бобовых больше не наполняло своим ароматом деревенские поля". И затем - самая суть, под новым заголовком "Старый образ жизни":

> "Теперь у меня есть главная тема: медленное становление старого способа жизни - описать со всеми подробностями! - далее, дезинтеграция этой модели, разрушенной до неузнаваемости. Старая крестьянская традиция, когда мужчины и женщины чувствовали себя как дома в своем мире, укоренялись в том месте, которое имело для них определенный смысл и значительность, жили среди своих людей, включенные в старинный образ жизни и поведения...Привязанность к месту, к семье и к соседям - это самый сильный состав, цементирующий общество. И постепенно мы замечаем как эти связи ослабевают, цемент крошится и стены того старого общества превращаются в обломки - очевидными символами этого стоят в деревне руины церкви св. Уистана, умолкнувшая водяная мельница, полуразвалившиеся коттеджи."

Итак, Хоскинс нашел свою тему - фактически он открыл ведущую идею своей главной книги. Уже в его рецензии 1944/45 г. на работу Милдред Кэмпбел, говоря о нарисованной ею картине благоприятного для йоменов и хорошо интегрированного общества, он продолжает: "оно имеет точное сходство и в целом воспринимается как некая реальная цивилизация, а именно крестьянская цивилизация, которая лучше любой из тех, что мы видим или могли бы продемонстрировать сегодня в этом одержимом деньгами, урбанистическом двадцатом веке".[18] Вот почему то, что Хоскинсу не удалось найти издателя для своей книги об Уигстоне и она в конце концов вышла в свет только через десяток лет, в 1957 году, кажется насмешкой судьбы. Ирония и в том, что под воздействием Р.Тоуни та работа, которую Хоскинс назвал "История Уигстона Магна: исследование крестьянской цивилизации" ('The History of Wigston Magna: A Study in Peasant Civilisation'), появилась в печати под заглавием "Крестьянин Мидленда: социально-экономическая история лестерширской деревни" (*The Midland Peasant: the Economic and Social History of a Leicestershire Village*). Однако в промежутке Хоскинс был вынужден разрабатывать свою идею в более популярной форме, сначала на региональном уровне (в *Midland England*,

---

[18] *Economic History Review*, 14 (1944-5), p.193-6.

которая вышла в серии "Лицо Британии" в 1949 году), а спустя шесть лет - на общенациональном уровне, хотя и не так явно, в *The Making of the English Landscape.*

Этот крупный сдвиг в его понимании локальной истории прекрасно раскрывается в сопоставлении двух его лекционных курсов: один, начатый весной 1940 г. назывался "Жизнь и люди Лестершира", а другой был подготовлен семь лет спустя и, будучи прямым продолжением первого, носил заглавие "Жизнь и люди *старого* Лестершира" [курсив мой - *Ч.Ф.*]. Вот описание первого спецкурса: "Замысел состоит в том, чтобы показать образ жизни разных классов в Лестершире начиная с XVI века". В перечне тем он упоминает аристократов, сквайров, священников, фермеров, коттеров, наемных работников, горожан и, что характерно, людей с причудами. В плане также перечислены:

"типы домов, как они были обставлены, число комнат, строительные материалы. Жизненный уровень. Пища. Повседневная жизнь - распорядок дня - календарь фермера - жизнь от рождения до смерти - последняя воля и завещание - образование (деревенские школы и т.д.) - работа и развлечения."

Но к 1947 году тот же самый курс был коренным образом реорганизован, о чем можно судить по его программе:

"Старая цивилизация и ее особенности. Самодостаточная деревня Лестершира, ее экономическая организация и социальная структура. Сквайры и их дома, сельское хозяйство и семейная жизнь. Крестьяне, коттеры и наемные работники, система открытых полей, их дома и семейное хозяйство. Деревенские ремесленники и их первостепенное значение. Сельская архитектура в Лестершире. Распад старой цивилизации: огораживание, упадок надомного производства, появление железных дорог. Запустение рыночного местечка. Лестершир сегодня."[19]

Пропасть, которая разделяет эти две формулировки одного и того же предмета, означает собой не что иное, как историографическую революцию в современных подходах к прошлому. Вместо того, чтобы рассматривать региональное общество как состоящее из ряда горизонтальных социальных "полос", которые следует характеризовать *раздельно* и так, чтобы их признаки могли иллюстрировать классовые различия на общенациональном уровне, Хоскинс избрал блестящий альтернативный подход. Он заменил горизонтальные размежевания общества вертикальными, соответствующими различным группировкам людей, соединенным *вместе* той или иной формой общности - деревенской или городской - и он рассматривал их не на фоне более "высокой", превосходящей культуры, а в связи со сложившимся способом жизни, который получал разнообразные выражения в зависимости от резко отличающихся

[19] Notebook 'H'.

региональных и социальных условий. Так начинается новая локальная история, которая оказалась, в идеале, способной к последовательному и сравнительному анализу трех взаимодействующих уровней: уровня отдельной общины - сельской или городской; уровня регионального общества и его экономики; уровня более широкой культуры, которую большинство населения, в противовес общенациональной элите, в течение столетий и разделяло, и развивало, с существенными региональными различиями.

Творческий гений Хоскинса состоит, таким образом, в том, как он смело преобразовал и распространил наблюдение Бурна, сделанное тем в отношении последних лет "крестьянской цивилизации", на огромную временную протяженность. Он искал истоки этой цивилизации в глубине англосаксонской эпохи и видел в качестве ее "родного дома" Мидленд. Ее реальной основой, по Хоскинсу, были те деревни с общинными полями, которые считают созданием англосаксонских поселенцев; ее социальная опора - свободное крестьянство, зачастую скандинавского происхождения, а позднее - йомены; ее главными признаками являются глубокая укорененность семей, "крестьянская демократия" на местном уровне; бережливость и старательность, экономное хозяйствование и использование местных ресурсов (как, например, строительных материалов) практически для всех домашних нужд. Ее экономическим форпостом и рынком сбыта был местный городок; ее художниками - сельские и городские ремесленники; и - что самое важное - более всего ее дух проявлялся в чувстве общности. Это было "компактное, замкнутое общество", писал Хоскинс о том, на что впоследствии, в *Local History in England*, указал, как на центральный объект изучения каждого локального историка.

Высшую точку в развитии этой цивилизации, "расцвет сельской Англии", он позднее хронологически связал с появлением местных архитектурных стилей и бумом крестьянского строительства, который называл "Великой Перестройкой" ("The Great Rebuilding").[20] В одном единственном абзаце из *The Making of the English Landscape* нашло свое выражение общее представление Хоскинса о хронологии своей крестьянской цивилизации и о том, что он считал периодом ее наибольшего процветания. Из него также становится ясно, что в концептуальном отношении он был обязан Мэмфорду не меньше, чем Бурну:

> "Та английская деревня - какой она остается, пока ее не затронуло разъедающее дыхание двадцатого века - с ее усадьбами, коттеджами, школой, до-

[20] W.G.Hoskins, 'The Rebuilding of Rural England 1570-1640', in *Provincial England*, pp.131-48. London: Macmillan, 1963.

мом призрения и, возможно, скромной старой часовней, в своей основе является продуктом двухсотлетней истории, приблизительно между 1570-м и 1770 годом. До этого времени жизнь была тяжелой и неблагоустроенной, без малейшего достатка: то немногое, что превышало потребности выживания, шло на украшение приходской церкви. По окончании этого периода мы видим разложение деревенской общины, деградацию большей части сельского населения и бегство в города. Но в течение тех двух сотен лет - семь человеческих поколений - сельская Англия процветала. Изнуряющий труд освоения земель был завершен, за исключением попадавшихся то там, то здесь небольших полос. Населенность, по меньшей мере для аграрной страны, была достаточной, и оставалось время на отдых и игры. Узкая грань между полной лишений жизнью и голодной смертью, преследовавшей так много поколений начиная с раннего средневековья, расширилась в результате возделывания миллионов акров прежде непаханной земли. Не было больше нужды выходить в конце трудного дня, чтобы валить деревья и расчищать новые участки: все, что стоило сделать, уже было сделано; теперь появилось время для размышлений, для того чтобы думать о чем-то сверх простых жизненных потребностей. Йомены эпохи Стюартов или первых Георгов вечерами брались за книги, а не за топор или мотыгу, как их предки."[21]

О том, как Хоскинс представлял себе падение этой крестьянской цивилизации, лучше всего можно судить по тем страницам его *The Midland Peasant*, с которых все эти идеи начинались, хотя публикуя эту книгу через десять лет, Хоскинс, стал, под влиянием Р.Тоуни, меньше писать о цивилизации, а больше о "крестьянской системе". Поскольку "последним могучим оплотом" этой системы были открытые поля, значение огораживаний XVIII в. состояло

"в том, что они ликвидировали общинные права и, вследствие этого, внезапно ввергли крестьянина - да еще с самого начала обремененного долгами - в денежную экономику, которой он не понимал. Произошло не просто замещение одной системы ведения сельского хозяйства другой, которая возможно, в конечном итоге, была более производительной для страны в целом (хотя и это спорно), но разрушение целого общества со своей собственной экономикой и традициями, своим образом жизни и самобытной культурой.[22]

В том, что касается Уигстона, этот процесс, начатый в 1766 г., привел в 1901 г. к следующей ситуации:

"Крестьянская деревня была размыта, а затем совершенно затоплена, и волна индустриализма беспрепятственно катилась над ней. В это время здесь жили и добывали средства к существованию уже в пятнадцать раз больше семей, чем в начале XIV в., в высшей точке подъема средневекового земледелия. Но целая культура, квалитативная цивилизация, погибла для того, чтобы привести к этому количественному триумфу".[23]

---

[21] Hoskins, *Making of the English Landscape*, p.126.

[22] W.G.Hoskins, *The Midland Peasant: The Economic and Social History of a Leicestershire Village*, p.255. London: Macmillan, 1957.

[23] Hoskins, *Midland Peasant*, p.282.

V

Здесь, конечно, следует подчеркнуть, что ни эти хронологические рамки, ни представление Хоскинса о цивилизации не были строго и жестко определены. Он прекрасно сознавал возможности преемственности между Римской Британией и Англосаксонской Англией. Он также первым бы согласился с тем, что старый сельский мир выжил и после второй мировой войны. И сверх того, его употребление самого слова "цивилизация" было в некотором смысле суженным, он также применял это понятие к специфическим культурам отдельных сосуществовавших форм общности. В этом духе Хоскинс, например ссылался на "монастырскую цивилизацию" дореформационной эпохи. Свою же "крестьянскую цивилизацию" он по рассматривал главным образом как дополняемую - на более поздних этапах ее развития - тем, что он называл "цивилизацией загородных усадеб":

"Цивилизация загородных усадеб, со всем ее светским блеском, со всей той красотой, которую она внесла в мидлендский ландшафт, с ее домами, парками, озерами, с ухоженными селениями и прекрасными лесами, достигла вершины своего расцвета в XVIII-начале XIX в., а ныне (1948) она почти исчезала. Ибо она была создана одним из самых несправедливых обществ в мире, построенном на концентрации огромных богатств в руках немногих и на нищете множества людей, а такое неравенство нельзя дольше защищать. И тем не менее, пока она сохранялась, это была цивилизация огромных достижений, которые ни в коем случае не сводились к материальным, и мы не только не нашли до сих пор ничего достойного, чтобы ее заменить, но и вряд ли сможем сделать это еще в течение значительного промежутка времени. Но ведь и сама цивилизация загородных усадеб выросла из неразвитого, невежественного, грубого общества, и потребовались столетия, чтобы добиться ее совершенства. Может быть, и той цивилизации, которая ее заменит и которой пока не видно и следа, для полного созревания тоже понадобятся века, если ей вообще дадут взойти".[24]

И, конечно же, две "цивилизации" - крестьянина и сквайра - встречаются именно на уровне локальной общности, и обе они угасают более или менее одновременно. В областях бурной индустриализации это произошло раньше, но за их границами все свела на нет война. В Девоншире

"1914 год ознаменовал конец эпохи, конец загородного дома и сквайра, и конец старой деревенской жизни. Так много сыновей и наследников старых поместий, следуя родовым традициям, шли впереди в тщетных и безнадежных атаках, завязнувших в слякоти северной Франции и Фландрии, и пали там... Год 1916 нанес смертельный удар по дворянским усадьбам...В этот год и два последующих свершилось и многое из того, что положило конец традицион-

[24] Hoskins, *Midland England*, p.60.

ной деревенской жизни, неотъемлемой части жизни крупного поместья, когда не вернулись с войны молодые люди, которые должны были продолжить занятия и традиции своих отцов и стать отцами следующего поколения".[25]

Наследством, завещанным этими провинциальными "цивилизациями" - памятником им - является тот самый английский ландшафт, который некогда именно они создавали и изменяли. Свой взгляд на этот предмет Хоскинс ясно выражает в предисловии к *Midland England*:

"Мне не очень интересны внешние впечатления. Три видимых измерения какого-нибудь строения или ландшафта недостаточны: на минуту они могут привести в восторг, но не оставят прочного следа в памяти. Для того, чтобы придать открывающемуся виду настоящую глубину, требуется четвертое измерение - измерение времени: нужно как можно больше знать о прошлом, о связях между людьми, и чувствовать длительную непрерывность человеческой жизни в этом самом месте, прежде чем оно сможет оказать полное воздействие на разум.[26]

Итак, по мнению Хоскинса, ландшафт представляет собой всего лишь один из подступов к прошлому, и его изучение нельзя рассматривать как самоцель - факт, который многие его подражатели склонны забывать. Другие пути познания прошлого, которые он разрабатывал, включали демографию, социологию, археологию, даже ботанику, но все они, как и топография, были в его глазах вспомогательными средствами для решения одной все поглощающей задачи - "воссоздать фундаментальное единство человеческой истории", задачи, которая реально могла быть предпринята только в масштабе локальной истории.[27] Независимо от того, принимаем ли мы сегодня его понимание этой проблемы, его терминологию, его хронологию, или нет, сама идея крестьянской цивилизации, предложенная Хоскинсом, по меньшей мере, восстанавливает для расчлененного внутридисциплинарной специализацией мира истории ощущение формы и континуитета, ощущение прошлого, в котором, в конце концов, именно голоса, поступки и решения каждого человека в его непрекращающейся борьбе с материальным окружением имеют важное значение. Род человеческий, а не ландшафт, был главной заботой Хоскинса. Дороги и перекрестки его Англии не пустынны, они переполнены людьми: земледельцами и лавочниками, купцами, ремесленниками и батраками, сквайрами и священниками, и даже "местными гениями". Культур-

---

[25] Hoskins, *Devon*, p.298.
[26] Hoskins, *Midland England*, p.V.
[27] W.G.Hoskins, *English Local History: the Past and Future*, an Inaugural Lecture, p.21. Leicester: Leicester University Press, 1966.

ный гумус - это результат деятельности поколений и поколений реальных людей. Установление вклада в этот общий культурный итог каждого из них, каким бы скромным и незаметным тот ни был, является сверхзадачей и обязанностью локального историка.

VI

И мы соответственно подходим к нему самому. Но для этого нужно вновь обратиться к тому решающему моменту, в возрасте около 35 лет, когда он впервые делал наброски для своей будущей книги о Уигстоне Магна, вероятно в 1943-44 г. Относящаяся к этому времени записная книжка действительно является очень показательным документом, потому что Хоскинс зафиксировал в ней несколько цитат из произведений других авторов, которые в интеллектуальном отношении задели его за живое. Одна выписка взята им из "Автобиографии" философа истории Р.Дж.Коллингвуда:

> "Каждая историческая проблема в конечном счете возникает из реальной жизни..,исторические проблемы связаны с практическими проблемами. Мы изучаем историю для того, чтобы нам стала ясней та ситуация, в которой нам предстоит действовать. Следовательно, плоскость, где в конечном счете возникают все проблемы, оказывается плоскостью "реальной" жизни, а история - это та плоскость, на которую они проецируются для своего решения...
> Если историк познает мысли прошлого и познает их, продумывая их вновь в себе, то отсюда следует, что знание, обретаемое им в ходе исторического исследования, не является знанием о его положении, противопоставленным познанию самого себя. Продумывая вновь чью-нибудь мысль, он мыслит ее сам...Если он в состоянии понять мысли людей самых различных типов, воспроизводя их в себе, значит в нем самом должны присутствовать самые различные типы человека. Он должен быть микрокосмом всей истории, которую он в состоянии познать. Таким образом, познание им самого себя оказывается в то же время и познанием мира людских дел."[28]

О процессе самопознания Хоскинса. конечно. можно только догадываться, хотя и с приемлемой степенью надежности. Ключом должно стать его эмоциональное восприятие своего собственного происхождения и места в обществе: первоначально, стипендиат провинциального университетского колледжа, с соответствующими радикальными политическими взглядами и занятиями, которые лишь косвенно соприкасались с интересами "высокой" столичной культуры интеллектуальной элиты 1930-1940-х годов. В самом деле, кое-что от этой настороженности - почти робости - все еще оставалось при нем даже в Оксфорде 1960-х гг. Но в те военные

---

[28] R.G.Collingwood, An Autobiography, p.115. OUP, 1939. В рус.пер. - Р.Дж. Коллингвуд. Идея истории. Автобиография. М.: "Наука", 1980. С.388.

годы что-то, кажется, дало ему уверенность в себе, уверенность, которая, без сомнения, была навеяна ширящимся признанием его оригинальности и многообещающих качеств в академической среде. Эта уверенность в своем выборе, разумеется, усилилась в связи с тем теплым приемом, который был тогда оказан "историческим истеблишментом" вышедшей в свет превосходной работе по *локальной* истории "Корнуэлл при Тюдорах" (*Tudor Cornwall*) А.Л.Рауса (*A.L.Rowse*).

Профессиональный авторитет Хоскинса вырос с появлением его статьи в Economic History Review за 1943 год - первой, опубликованной в центральном (а не в местном) историческом журнале. К тому времени, когда он "открывает" понятие "крестьянская цивилизация", его приверженность к на первый взгляд узкоограниченным "местно-приходским" историческим сюжетам уже могла быть публично оправдана тем, что они имели огромное значение для изучения более широких культурных явлений. И именно этот момент он счел необходимым подчеркнуть в уже упоминавшейся рецензии на книгу Милдред Кемпбелл о йоменах. А спустя четыре года, в *Midland England*, говоря о йоменах, он напишет: "Возможно я немного пристрастен к ним, будучи по происхождению из длинной череды подобных людей (хотя и не в Мидленде) - шесть столетий йеменских фермеров, церковных старост, констеблей, приходских попечителей, управляющих (в редких случаях выше этого), точно таких же, как их мидлендские прототипы".[29] Действительно, очень мало историков, которые бы с такой настойчивостью подчеркивали свое социальное происхождение в их работах. Снова и снова Хоскинс возвращается к этой теме, пусть даже только для того, чтобы с помощью истории своего собственного рода ярче осветить тот общий вопрос, который им в тот момент обсуждается.

Но рядом с легко обнаруживаемой гордостью своим происхождением и вытекающей из нее новой уверенностью в надежности и целесообразности дела всей своей жизни, лежит осознание нового аспекта своего "я" как историка. И вот прямое личное следствие из этого "самоотождествления посредством происхождения" - Хоскинс смог увидеть в себе живого представителя того самого мира, который он с такой любовью старался воссоздать. В одной из записных книжек мы читаем следующий, проясняющий многое пассаж:

> "Погибшая жизненная форма, утраченная модель интегрированной жизни, всем некогда известная, присущая тому времени, когда мы (заметьте это "мы" - *Ч.Ф.*)все были в миру, как у себя дома, среди нашей собственной родни и в родимых местах, в согласии с образом жизни, переданным нам из незапамятного

[29] Hoskins, *Midland England*, pp.80-81.

прошлого, глубоко укорененные в "культурном гумусе", заложенным поколениями предков именно в этом месте - в том же самом доме, в той же деревне или в том же городке. В Эксетере я мог наблюдать эту старую модель, в которой мой отец, выпекая хлеб ручного замеса без всяких машин, продолжал то же самое занятие и тем же традиционным способом, как это до него делали его отец и дед в том же старом городе со времен Георга IV".

И в его последней книге "Век грабежа" (The Age of Plunder) мы также видим, как он помещает это свое эмоциональное восприятие в более широкий концептуальный контекст:

"Историки по необходимости "нарезают" историю на периоды, но старые человеческие сообщества часто сохраняются инкапсулированными в более позднюю и чуждую им эпоху. Поэтому я пишу с симпатией о том мире, который я знал и все еще встречаю в некоторых местах, вовсе не считая его неким золотым веком."[30]

Итак, Хоскинс стал представлять самого себя как, в некотором смысле, "культурный бродяга", пришедший из более старого и более замечательного культурного *слоя (stratum)*. Освободившийся, наконец, от современных предубеждений и условностей, сложившихся в обществе и ученом мире, он мог, таким образом, публично выразить удовлетворение - и даже насладиться - стойкостью своего собственного высокообразованного провинциализма.

Высшим достижением У.Дж.Хоскинса состоит в том, что он был одновременно и пророком, и поэтом того исчезающего на глазах мира, к которому он чувствовал себя принадлежащим: элегическая скорбь по этой "крестьянской цивилизации", волнующая как надгробная песнь, пронизывает его замечательные произведения. Он оставил великий дар потомкам, дав всем нам возможность на краткий миг заглянуть в английский "Потерянный Рай".



[30] W.G.Hoskins, *The Age of Plunder: The England of Henry VIII, 1500-1547*, Social and Economic History of England, p.XIII. London: Longman, 1976.

В.П.Смирнов

ИСТОРИК И ВРЕМЯ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ Н.Е.ЗАСТЕНКЕРА

Наум Ефимович Застенкер принадлежал к числу тех преподавателей и ученых, которые оказали значительное влияние на формирование послевоенного поколения советских историков. Автор многих десятков работ и глав в основных вузовских учебниках по новой истории и историографии, заведующий сектором новой и новейшей истории главного советского исторического журнала "Вопросы истории", участник крупнейших коллективных исторических трудов, один из ведущих преподавателей исторического факультета Московского государственного университета, он оставил свой след в науке и в памяти своих учеников. Наум Ефимович был редким для нашего времени ученым широкого профиля, свободно ориентирующимся в истории разных стран и разных эпох. Большинство его трудов посвящено истории Франции, но он написал также ряд исследований по истории Германии, Италии, Англии и России.[1]

***

Личная судьба Н.Е.Застенкера во многом отражает судьбу первого поколения советских историков, сформировавшегося в годы революции и гражданской войны. Он родился в 1903 г. в Воронеже, в семье жестянщика и с юных лет был захвачен революционным порывом, горячим стремлением преобразовать жизнь на основах социализма, мечтой о свободном, справедливом, счастливом коммунистическом обществе. В 1919 году, в разгар гражданской войны, 16-летним юношей он вступил в комсомол и уже через год стал зав.политпросвета Воронежского горкома комсомола. В 1920 г. он уехал учиться в Москву в Коммунистический университет имени Я.М.Свердлова - первое высшее учебное заведение, созданное советской властью для подготовки кадров партийных и государственных работников, лекторов, пропагандистов и преподавателей.

Окончив в 1923 г. Коммунистический университет, Н.Е.Застенкер вступил в партию. О его настроениях того времени можно судить по разговору, который был у нас с ним, кажется, в 60-е годы, когда мы оба работали на историческом факультете МГУ. "К какой цели Вы стремились, когда были студентом?" -

---

[1] Список научных работ Н.Е.Застенкера, составленный С.П.Костриковым, опубликован в "Вестнике Московского Университета". Серия истории. 1977. № 6.

спросил меня Наум Ефимович. Я не мог вспомнить никакой ясной цели и в конце концов сказал что-то вроде: "стать хорошим специалистом". - "Как странно, как странно", - произнес Наум Ефимович. Это меня задело, и я спросил: "А какая у Вас была цель в студенческие годы?" - И Наум Ефимович ответил, как бы даже недоумевая, почему задают такой вопрос: "Конечно, мировая революция".

После окончания Коммунистического университета Наум Ефимович, как и большинство выпускников, был направлен на партийную работу - заведующим агитпропом в город Иваново. Одновременно он стал преподавать в местной партшколе, положив начало своему 54-летнему педагогическому стажу. Нравы у молодых партийцев были спартанские, и каждый свой шаг они сверяли с принципами марксизма-ленинизма. Незадолго до смерти Наум Ефимович, посмеиваясь, рассказал мне, что в Иванове его с женой сначала поселили вместе с другой молодой супружеской парой в одной комнате, где имелись две кровати, один стол и четыре табуретки. Кто-то из женщин предложил купить еще шкаф, но возник вопрос, не приведет ли такая роскошная покупка к буржуазному перерождению? Тогда обе семьи собрали партийное собрание жителей комнаты, и тремя голосами против одного постановили шкаф не покупать. Правда, добавил, усмехнувшись, Наум Ефимович, как только наши семьи разъехались, каждая купила себе по шкафу.

В 1928-1931 гг. Наум Ефимович снова учился в Москве, в Институте красной профессуры (ИКП), который соответствовал чему-то вроде современной аспирантуры. Как показывает само его название, Институт готовил "красных профессоров", которые должны были заменить дореволюционных, "белых", буржуазных профессоров. Туда принимали только членов партии с трехлетним (а потом и пятилетним) партийным стажем, имеющих опыт партийной и советской работы и обладающих способностями к научному исследованию. Институт красной профессуры считался главной "кузницей кадров" для партийной, политической и научной деятельности и поэтому пользовался большим вниманием руководителей партии и государства. Они нередко приезжали в Институт и выступали перед его слушателями. Наум Ефимович рассказывал мне, что чаще других там бывал Н.И.Бухарин. Он держался очень демократично, порой запросто усаживался на стол или на подоконник и подолгу разговаривал со слушателями.

Первым ректором Института красной профессуры и одним из его постоянных преподавателей был основатель советской школы историков-марксистов, заместитель наркома просвещения,

председатель Коммунистической академии и директор созданного при ней Института истории, академик М.Н.Покровский. Вместе с ним преподавательскую работу вели самые известные тогда историки-марксисты: глава советской школы изучения стран Запада академик Н.М.Лукин, ведущий советский специалист в области социалистических учений академик В.П.Волгин, один из основателей Института марксизма-ленинизма академик В.В.Адоратский и другие. К преподаванию были привлечены некоторые крупные дореволюционные историки, в том числе профессор Е.А.Косминский, профессор А.Н.Савин, профессор В.С.Сергеев. Слушатели вместе с преподавателями участвовали в составлении учебных планов и программ, проходили практику преподавания. В спецсеминарах они писали научные доклады, которые потом нередко публиковались в печати.

Принадлежность к особо привилегированному и тесно связанному с властью учебному заведению, постоянное общение с крупными учеными и организаторами науки, возможность видеть и слышать руководителей партии и государства и даже познакомиться с ними создавали у слушателей Института красной профессуры ощущение своей избранности, тем более, что слушателей было немного: около десятка историков в каждом выпуске.[2]

Как все советские историки-марксисты того времени, они чувствовали себя обладателями исторической истины и были преисполнены чувством неизмеримого превосходства по отношению к "буржуазным историкам" (то есть ко всем историкам, не являвшимися марксистами), которые такой истиной не владели или - еще хуже - ее оспаривали. Советские историки-марксисты не сомневались, что история должна быть не "объективистской", а "боевой", "острой" и "партийной"; должна служить интересам рабочего класса, коммунистической партии и советского государства. Известную формулу Покровского - "история это политика, опрокинутая в прошлое" - они воспринимали как программу действий. Их привлекали, в первую очередь, "политически актуальные" темы, которыми дореволюционные историки занимались мало или совсем не занимались: история классовой борьбы и социалистических учений, история массовых народных движений и революций, история рабочего и коммунистического движения и, конечно, наиболее тесно связанная с политикой история современности. Печатные произведения советских историков-марксистов обычно отличались крайней резкостью в полемике, политическими и личными обвине-

[2] См. Очерки исторической науки в СССР. Т.IV. М. 1966. С.229.

ниями и оскорблениями в адрес оппонентов, постоянными поисками политических и идейных ошибок в чужих работах.

Главным учителем Наума Ефимовича в Институте красной профессуры, о котором он всегда вспоминал с огромным уважением и теплотой, был академик Волгин. Именно в его семинаре Наум Ефимович начал заниматься историей социалистических учений, которая была близка его сердцу убежденного коммуниста и к которой он сохранил привязанность до конца своих дней. Волгин сразу понял, что его новый ученик обладает большими способностями. Профессор В.А.Дунаевский обнаружил в архиве Института красной профессуры отзыв Волгина, где тот писал, что доклад Н.Е.Застенкера о Прудоне "может быть отнесен к числу лучших работ" слушателей ИКП.[3] Высоко оценил работу Н.Е.Застенкера и другой выдающийся историк Е.А.Косминский, в семинаре которого Наум Ефимович сделал доклад "Классовая борьба в английской революции". Косминский отметил, что Н.Е.Застенкер "обнаружил способность к тонкому историческому анализу и самостоятельным выводам. В прениях он умело ставил вопросы, наиболее плодотворные для освещения той или иной проблемы. Он очень удачно применял марксистский метод, избегая всякого упрощенчества и вульгаризации".[4]

Оставаясь слушателем Института красной профессуры, Наум Ефимович преподавал в международной Ленинской школе при Коминтерне, где учились зарубежные коммунисты. Там он вел занятия в немецкой и французской группах и, в результате, практически освоил оба эти языка.

Годы его учебы в Институте красной профессуры пришлись на очень тяжелое время. Политика ликвидации кулачества и насильственной коллективизации сельского хозяйства, ожесточенная борьба против "правого уклона" в ВКП(б) и в Коминтерне, массовые репрессии создали в стране удушающую политическую и интеллектуальную атмосферу. Один за другим следовали фальсифицированные судебные процессы и аресты (далеко не всегда сопровождавшиеся открытым судом): "шахтинское дело", "дело Промпартии", "дело Трудовой крестьянской партии" и многие другие. Особенно близко коснулось историков так называемое "академическое дело" - арест большой (более 100 человек) группы историков во главе с академиками С.Ф.Платоновым и Е.В.Тарле.[5]

---

[3] См. Г.С.Кучеренко. Н.Е.Застенкер и его труд по истории социалистической мысли // Н.Е.Застенкер. Очерки истории социалистической мысли. М. 1985. С.3.

[4] Там же.

[5] Подробнее см. В.С.Брачев. Дело академика С.Ф.Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5.

Их арестовали в конце 1929 - начале 1930 гг., и советская печать, не ожидая суда и даже окончания следствия, тут же обвинила арестованных в организации "контрреволюционного заговора". В Москве, Ленинграде и других городах были организованы собрания историков, на которых историки-марксисты обвиняли "буржуазных историков" в антимарксизме и в контрреволюционном вредительстве, попутно критикуя разнообразные "ошибки" своих соперников. Те, кто уклонялся от выступлений и отмалчивался, сами становились подозрительными. Под страхом увольнения с работы или исключения из партии, которое часто было лишь прелюдией к аресту, от них требовали признания "ошибок". Тому, кто не испытал это на себе, трудно даже вообразить, какое ужасное, часто непреодолимое, давление создает единодушное осуждение "виновного" властью, печатью, коллегами, студентами, иногда даже друзьями, да еще в соединении с перспективой почти неминуемого ареста или, по крайней мере, увольнения с работы. Вот почему многие достойные люди и крупные ученые участвовали в осуждении арестованных и признавали свои собственные, мнимые "ошибки".

После ареста Тарле и Платонова академик Лукин, являвшийся главным авторитетом для всех советских историков, занимавшихся изучением стран Запада, заявил, что "каждого антимарксиста приходится рассматривать как потенциального вредителя".[6] Он призвал "беспощадно разоблачать не только явно антимарксистские, но и полумарксистские или псевдомарксистские исторические работы".[7] Выступая с докладом "За большевистскую партийность в исторической науке", Лукин утверждал, что "историческая наука должна превратиться в остро отточенное оружие политической борьбы",[8] требовал от историков, занимающихся странами Запада, "показать как наиболее политическая партийная наука выполняет перед пролетариатом свои задачи"[9] и заодно признавал свои собственные ошибки - пока еще только "ошибочное определение империализма" в одной из работ.[10]

В Ленинграде, где до ареста работали Платонов и Тарле, главную роль в их "разоблачении" сыграли директор Ленинградского отделения Института истории Г.С.Зайдель и доцент Ленинградского историко-лингвистического института М.М.Цвибак. Их доклады на заседаниях Ленинградского отделения Института ис-

---

[6] Историк-марксист. 1931. № 21. С.45.
[7] Там же. С.46.
[8] Историк-марксист. 1931. № 22. С.9-10.
[9] Там же. С.9.
[10] Там же. С.8.

тории и общества историков-марксистов вместе с выступлениями в прениях были опубликованы в 1931 г. под выразительным заглавием "Классовый враг на историческом фронте". В своем докладе Зайдель, ссылаясь на сообщения печати, утверждал, что Платонов и Тарле "составляли центр контрреволюционного вредительства".[11] Выступавшие по его докладу историки находили в давно известных, порой написанных еще до революции, книгах Тарле призывы к "реставрации капитализма",[12] "определенные перепевы схем социал-фашиста Кунова",[13] а то и прямо "фашистские тенденции".[14] Один из учеников Тарле усмотрел криминал даже в требовании своего бывшего учителя изучать архивные документы, ибо, по его словам, "установка на архивное сырье имеет смысл и становится понятной в свете общего отношения Тарле к марксистской историографии",[15] которой тот будто бы пренебрегал.

Другой ученик Тарле, Я.М.Закер, проявив совершенно исключительное мужество, отказался выступить против Тарле в печати, не явился на собрание, где осуждали его учителя и подал заявление о выходе из партии. Однако после того как его заклеймили на собрании и в газетах, лишили работы и объявили об исключении (а не выходе) из партии, он, в ожидании ареста, вынужден был написать письмо с признанием ошибок, где "признал", что "Тарле является злейшим противником советской власти, вредителем и участником контрреволюционной монархической организации".[16] Это дало Закеру лишь временную передышку. В 1935 г. его вновь уволили с работы, а в 1938 г. арестовали. Он провел в заключении 15 лет, и лишь в 1956 г. был полностью реабилитирован "за отсутствием состава преступления".[17]

В такой политической обстановке Н.Е.Застенкер летом 1931 г. окончил Институт красной профессуры и вернулся на партийную работу, которую он совмещал с преподаванием, - сначала в Москве, затем в Минске, Магнитогорске и Свердловске.

***

В марте 1931 г., за несколько месяцев до того, как Н.Е.Застенкер окончил Институт красной профессуры, в журнале

---

[11] Г.Зайдель и М.Цвибак. Классовый враг на историческом фронте. Тарле и Платонов и их школы. М.-Л. 1931. С.6.

[12] Там же. С.60.

[13] Там же. С.147.

[14] Там же. С.188.

[15] Там же. С.126.

[16] Там же. С.225.

[17] Подробнее см. В.П.Золотарев. Яков Михайлович Закер. // Новая и новейшая история. 1993. № 4. С.189-197.

"Коммунистический интернационал", главном официальном печатном органе Коминтерна, была опубликована его первая печатная работа - обзор "Кайе дю большевизм", теоретического журнала французской компартии.[18] На следующий год в "Историке-марксисте", ведущем историческом журнале того времени, главным редактором которого был академик Лукин, появилась вторая статья Наума Ефимовича "Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов".[19] Таким образом, молодой историк заявил о себе сразу двумя крупными статьями в центральных журналах - политическом и научном, - причем начал одновременно заниматься проблемами двух стран - Франции и Германии.

Обзор, опубликованный в "Коммунистическом интернационале" и, видимо, связанный с работой Наума Ефимовича в Ленинской школе, представлял собой скорее политическую, чем научную статью. Ее общее содержание, разумеется, соответствовало политическим установкам Коминтерна, руководители которого тогда исходили из ошибочного представления о начавшемся на Западе новом революционном подъеме и призывали "мобилизовать широкие массы для революционных выступлений против классовых врагов: буржуазии и ее фашистских и социал-фашистских (то есть социал-демократических - В.С.) лакеев и помощников".[20]

Для современного читателя первой статьи Наума Ефимовича, пожалуй, самым удивительным будет та безапелляционность, с которой еще никому не известный молодой автор, едва достигший 28 лет, изобличал "теоретическую слабость кадров французской компартии"[21] и давал редакции ее главного теоретического органа даже не советы, а весьма категоричные указания. В заключительном разделе статьи: "Некоторые выводы", - в шести абзацах шесть раз употреблялось слово "необходимо"; и еще три раза говорилось, что "редакция должна". По мнению Н.Е.Застенкера, редакция "Кайе дю большевизм" "допустила грубейшую политическую ошибку, откинув большевистскую формулу борьбы на два фронта".[22] Она "не поставила во весь рост проблемы борьбы с маневрами социал-фашизма",[23] а кое-какие вопросы вообще обошла молчанием. Не менее строго молодой автор оценил и напечатанные в

---

[18] Н.Застенкер. "Cahiers du bolchevisme " - теоретический орган французской компартии за 1930 г. // Коммунистический интернационал. 1931. № 8. С.60-67.

[19] Н.Застенкер. Баварская советская республика и тактика баварских коммунистов. // Историк-марксист. 1932. № 4-5. С.211-252.

[20] Передовая статья "Итоги и ближайшие задачи". // Коммунистический интернационал. 1931. № 8. С.3.

[21] Коммунистический интернационал. 1931. № 8. С.60.

[22] Там же. С.62.

[23] Там же. С.63.

журнале статьи. По его словам, один автор "неверно определяет", другой - "упорно путает" и почти все они совершают ошибки: "грубые политические и теоретические", просто "теоретические" и просто "грубые".[24] Лишь одна статья не содержала никаких ошибок и даже удостоилась сдержанной похвалы Наума Ефимовича за то, что в ней было подчеркнуто "значение организационных вопросов".[25] Ее автором был Морис Торез, незадолго до этого избранный генеральным секретарем ФКП. Конечно, стиль первой статьи Наума Ефимовича объяснялся не только его темпераментом и привычками, усвоенными в Институте красной профессуры; он также отражал сложившуюся в Коминтерне практику директивных указаний и поучений, особенно обострившуюся в ходе ожесточенной борьбы за "большевизацию" зарубежных компартий и их полное подчинение московскому руководству Коминтерна.

Совсем иначе выглядела вторая, очень сдержанная по тону, статья Наума Ефимовича - серьезное научное исследование, основанное на ценнейших, порой уникальных документах, хранившихся в Институте К.Маркса и Ф.Энгельса (впоследствии Институт марксизма-ленинизма). Как указывалось в редакционном примечании, это была часть подготовленной автором книги, которая через два года действительно вышла в свет в партийном издательстве под заглавием "Баварская советская республика".[26]

Перечитывая сейчас эти работы, которым уже исполнилось более 60 лет, можно задать вопрос: чем интересны современному читателю старые исторические исследования? Мне кажется, старые работы интересны прежде всего аккумулированным в них фактическим материалом. Они также важны для понимания времени, в котором работал историк; для понимания его концепций, менталитета, психологии, научного метода.

По богатству фактического материала, собранного в статье и в небольшой (160 стр.) книге Наума Ефимовича эти работы не имели себе равных. На основе тщательного анализа источников их автор подробно изложил короткую, но драматичную историю Баварской советской республики: от победы революции в Германии в ноябре 1918 г. до падения Баварской советской республики в мае 1919 г. Он основательно изучил социально-экономическое и политическое положение Германии и Баварии накануне революции, положение рабочего класса, крестьянства и других слоев населения, классовую и политическую борьбу, деятельность правительства

---

[24] Там же. С.64-65.

[25] Там же. С.61.

[26] Н.Застенкер. Баварская советская республика. Партийное издательство. М. 1934.

Баварской советской республики, ее падение и последовавший затем "белый террор". До сих пор в нашей историографии нет ни одной столь же подробной работы о Баварской советской республике.

Объясняя ход событий в Германии и в Баварии, Наум Ефимович, естественно, исходил из марксистской концепции, ссылался на высказывания Ленина и Сталина и даже провозглашал, - в книге, но не в статье, - что нужно добиваться создания "цельной, партийно заостренной истории Советской Баварии", "борясь против троцкистской, социал-фашистской и прочей контрабанды".[27] Будучи сторонником социалистической революции и диктатуры пролетариата, он осуждал всех "реформистов" и всех противников коммунистов, особенно лидеров социал-демократии и центристов. Тем не менее, в статье о Баварской республике не было почти обязательного тогда для обозначения социал-демократии термина "социал-фашизм", неоднократно встречавшегося в первой статье Наума Ефимовича. Он вновь возник в книге, опубликованной в 1934 году, но употреблялся очень редко, всего 2-3 раза, причем трудно сказать, кто его вставил - сам автор или бдительные редакторы Партиздата. Основное место в статье и в книге Наума Ефимовича занимало выяснение причин неудач Баварской советской республики. Н.Е.Застенкер тогда считал, что в Германии и Баварии произошла пролетарская революция, но она потерпела поражение из-за слабости коммунистической партии, которая, - как он повторял вслед за Лениным и Сталиным, - была ослаблена влиянием реформизма, центризма, люксембургианства, преклонением перед стихийным рабочим движением и многими другими ошибками.[28]

Вытекают ли эти, скорее политические, чем научные, оценки и выводы из собранного автором фактического материала? Ответ не так прост. Несомненно, Наум Ефимович делал выводы на основании изученного им фактического материала, но на его оценки влияли также его идейные и политические убеждения. Можно себе представить, что историк других политических и философских взглядов, например, противник революции и диктатуры пролетариата, дал бы тем же самым фактам совсем другие оценки, осудив и революцию, и коммунистов. Значит ли это, что историческое знание недостоверно, и речь может идти лишь о точках зрения? Я так не думаю. Мне кажется, что основная часть исторического "знания" в точном смысле этого слова состоит из фактических све-

[27] Там же. С.6.
[28] Там же. С.154-156.

дений, которые поддаются проверке и не зависят от мнения или пристрастия историка. Так, применительно к истории Баварской советской республики, невозможно отрицать, что, например, 8 ноября 1918 г. к власти в Баварии пришло правительство Эйснера, что 21 февраля 1919 г. Эйснер был убит, что в результате возникло советское правительство во главе с "независимцами", которое 13 апреля было сменено советским правительством во главе с коммунистами и т.д.

Предметом дискуссий может быть лишь интерпретация этих событий: то, что произошло в Германии и Баварии в 1918-1919 гг., было пролетарской революцией, буржуазной революцией или бунтом? Революция - это благо или несчастье? Революционеры - это герои или преступники? Их деятельность способствовала развитию общества или мешала ему? Очевидно, что ответы на такие и им подобные общие вопросы, - от которых зависит вся концепция историка, - определяются не только и, может быть, даже не столько изучением фактического материала, сколько сложившимися у историка взглядами: его представлениями об окружающем мире, философскими и политическими убеждениями, симпатиями и антипатиями, воспитанием, образованием, характером и многими другими факторами, находящимися за пределами собственно исторического исследования. Сами понятия, с которыми работают историки, особенно наиболее общие из них: закономерность и случайность, прогресс и реакция, революция и реформа и т.п. - плохо поддаются проверке и всегда содержат большой элемент субъективности.

Удачно начавшаяся научная работа Наума Ефимовича вскоре была прервана. В сер.30-х гг. репрессии обрушились уже не на "буржуазных историков", часть которых, в том числе и академик Тарле, вышли на свободу, а на их постоянных оппонентов - историков-марксистов школы Покровского.[29] Сам Покровский умер в 1932 г. и был с почестями похоронен, но его ученики и сторонники вскоре один за другим пали жертвами репрессий. В декабре 1934 г. через несколько дней после убийства С.М.Кирова главный обвинитель Тарле проф.Зайдель, сам обвиненный в связях с партийной оппозицией, вместе с рядом других историков был выслан из Ленинграда.

В январе 1936 г. в печати появилось постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), осуждавшее "ошибочные исторические взгляды, свойственные так называемой "исторической школе По-

[29] Подробнее см. А.Н.Артизов. Судьбы историков школы М.Н.Покровского. // Вопросы истории. 1994. № 7.

кровского".[30] Главные оплоты этой школы - Коммунистическая академия и Институт красной профессуры - были ликвидированы. В 1936-1937 гг. были арестованы и расстреляны профессор Зайдель и его соратник по борьбе против Тарле и Платонова доцент Цвибак, а также множество других историков-марксистов, в том числе заместитель Покровского по Институту истории Н.Н.Ванаг и декан исторического факультета Московского университета Г.С.Фридлянд.[31] В 1938 г. арестовали академика Лукина. Под пытками он "признался", что готовил убийство Кирова, но потом отказался от своих показаний и в 1940 г. умер в тюрьме.[32]

Наум Ефимович также не избежал тяжкой участи: в 1937 г. он и его жена были арестованы. Наум Ефимович редко говорил об этом, но однажды все же рассказал мне, что был арестован "по списку", как сотрудник Свердловского обкома ВКП(б) вслед за арестом первого секретаря обкома И.Д.Кабакова. "В тюрьме была тяжелая атмосфера: велись постоянные антисоветские разговоры, - вспоминал Наум Ефимович. - К счастью, в камере оказалось несколько стойких коммунистов, мы создали партийную ячейку и стали давать отпор антисоветчикам". Я спросил: "Как же вы себе объясняли случившееся?" Наум Ефимович ответил: "Мы думали, что органы госбезопасности захватили враги партии, которые используют их против советской власти".

В тюрьме их не пытали, и Наум Ефимович не признал никаких обвинений. Больше того, вникнув в поспешно сочиненный обвинительный акт, он сумел доказать свое алиби по одному из пунктов обвинения. В результате всемогущая "тройка", выносившая приговоры, отправила его дело на доследование, а тем временем страшный нарком внутренних дел Ежов сам оказался в тюрьме и вскоре был расстрелян. XVIII съезд ВКП(б) в марте 1939 г. осудил массовые "чистки", и пришедший на смену Ежову Берия провел отвлекающий маневр: распорядился освободить часть заключенных. В их числе был освобожден и полностью реабилитирован Н.Е.Застенкер. Арест и тюрьма не сломили его, и вскоре он сумел возобновить свою преподавательскую и научную (но не партийную) работу.

В 1945-1948 гг. Н.Е.Застенкер был докторантом Института истории Академии наук в Москве, снова работал с Волгиным и быстро приобрел известность как один из лучших советских специалистов в области истории социалистических идей и истории

---

[30] "Правда". 27 января 1936.

[31] Артизов А.Н. Ук.соч. С.36-38.

[32] Подробнее см. В.А.Дунаевский. "Дело" академика Н.М.Лукина. // Новая и новейшая история. 1990. № 6.

французской революции 1848 года. В 1944 году (после 10-летнего перерыва) вышла научная статья Наума Ефимовича "Прудон и бонапартистский переворот",[33] которая положила начало его исследованиям по новой тематике. В 1945 г. им была опубликована статья по новейшей истории Германии,[34] но затем центральное место в его исследованиях надолго заняла история Франции. В 1947 г. Н.Е.Застенкер опубликовал статью о французском социалисте Э.Аннотэне,[35] первое в мировой науке исследование на эту тему, а в 1948 г. - статью о деятельности почти не изученной тогда "Новой Горы"[36], одной из главных политических группировок французской революции 1848-1849 годов. Эта статья, а также обзор докладов международного конгресса историков, посвященного революции 1848 года,[37] были первыми работами Н.Е.Застенкера, переведенными во Франции.

В 1948 г. Наум Ефимович выпустил книгу "Революция 1848 г. во Франции"[38] - по форме научно-популярный очерк, предназначенный, в первую очередь, для учителей, а по существу монографическое научное исследование. В этой живо написанной, хорошо иллюстрированной и не очень объемистой книге (201 стр.) Н.Е.Застенкер насытил марксистскую концепцию революции огромным свежим фактическим материалом, выделив такие вопросы, которые раньше не привлекали внимания историков-марксистов: установление республики, всеобщее избирательное право, политические свободы, участие в революционных событиях не только рабочих, но и демократически настроенной мелкой буржуазии и интеллигенции. Как и первая его книга, эта работа пережила своего автора. Она до сих пор остается одним из лучших советских исследований по политической истории французской революции 1848 г. вплоть до государственного переворота Луи-Наполеона.

В качестве признанного знатока истории французской революции 1848 года, Н.Е.Застенкер принял деятельное участие в подготовке монументального коллективного труда "Революции 1848-1849", для которого написал три больших главы.[39] Одновременно с

---

[33] Н.Застенкер. Прудон и бонапартистский переворот 2 декабря 1851 года. // Исторический журнал. 1944. № 10-11.

[34] Н.Застенкер. Веймарские мифы о причинах поражения Германии в войне 1914-1918 годов. // Вопросы истории. 1945. № 2.

[35] Н.Застенкер. "Социальные доктрины" Эмиля Аннотэна. // Вопросы истории. 1947. № 1.

[36] Н.Застенкер. "Гора" 1849 года. // Вопросы истории. 1948. № 5.

[37] Вопросы истории. 1951. № 3. С.119-127.

[38] Н.Застенкер. Революция 1848 г. во Франции. М. Учпедгиз. 1948.

[39] Революции 1848-1849. Под редакцией проф. Ф.В.Потемкина и проф. А.И.Молока. Изд. АН СССР. Т.I-II. М. 1952.

1947 по 1951 г. он по совместительству заведовал сектором новой и новейшей истории в журнале "Вопросы истории", главным редактором которого был академик Волгин.

***

В 1949 г. Наум Ефимович Застенкер начал преподавать на историческом факультете МГУ и работал там до конца своих дней. Я всегда считал и до сих пор считаю, что в послевоенный период истфак МГУ был одним из лучших - если не самым лучшим в СССР - учебным заведением исторического профиля. Его главное достоинство состояло в том, что там всегда сотрудничали крупные ученые, а общение со специалистами высшего уровня ничем нельзя заменить при подготовке к научной работе.

В нескладных аудиториях старого обветшавшего здания на улице Герцена 5, в бывшем особняке Орловых-Мещерских, где с 1934 г. размещался истфак, можно было встретить самых известных советских историков. Там работали многие прекрасные, высококвалифицированные, любящие свое дело преподаватели, которые прививали студентам профессиональные навыки, учили анализировать документы, разбираться в научной литературе, обучали иностранным языкам. А рядом с ними - и это долго казалось мне необъяснимым парадоксом - преподавали серые унылые догматики, ограниченные, бездарные, невежественные люди, часто прикрывавшие свою профессиональную непригодность усиленной общественной активностью. Они вовсе не испытывали комплекса неполноценности, а, напротив, охотно учили других, как надо жить и работать. Почти на всех исторических работах того времени лежал глубокий отпечаток догматизма. Цитаты Маркса, Энгельса, Ленина и, особенно, Сталина были их обязательной составной частью. Эти цитаты или просто слова "товарищ Сталин учит" служили главными научными доказательствами. Они обладали необоримой силой и являлись самым мощным аргументом в научном споре.

В конце 40-х - начале 50-х гг. на истфаке и в других научных учреждениях, как и в 30-е годы, постоянно "прорабатывали" каких-нибудь идейных противников: "безродных космополитов", носивших, по преимуществу, еврейские фамилии; "буржуазных фальсификаторов истории" и даже не имевших вроде бы прямого отношения к истории "вейсманистов-морганистов" - противников академика Лысенко в биологии. Во время каждой такой проработки начинались поиски идейных и политических ошибок в работах ученых; против них направляли гнев общественного мнения, от них требовали "признания ошибок" и покаяния, за которыми нередко следовали "организационные меры" - чаще всего увольнение, а иногда и арест. Количество арестов было гораздо меньше, чем в 30-

е гг., но увольнения с работы и партийные взыскания практиковались очень широко. В наилучшем положении всегда оказывались те, у кого не было научных работ, а, следовательно, не было и ошибок. Именно они часто выступали в роли безупречных критиков, призывавших к ответу настоящих ученых, труды которых, разумеется, далеко не всегда соответствовали содержанию очередной кампании.

Общая атмосфера и способы "проработки" мало отличались от 30-х годов. Так, например, в отчете о заседании Ученого Совета истфака от 25-28 марта 1949 года[40] можно прочесть, что виднейший медиевист - уже академик - Е.А.Косминский "подверг суровой критике" свой собственный учебник; выдающийся специалист профессор А.И.Неусыхин признал, что он "подпал под влияние австрийского буржуазного ученого Допша", а крупный историограф профессор Н.Л.Рубинштейн "сделал попытку признать свои космополитические и антипатриотические ошибки, допущенные им в своих научных работах и читаемых курсах, но сделал это непоследовательно". В космополитизме и антипатриотизме были обвинены и многие другие известные историки, в том числе профессора кафедры новой истории Л.И.Зубок и И.С.Звавич, а также возглавлявший тогда кафедру истории СССР лауреат двух Сталинских премий, а в будущем еще и лауреат Ленинской премии и Герой социалистического труда академик И.И.Минц.[41] В отчете о заседании Ученого Совета истфака МГУ было сказано, что его ошибки и ошибки связанной с ним группы историков имели "наиболее яркий космополитический, а, следовательно, и антипатриотический характер".[42]

Среди студентов истфака первых послевоенных лет было много бывших фронтовиков, которые благодаря своему опыту и возрасту играли очень большую роль на факультете, особенно в его общественных организациях. Многие студенты приехали из других городов и даже деревень. Почти все они жили в огромном студенческом общежитии на улице Стромынке, по 7-8, а на первом курсе и по 15-16 человек в одной комнате. Поступление в МГУ являлось важнейшим событием их короткой биографии, и они с усердием неофитов приобщались к столичной жизни, ходили по известным ранее лишь понаслышке музеям и театрам. Большинство студентов составляли все же не провинциалы, а москвичи, выделявшиеся гораздо более высоким уровнем школьной подготовки и

---

[40] Вопросы истории. 1949. № 2. С.154-157.

[41] Подробнее см. Г.В.Костырченко. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР. // Вопросы истории. 1994. № 8.

[42] Вопросы истории. 1949. № 2. С.154.

общей культуры, да и просто более модно одетые, на что мы, впрочем, тогда обращали мало внимания. Среди них были дети высокопоставленных родителей, в том числе членов Политбюро и ЦК КПСС, министров, руководителей Верховного Совета СССР, но они вели себя скромно и вовсе не задавали тон на факультете. Учились на истфаке и иностранцы: дети испанских республиканцев и студенты из стран народной демократии - обычно коммунисты, участвовавшие в партизанской борьбе. Часто это были незаурядные интересные люди.

Московский Университет представлялся студентам величественным храмом науки. Известный литературный критик Марк Щеглов, как и я, поступивший в МГУ в 1948 г., писал в своем студенческом дневнике, что он хочет глотнуть "чистого воздуха юности, здоровья, задора, труда, лирики, умничанья - чистого воздуха тех будней, которые захватывают, зовут меня каждый раз, когда я попадаю в университет".[43] Сходным было и мое ощущение. Оказавшись студентом истфака, я сразу почувствовал атмосферу непривычной для меня ранее напряженной умственной жизни и общественной деятельности; обстановку товарищества, дружбы, симпатии. Окружавшие меня студенты казались очень способными людьми; многие хотели учиться, некоторые серьезно увлекались наукой.

Совсем недавно победой закончилась страшная война, которая надолго осталась в нашей памяти; отменили продовольственные карточки, жить стало легче. Мы были полны надеждами, светлое будущее казалось совсем близким. Успехи коммунистов в Италии и Франции, победа революции 1949 г. в Китае, войны за освобождение стран Азии от колонизаторов, даже война в Корее против "американских империалистов" вызывали у нас искреннее сочувствие. Студенты вывешивали в своих комнатах на Стромынке портреты не только Ленина и Сталина, но и Мао-Цзедуна и Тореза. Когда в 1952 г. в Москву приехала французская коммунистка Раймонда Дьен, которая легла на рельсы, чтобы остановить состав с оружием, предназначенным для "грязной войны" французских колонизаторов во Вьетнаме, она выступала в клубе МГУ, и я хорошо помню, с каким восторгом и энтузиазмом встречали ее студенты. Не менее бурный восторг вызвало и выступление молодежного ансамбля Китайской народной республики. На сцене клуба молодые парни и девушки в синих кителях по моде председателя Мао размахивали красными флагами, пели и плясали, а зал, до от-

[43] М.Щеглов. Студенческие тетради. М. 1973. С.26.

каза набитый студентами, кричал и аплодировал, долго не хотел отпускать артистов.

Студенты истфака моего поколения жили бедно, но весело: учились и сдавали экзамены, убегали с лекций в кино, устраивали туристские походы, танцы и вечеринки, после которых нередко до утра бродили по Москве. Даже на комсомольских конференциях в перерывах часто пели песни, звучал аккордеон (на котором охотно играл будущий международный обозреватель "Правды" Иван Щедров), кто-нибудь отплясывал русского. Помню, как-то возвращаясь вечером веселой толпой после очередного комсомольского собрания, мы - к изумлению молча наблюдавших за нами милиционеров - устроили огромный хоровод на площади перед Ленинской библиотекой и дружно плясали коллективный славянский танец "коло". А наряду с этим в нашей студенческой и комсомольской жизни было немало такого, о чем сейчас я вспоминаю с чувством стыда. В мою память врезался довольно обычный по тем временам эпизод. Студент нашего курса влюбился, но девушка предпочла ему другого, и тогда неудачник написал стихи, где говорилось, что жизнь утратила всякий смысл и ничто на свете больше ему не мило. Эти стихи он прочел нескольким друзьям, и кто-то сообщил о них в партбюро. Немедленно было организовано обсуждение персонального дела автора. На комсомольском собрании его обвинили в очернении нашей действительности и в проповеди пессимизма, несовместимой с пребыванием в комсомоле. Бедный поэт всячески оправдывался, признавал ошибки и обещал написать новые, оптимистические стихи, воспевающие нашу действительность. Я не помню, чем кончилось дело, - кажется, относительно благополучно, во всяком случае, без исключения из комсомола, - но помню, что никто не потребовал прекратить разбирательство и никто не осудил доносчиков.

Хотя проводимые в стране идеологические кампании прямо не касались большинства из нас и проходили как бы над нашими головами, их воздействие было очень значительным. На занятиях по основам марксизма-ленинизма часто изобличали "безродных космополитов", защитников "безыдейного искусства" и других врагов отечества; учили искать "ошибки" и "фальсификации" в трудах историков. Мы все в обязательном порядке занимались в "кружках по изучению биографии товарища Сталина" и зубрили приписываемый Сталину "Краткий курс" истории ВКП(б), который спрашивали на экзаменах почти по всем предметам, за исключением разве что иностранных языков. Помню, как на лекциях по истории КПСС (видимо, в 1949 году, когда с огромной пышностью праздновалось 70-летие Сталина), лектор, обладавший несомненными

актерскими способностями, дойдя до изложения какого-либо трудного для советской власти эпизода, громовым голосом с пафосом восклицал: "И всюду, где было трудно, партия призывала товарища Сталина!!!" Мы вставали и аплодировали. Затем лекция продолжалась, лектор снова вспоминал о какой-нибудь трудности и опять громогласно повторял свою коронную фразу о товарище Сталине. Мы снова вставали и аплодировали. Не скрою, мне казалось это чрезмерным, но все же, по сути дела, вполне естественным.

Сейчас нередко приходится слышать, что многие в то время понимали подлинную сущность сталинского режима и осуждали его. Возможно, это и так, но мои воспоминания студенческого времени 1948-1953 гг. этого не подтверждают. Я сам слышал, как на самых неофициальных дружеских студенческих пирушках первый тост поднимали "За товарища Сталина". Для меня и для тех, с кем я общался на истфаке, Сталин был непререкаемым авторитетом. Мы не просто считали, мы твердо "знали", что наша страна, возглавляемая гениальным вождем народов, является авангардом человечества, вызывающим восхищение и зависть всего мира. Наше психологическое состояние было довольно странным: с одной стороны, все прекрасно знали, что можно попасть в тюрьму и за анекдот, проявляли большую осторожность в разговорах, а с другой - часто повторяли: "Зря не посадят". Время от времени мы замечали, что некоторые преподаватели больше не появляются; ходили слухи, что кого-то из них "посадили", но об этом редко говорили. Все оставалось на периферии сознания, воспринималось как нечто нормальное. Даже в 1953 г., придя однажды на кафедру новой и новейшей истории, где я учился, и узнав, что работавшего там академика И.И.Майского "взяли", я не очень удивился и не усомнился в его вине, а только подумал: что же будет с его дипломниками, которые остались без руководителя накануне защиты? Это было похоже на психологию элоев "Машины времени" Уэллса: они знали, что ночью из подземелий выходят страшные морлоки, похищают и пожирают элоев, но говорить и даже думать об этом считалось верхом неприличия.

Придя на истфак МГУ, Наум Ефимович, наряду с общими лекционными курсами по новой истории, стал читать студентам специальный курс по истории социалистических учений, а затем организовал спецсеминар на совершенно новую для того времени тему "Движение Сопротивления во Франции". В 1951 году, студентом IV курса я записался в этот семинар, и началась наша совместная работа, продолжавшаяся более четверти века.

Записываясь в семинар Наума Ефимовича, я ничего о нем не знал, не читал его работ и не имел никакого представления о его

прошлой деятельности. От старшекурсников до меня доходили лишь смутные слухи о "трех принципах доцента Застенкера", которые он будто бы провозглашал перед началом экзаменов: "Не начинай от Адама", "Бери быка за рога", "Если не знаешь, то молчи". Нам он казался пожилым человеком, хотя в 1951 году ему было всего 48 лет. Его благородный облик вызывал невольное уважение и симпатию: крупные выразительные черты лица, гордо посаженная голова, совершенно белые, зачесанные назад волосы, внимательный, несколько иронический взгляд, уверенные манеры. В нем ощущался какой-то магнетизм; что-то вызывающее интерес и привлекающее внимание. Он выглядел элегантно и даже аристократично, хотя ни его происхождение, ни его прошлая работа, казалось бы, к этому не располагали.

Впоследствии я не раз спрашивал себя и других, как складывается представление о преподавателе, какие его качества больше всего привлекают студентов? Ответы были разные: ум, эрудиция, красноречие, доброжелательность, контактность, - но чаще всего говорили, что преподаватель должен быть личностью. Конечно, вряд ли можно научно определить, что значит "быть личностью", не менее трудно сказать, что такое ум, но интуитивно это понятно сразу. Так вот, мы сразу увидели, что Наум Ефимович - это яркая, незаурядная, необычная личность. Чувствовалось, что он очень умен, обладает широким кругозором, чрезвычайно много знает и отлично понимает студентов. У меня, приехавшего в Москву из провинциального города, где никто из знакомых не знал иностранных языков, вызывал почтительное удивление тот факт, что Наум Ефимович говорил на двух иностранных языках: немецком и французском, читал по-английски, а потом еще самостоятельно научился читать по-итальянски. Когда мы стали слушать его спецкурс по истории социалистической мысли, на котором воспитывалось несколько поколений студентов истфака, я сначала был даже как-то подавлен его ученостью, глубиной мысли, знанием не только русской и французской, но еще и немецкой, английской, американской научной литературы.

Учителем Наум Ефимович оказался строгим, но внимательным и доброжелательным. В отличие от преподавателей, склонных к "общему руководству", он обычно сам просматривал рекомендованную студентам литературу и документы, а иногда еще и добывал их для нас. По нескольку раз он перечитывал наши неуклюжие сочинения, писал на полях множество замечаний, затем подробно обсуждал их с автором, заставляя снова и снова дорабатывать дипломную работу или диссертацию. Иногда, придя в отчаяние от непонятливости или неспособности ученика, сам хватал карандаш

и начинал редактировать текст. Я не уверен, что такой способ научного руководства является оптимальным: он требует от руководителя огромной затраты сил и, в какой-то мере, ограничивает самостоятельность ученика. Зато он очень подходит для начинающих или еще не вполне привыкших к самостоятельной работе студентов и аспирантов, какими мы тогда были.

Оглядываясь назад, я понимаю, что Наум Ефимович учил нас двум главным вещам: во-первых, уважению к фактам, во-вторых, творческому их осмыслению. Я и сейчас думаю, что это самое важное в работе историка. Наум Ефимович учил отличать факты от голословных утверждений; сведения, добытые из первоисточников, от взятых из вторых рук. Он требовал всемерно расширять документальную базу исследования, искать подлинные документы, сличать тексты, проверять их достоверность, точно излагать и цитировать. Иногда он даже проверял цитаты в наших сочинениях: долгий педагогический опыт научил его, что студенты и аспиранты нередко неправильно передают содержание документов, - чаще всего из желания "подогнать" документ под готовые выводы, но порой также из-за небрежности или плохого знания иностранного языка.

Подчеркивая первостепенное значение факта для любого исторического исследования, Наум Ефимович одновременно стремился привить нам навыки самостоятельного мышления, которых мы были в значительной степени лишены. Даже зная факты, мы, по существу, не могли их сопоставить и оценить. Например, готовя на V курсе дипломную работу по истории второй мировой войны, я, конечно, знал, что в 1946 г. Сталин назвал эту войну справедливой и освободительной "с самого начала". Я также знал, что в 1939-1940 гг. руководство СССР, возглавляемое Сталиным, считало вторую мировую войну несправедливой, империалистической. Я не мог не видеть, что эти оценки противоположны, но как бы не замечал противоречия. Задумался я лишь после того, как Наум Ефимович обратил мое внимание на это противоречие, спросил, какую оценку я считаю правильной, и на основании каких критериев можно об этом судить. Он вообще часто прибегал к методу Сократа: не высказывая прямо своего мнения, задавал вопросы, выявляющие противоречия в наших суждениях, и заставлял думать над ними. Наум Ефимович любил, когда ему возражали, старался вызвать студентов и аспирантов на спор, но в споре уступал редко. Он уважал молодежь и всегда был открыт для нового. В нем совершенно не чувствовалось того консерватизма, который часто поражает преподавателей, особенно когда они достигают почтен-

ного возраста, привыкают все время кого-то учить и видеть в себе носителей истины.

Его научная добросовестность была безукоризненной и, пожалуй, даже чрезмерной. Когда стала приближаться к концу его большая работа о Прудоне, Наум Ефимович решил, что не имеет права ее публиковать, потому что ему недоступны хранящиеся во Франции дневники Прудона - важный источник для понимания прудоновской мысли. В 1964 г., вернувшись из командировки во Францию, я привез Науму Ефимовичу микрофильм машинописной копии этих дневников, но он счел ее недостаточной, занялся поисками и, в конце концов, добыл фотокопии рукописи Прудона.

Обладая острым критическим умом, Наум Ефимович не терпел догматизма, всегда стремился к творческому применению марксизма-ленинизма, к новаторской постановке вопросов, к свежему прочтению фактов. Часто это доставляло ему большие неприятности. Когда вышла в свет его книга о французской революции 1848 г., неутомимые хранители идеологической чистоты нашли в ней новые, а потому и подозрительные мысли. В 1951 г., в самый разгар "борьбы с космополитизмом", в печати появились отрицательные рецензии, авторы которых усмотрели в книге Науме Ефимовича "немарксистское положение" о том, что в середине XIX века революционное движение масс представляло для буржуазии больше опасности, чем в последней трети века. По их мнению, Наум Ефимович "не проявил достаточной решительности и последовательности в критике тех домарксовских социалистических течений, которые преобладали во французском рабочем движении в 1848 году", "не разоблачил до конца Луи Блана", не упомянул одну из статей Ленина, "переоценил" роль буржуазных демократов в революции, склонялся к "переоценке буржуазной демократии", "раздувал" ее положительную роль и, вообще, создал "нагромождение грубых научных, идейно-теоретических ошибок".[44] Наум Ефимович сумел отбиться от этих, страшных по тому времени, обвинений, но его положение долго оставалось сложным. Сталинисты, догматики, просто бездарности, водившиеся на факультете и на кафедре, видели в нем и подобных ему своих противников и при каждом удобном случае старались свести с ними счеты. Нисколько не напоминая безобидную овечку, он отвечал ударом на удар, а иногда и сам переходил в наступление, используя отлично освоенный им арсенал приемов и методов партийно-политической борьбы того времени.

Обстановка стала меняться лишь после смерти Сталина, когда кафедру новой и новейшей истории возглавил проф.И.С.Галкин,

---

[44] Вопросы истории. 1951. № 2. С.127-130.

а особенно после XX съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина. Наум Ефимович был горячим сторонником XX съезда и видел в его решениях путь к демократизации советского общества, к политической и интеллектуальной свободе, к созданию благоприятных условий для развития науки и культуры. В это время он одним из первых поставил вопрос о необходимости командировок в зарубежные страны, историю которых изучали сотрудники кафедры. Насколько это тогда было ново, можно судить по тому, что я - уже аспирант - слушая Наума Ефимовича, думал: "Такой умный человек, а говорит ерунду: ясно же, что никто не пустит нас за границу". К счастью, не все думали, как я. И.С.Галкин со свойственной ему огромной энергией и знанием дела, взялся за организацию зарубежных командировок. Он дошел до руководителей государства, но добился своего: с начала 60-х годов наши преподаватели все чаще и чаще стали ездить в зарубежные страны, работать там в библиотеках и архивах. Наум Ефимович также побывал в любимой им Франции, в Италии и в других странах, читал там лекции, участвовал в научных конференциях. Именно тогда он опубликовал большинство своих работ, часть которых была издана во Франции, Италии, Румынии, Венгрии и даже в Китае.

Основное направление его научных изысканий составляла в это время история социалистической мысли. Он продолжил изучение Прудона и прудонизма, написал несколько статей о главных социалистах-утопистах: Сен-Симоне, Оуэне, Томасе Море. С его комментариями и предисловиями было издано несколько томов переписки А.И.Герцена. Очень большое внимание Наум Ефимович уделил созданию учебников, по которым затем в течение многих лет учились почти все студенты-историки. Он был членом редакционных коллегий и автором многих глав в учебнике по новой истории для университетов и педагогических институтов (1960; 2-е изд. - 1973), в пособии по новой истории для учителей (1960), в учебнике для педагогических институтов (1963, 2-е изд. - 1972), в учебном пособии для студентов исторических факультетов и педагогических институтов (1972). Н.Е.Застенкер входил в редколлегию и был одним из авторов первого советского учебного пособия (1967) и учебника (1977) по историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки, подобного которому до сих пор не существует ни в одной стране мира. Перу Наума Ефимовича принадлежат главы в таких крупных обобщающих работах советских историков, как "Всемирная история" (т.VII; М.,1960), "Городские средние слои современного капиталистического общества" (М.,1963), "История Франции" (т.2; М.,1973), статьи в Большой

советской энциклопедии, в Философской и в Советской исторической энциклопедии.

В своих новых работах Н.Е.Застенкер анализировал развитие социалистической мысли как часть европейской истории, стремился по-новому показать сложную связь экономики, политики, идеологии и психологии, высказывал глубокие и верные соображения о соотношении научных достижений прошлых лет с потребностями современной науки.[45] Эти исследования завоевали ему большой авторитет в СССР и за его пределами. И все же его научные труды и преподавательская деятельность не получили должной оценки в виде степеней и званий, а посмертный сборник удалось опубликовать только в 1985 году[46], через 8 лет после его кончины, в результате больших усилий и шестилетнего хождения по издательствам.[47]

***

Наум Ефимович был очень смелым человеком, всегда готовым вступить в борьбу за правое дело. В памяти его близких сохранился эпизод, который говорит о его характере и темпераменте. В первомайские праздники 1962 г. возвращаясь вечером с женой домой, он увидел, что какие-то хулиганы бьют лежащего на земле человека. Наум Ефимович, которому тогда уже исполнилось 59 лет, немедленно бросился на помощь. Хулиганы убежали вместе с пострадавшим, но один из них успел ударить Наума Ефимовича кастетом, сломал ему челюсть и разбил голову. Он попал в больницу, долго лежал там, но нисколько не сожалел о своем, казалось бы, опрометчивом поступке, хотя впоследствии выяснилось, что жертвой был один из членов шайки, сводивших счеты друг с другом, а хулиган, ранивший Наума Ефимовича, имел справку о психической невменяемости, избавившую его от уголовной ответственности.

Столь же мужественно Наум Ефимович вел себя и в общественной жизни. Уже после XX съезда КПСС ему пришлось вести тяжелые бои в связи с так называемой "дискуссией о средних слоях". Я расскажу о ней подробнее, потому что она очень наглядно показывает, как в послесталинское время действовал механизм подавления личности и торможения научной мысли.

---

[45] Подробнее см. Г.С.Кучеренко. Указ.соч. // Н.Е.Застенкер. Очерки истории социалистической мысли. М. 1985.

[46] Н.Е.Застенкер. Очерки истории социалистической мысли. Изд-во "Мысль". М. 1985. Основную работу по подготовке рукописи к публикации проделали Г.С.Кучеренко и Е.М.Кожокин.

[47] Большую помощь в преодолении издательских рогаток оказали В.В.Загладин и А.С.Черняев, работавшие тогда в ЦК КПСС.

Чтобы понять смысл и значение дискуссии о средних слоях, надо начать издалека. Осенью 1956 г. в Венгрии в обстановке острого политического кризиса, вызванного разоблачениями Сталина и руководства Венгерской партии трудящихся во главе с М.Ракоши, началось бурное массовое движение, фактически, антиправительственное восстание. Оно было подавлено советскими войсками, и советская печать заявила, что это был контрреволюционный мятеж, организованный ревизионистами. Началась кампания против ревизионистов, особенно против "югославских ревизионистов", не одобрявши действия советских войск в Венгрии. Внутриполитическая обстановка тоже изменилась. Хрущевская "оттепель" сменилась "заморозками". Сталинисты вновь подняли голову. Немаловажным признаком этих изменений стала смена в 1957 г. редколлегии журнала "Вопросы истории" во главе с А.М.Панкратовой и Э.Н.Бурджаловым, которая начала пересмотр сталинской концепции истории.

Осенью 1957 г. арестовали группу молодых преподавателей, аспирантов и студентов истфака МГУ - так называемую "группу Краснопевцева". Лишь через 37 лет, в 1994 г., о ней впервые были опубликованы некоторые материалы,[48] но тогда мы не имели информации о предъявленных обвинениях. Ходили лишь слухи, что члены группы тайно писали какие-то "ревизионистские работы" по истории советского общества, сочинили и распространили какую-то листовку. По нынешним временам такие действия не составляют преступления, и теперь члены группы Краснопевцева реабилитированы. Но тогда их присудили к тюремному заключению, доходившему (для организаторов) до 10 лет. Жизнь этих молодых, способных людей была исковеркана. Лишь часть из них после отбытия наказания вернулась к научной работе.

Вполне понятно, что арест группы преподавателей, аспирантов и студентов потряс исторический факультет. Как обычно в таких случаях, стали искать "сообщников" или просто людей, знавших о взглядах арестованных, но не сообщивших "куда следует"; составлять списки подозрительных. Оживились многочисленные и влиятельные сталинисты, справедливо усмотревшие в этих событиях еще один шаг к возвращению сталинских порядков. Они начала травить тех, кто когда-либо высказал необычную мысль или сказал свежее слово. Кафедре новой и новейшей истории, где ранее работал и защитил диссертацию один из арестованных, молодой талантливый ученый и преподаватель Н.Г.Обушенков, пришлось

---

[48] "Дело" молодых историков. // Вопросы истории. 1994. № 4. С.106-135. См. также Оттепель, которой не было. // Московские новости. 28 мая - 4 июня 1995. С.21.

плохо. Партбюро факультета назначило специальную комиссию, которая стала перечитывать студенческие работы в поисках крамолы. Вскоре она объявила, что в нескольких, защищенных на этой кафедре дипломных работах, обнаружены серьезные идейно-политические ошибки. Студент, подготовивший под руководством Н.Е.Застенкера дипломную работу об участии городских средних слоев в движении Сопротивления, написал, что средние слои включают в себя мелких предпринимателей, ремесленников, мелких торговцев. Я совершенно уверен, что современный читатель не поймет, почему констатация очевидного факта студентом, вызвала такую реакцию комиссии. Для этого надо знать, что последняя исходила из сталинского определения средних слоев, данного им в 20-е гг., а оно не полностью совпадало с тем, что было сказано в дипломной работе. Отыскав несоответствие со сталинскими формулировками, комиссия сделала вывод, что содержание дипломной работы несовместимо с марксистско-ленинским пониманием вопроса, и ответственность за это должен нести научный руководитель.

Наум Ефимович не согласился с рассуждениями комиссии. Тогда было принято, казалось бы, разумное решение: устроить научную дискуссию по вопросу о средних слоях. Н.Е.Застенкер выступал одним из докладчиков. Другим был доцент кафедры истории КПСС П.Н.Патрикеев, известный, главным образом, своими выступлениями против журнала "Вопросы истории", руководимого А.М.Панкратовой и Э.Н.Бурджаловым. На дискуссии Наум Ефимович говорил, что "средние слои" - это собирательное понятие, содержание которого меняется на разных исторических этапах, но, в общем, охватывает группы населения, занимающие промежуточное положение между рабочим классом и крупной буржуазией. Ссылаясь на работы зарубежных марксистов, он доказывал, что в современных капиталистических странах к средним слоям можно отнести различные группы мелкой буржуазии города и деревни, в том числе мелких предпринимателей, торговцев, чиновников, интеллигенцию, крестьян, в том числе богатых, или, говоря по-русски, кулаков. Страшное, по тем временам, слово "кулак" вызвало бурю. П.Н. Патрикеев ответил, что суть ленинского понимания средних слоев "прекрасно выразил выдающийся марксист-ленинец И.В.Сталин", который не включал в состав средних слоев ни мелких предпринимателей, ни торговцев, ни, тем более, кулаков.

Этот, казалось бы, талмудистский спор (кого "включать" или "не включать" в средние слои) имел политическую подоплеку. Поскольку средние слои теоретически рассматривались как союзники пролетариата, противники Наума Ефимовича утверждали, что "включая в средние слои и, стало быть, в союзники пролетариата

кулака в деревне, капиталистов в городе", он оправдывает кулачество и буржуазию. Свое выступление Патрикеев завершил совершенно в сталинском духе грозной, хотя и не слишком грамотной формулировкой: "взгляды Н.Е.Застенкера на мелкую буржуазию и средние слои в научном и политическом отношениях несостоятельны, вносят разнобой в преподавание марксистско-ленинского понимания этих категорий, тормозят правильное усвоение тактики КПСС и братских коммунистических и рабочих партий".

Часть преподавателей кафедры новой и новейшей истории поддержала Наума Ефимовича, но они оказались в меньшинстве. Их противники - по преимуществу преподаватели кафедры истории КПСС во главе с ее заведующим Н.В.Савинченко - энергично клеймили "ошибочные выступления" своих оппонентов и сближали их с выступлениями венгерских и югославских "ревизионистов". Не зная иностранных языков и не читая зарубежной литературы (о чем с гордостью сообщил Патрикеев), они тем не менее (согласно официальному отчету) уверенно "освещали" историю Сопротивления, "ряд вопросов тактики" Французской коммунистической партии, "борьбу рабочего класса Франции за единство на современном этапе" и другие аналогичные вопросы.[49]

После окончания дискуссии партийное бюро исторического факультета приняло специальную резолюцию, в которой повторило заключительный вывод доклада Патрикеева, обвинило Застенкера и его единомышленников в политических и идеологических ошибках, в "сползании с позиций партийности" и "ревизии учения о классовой борьбе". В порядке партийной дисциплины оно обязало Наума Ефимовича и его сторонников впредь трактовать вопрос о средних слоях так, как считает нужным партбюро. Это решение было утверждено партийным собранием факультета, а затем парткомом и XVII-й партийной конференцией МГУ.[50]

Доброжелатели, занявшиеся пристальным изучением биографии Н.Е.Застенкера, обнаружили, что, еще учась в Институте красной профессуры, он как-то высказал сомнение в правильности политики ликвидации кулачества, и поспешили сообщить об этом в партбюро. Получилось очень логично: защитник кулаков в 30-е гг. продолжает и сейчас оправдывать кулачество. Сторонников

---

[49] Отчет о дискуссии опубликован в "Вестнике Московского Университета". Историко-филологическая серия. 1958. № 4. С.216-224. Его автор А.Шпынов полностью поддерживал точку зрения П.Н.Патрикеева и выражал большое удовлетворение тем, что участники дискуссии "вырабатывают политическую бдительность", "учатся отражать наскоки буржуазных идеологов на марксизм-ленинизм", "бороться с ревизией методологии исторической науки" (с.224).

[50] См. Московский Университет. 3.III. и 29.XI.1958.

Наума Ефимовича публично называли ревизионистами, требовали "оградить" от них студентов, добивались признания ошибок. Применялись и методы силового давления: одного провалили на конкурсе, другого при утверждении диссертации, третьему написали плохую характеристику, четвертого просто выжили с факультета.

Наум Ефимович и его единомышленники апеллировали в вышестоящие партийные инстанции, обращались даже к Н.С. Хрущеву. Насколько я слышал, им сочувствовали некоторые работники ЦК КПСС, в том числе бывший сотрудник кафедры новой истории, а впоследствии помощник Президента СССР А.С.Черняев. Отдел науки ЦК КПСС, который тогда возглавлял Д.М.Кукин, не поддержал противников Н.Е.Застенкера, разъяснил им, что вопрос о средних слоях дискуссионный, отверг обвинения в ревизионизме. Однако - и это очень характерно для партийно-политической жизни того времени - все постановления партийных инстанций исторического факультета и университета остались в силе.

Наум Ефимович продолжал борьбу и всерьез занялся научным исследованием проблемы средних слоев. Я его не понимал. Мне казалось в высшей степени неразумным тратить время и силы на схоластический спор, подлинная суть которого состояла не в научных, а в политических разногласиях. Я видел, что партийные инстанции, в которые обращался Наум Ефимович, не принимают достаточных мер в его защиту, связывал это с концом "оттепели" и считал, что поэтому у него нет никаких шансов на победу. Наум Ефимович со мной не соглашался и говорил, что надо бороться до конца. К моему большому удивлению, он оказался прав. В 1961 г. состоялся XXII съезд КПСС, который вновь подверг критике Сталина. Секретарь ЦК КПСС Б.Н.Пономарев, выступая в декабре 1962 г. на Всесоюзном совещании историков, осудил "пагубное воздействие культа личности" на историю и на проведение научных дискуссий. Примером недостатков принципиального характера, "которые каким-то образом связаны с привычками культа личности", - сказал Б.Н.Пономарев, - "может служить нашумевшая в 1958 году "дискуссия" в Московском Университете "о средних слоях".[51] После такого вмешательства высшей силы партбюро истфака и парткому МГУ пришлось отступить. Весной 1963 г. они отменили свои прежние решения по поводу дискуссии о средних слоях. Вопрос об ответственности тех, кто превратил дискуссию в способ торможения научной мысли, конечно, не ставился.

---

[51] Б.Пономарев. Историческую науку и образование на уровень задач коммунистического строительства. // Коммунист. 1963. № 1. С.28.

Наум Ефимович победил, но победа, достигнутая скорее политическим, чем научным путем, не удовлетворила его. Он продолжал научную работу по проблемам средних слоев и отошел от нее лишь после того, как результаты его исследований были опубликованы в печати и признаны научной общественностью.

***

С тех пор прошло много лет. Давно нет с нами моего учителя - Наума Ефимовича Застенкера. Он умер в 1977 году, оставив благодарную память в сердцах многих знавших его людей. И, вспоминая сейчас его образ в ряду других дорогих для меня лиц, я вслед за поэтом повторяю:

Не говори с тоской - их нет,
Но с благодарностию - были.



А.И.Патрушев

ВЕРНЕР КОНЦЕ И ПУТИ НЕМЕЦКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Если согласиться с мыслью о том, что историю делают люди, то в неменьшей степени относится это и к самой исторической науке, которая существует только в трудах ученых. Нет исторической науки помимо исследователя. Источники мертвы, пока к ним не обратится пытливый человеческий разум. Мертвы папки архивных документов, пока их не раскроет человеческая рука. Мертвы сокрытые в земле материальные остатки прошлого, пока не тронет их лопата археолога. Поэтому, история исторической науки - это история творческой деятельности отдельных ученых. В их работах раскрываются пути и тенденции развития историографии, ее национальная специфика и общемировые достижения, в их трудах проявляется борьба различных мнений, старого и нового, дерзания и ретроградства.

Именно поэтому, говоря о развитии немецкой социальной истории XX века, невозможно пройти мимо имени, возможно, самого яркого и крупного ее представителя Вернера Конце (1910-1986), заложившего основы многих современных концепций германской историографии.

Жизнь и творчество

Семьдесят шесть лет жизни выдающегося немецкого ученого Вернера Конце пришлись на напряженный и исполненный драматизма отрезок истории его родины. Первая мировая война, гибель кайзеровской империи, унизительная Версальская система, революционные потрясения и трагикомические путчи левых и правых, расцвет Веймарской демократии и ее деградация, разинутые орущие пасти и факельные шествия штурмовиков, хриплый голос Гитлера, наконец-то дорвавшегося до власти, создание Великой Германии, пожарище новой мировой войны, опутавшей всю Европу колючей проволокой концлагерей, стертый с лица земли центр Дрездена и развалины Берлина, нищета и разруха, раскол единой страны на два враждебных государства, возрождение демократии к западу от Эльбы, самодовольное боннское государство 50-х - 60-х гг., берлинская стена как символ "железного занавеса" - сколь много событий пришлось на жизнь этого человека, заповедью которого стали постоянные поиски истины и обновления науки.

По своему происхождению Вернер Конце принадлежал к весьма специфической социальной группе образованного протестантского бюргерства Северной Германии. В его роду был целый

ряд бургомистров, городских советников, чиновников, священников, юристов, учителей, офицеров, т.е. это был слой сословно привилегированных людей. Его дед, Александр Конце, был профессором археологии и много потрудился над реконструкцией знаменитого Пергамского алтаря в Берлине.

Отец Вернера Конце был юристом и закончил карьеру советником Имперского суда в Лейпциге, где Вернер закончил в 1929 г. гимназию. Некоторое время он изучает в Марбургском университете историю искусства, а затем направляется в Кёнигсберг, где обучается у профессоров Ипсена и Ротфельса. Если Ротфельс познакомил его с национальными проблемами Восточной Европы, то социолог и демограф Ипсен - с трактовкой народа как общества, раскладываемого на составные части, и новой отраслью знания - "народной историей". В Кёнигсберге Конце ведет аграрно-социологические исследования и в 1940 г. защищает докторскую диссертацию о введении в Литве устава о земельном наделе в гуфах. Мы не найдем там ни малейшего следа националистических или расовых теорий национал-социализма. Это строго научное академическое исследование безо всякого стремления придать ему политическую актуальность или полемическую заостренность.

Будучи мобилизованным в вермахт, Конце до самой капитуляции сражался на Восточном фронте, был в 1944 г. тяжело ранен, попал в русский плен, откуда ему удалось вырваться и уехать в западные оккупационные зоны, где он отыскал свою бежавшую с Востока семью. За этим следует шесть лет работы в Гёттингене, где Конце даже не имел постоянной должности, а значит, и стабильного источника средств к существованию. Наконец, он получает место профессора в Гейдельбергском университете, с которым отныне и до конца будет связана его жизнь, научная и преподавательская деятельность.

Горькие уроки войны, пережитые Конце на собственном опыте, привели его к решительному отрицанию насилия как способа решения проблем и конфликтов. Так, в 1956 г. на съезде Христианско-демократического союза в Штутгарте, где были одобрены вступление ФРГ в НАТО и введение в стране всеобщей воинской повинности, он призывал к отказу от популярной тогда идеи крестового похода против коммунизма и высказался за возможность и необходимость мирного сосуществования различных общественно-политических систем. Такой же реализм Конце продемонстрировал и в 1957 г., подписав вместе с другими гейдельбергскими профессорами обращение к канцлеру Аденауэру, где была выражена поддержка требованию ведущих западногерманских специалис-

тов в области ядерной физики отказаться от попыток вооружения бундесвера ракетно-ядерным оружием.[1]

Поразительны неутомимая организаторская деятельность и разносторонность научных интересов Вернера Конце. В сущности, в 50-е - 70-е гг. в ФРГ не было ни одного крупного научного проекта в области истории, в котором он так или иначе не принимал бы участие.

При его активном содействии в 1951 г. в Бонне была создана Комиссия по истории парламентаризма и политических партий, которая должна была помочь выяснить корни и причины появления национал-социалистической системы и научно обосновать новую демократическую конституцию. Подобными проблемами занимался и Мюнхенский институт современной истории, в организации которого Конце принимал самое непосредственное участие. Он также активно и плодотворно сотрудничал с Академиями наук Гейдельберга и Дюссельдорфа, с Баварской академией, с Институтом истории Макса Планка в Гёттингене, с Балтийской исторической комиссией, с Ассоциацией внеуниверситетских исторических учреждений. В 1969-1970 гг. Конце в обстановке острого кризиса и студенческих волнений как ректор руководил Гейдельбергским университетом и принятием нового более демократического университетского устава, а в 1973-1976 гг. возглавлял Союз историков Германии.

Но, пожалуй, центральное место в его неустанной деятельности занимает организация в 1957 г. Института социально-экономической истории в Гейдельберге и создание на следующий год в рамках этого Института исследовательской группы по современной социальной истории, результаты работы которой отражены в выпускаемой с 1962 г. многотомной серии "Индустриальный мир", которая охватывает проблемы национальной немецкой истории XIX века, возникновение и развитие рабочего и социал-демократического движения, социально-экономических аспектов, истории промышленных предприятий. Из семинаров Конце вышел целый ряд учеников, среди которых были и историки, занявшие видное место в германской историографии - Райнхарт Козеллек, Вольфганг Шидер, Дитер Гро, Фолькер Хентшель, Фолькер Селлин, Фролинде Бальзер, Ульрих Энгельхардт.

Столь же широким был диапазон собственных исследовательских работ и инициатив Вернера Конце. От демографии и истории семьи к аграрным проблемам, от анализа различных профессиональных и социальных групп к истории политических партий и

[1] Gesamtdeutsche Rundschau, 3.01.1958.

конституционного устройства, от вопросов национальной истории и межнациональных отношений к проблемам индустриализации, а затем и к духовно-понятийной истории, откуда всего лишь шаг до антропологических основ человеческого существования.[2]

В большинстве своих трудов, рисующих картину первого раскола в 1866 г., приведшего к созданию урезанной Германской империи с Пруссией во главе[3], автор анализирует элементы преемственности и прерывности между кайзеровским рейхом и Веймарской республикой[4], исследует взаимоотношения общества и государства и истоки парламентаризма[5] и деградацию многопартийной системы в связи с мировым экономическим кризисом[6], так или иначе выходя на проблему: как Германия докатилась до национал-социализма? Каким образом в XX веке, в высокоразвитой цивилизованной стране сумел утвердиться варварский тиранический режим, криминальный по своей сути? Может быть, был прав Освальд Шпенглер, предрекавший одичание человека на стадии цивилизации?

Конце не занимался специально историей национал-социализма, отойдя перед лицом его преступлений на позиции морального и даже религиозного осуждения. Для характеристики Гитлера и его во многом иррационального режима он использует термин "злодейство". Но это такое понятие, которое не поддается строгому научному анализу. И Конце честно признавал, что не в состоянии найти рациональное объяснение тому, как и почему миллионы и миллионы людей были обдуманно и хладнокровно превращены в пепел и прах во имя бредовых и страшных идей одного человека. Но об ужасах и страданиях перенесших войну солдат он напомнил своим читателям в написанной им истории своей дивизии[7].

Последовательно выступая за взаимопонимание и примирение Германии с восточными соседями - Польшей и Россией, Конце

---

[2] Conze W. Zur Lage der Geschichtswissenschaft und des Geschichtsunterrichtes // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1975, H.2.

[3] Conze W. Die deutsche Nation. Ergebnis der Geschichte. Göttingen, 1963.

[4] Conze W. Die Zeit Wilhelms II., und die Wemarer Republik, 1890-1933. Stuttgart, 1964.

[5] Conze W. Das Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im Vormärz // Staat und Gesellschaft im deutschen Vormärz 1815-1848 / Hg.v. W.Conze. Stuttgart, 1962.

[6] Conze W. Die politischen Entscheidungen in Deutschland 1929-1933 // Die Staats- und Wirtschaftskrise des Deutschen Reiches, 1929/33 / Hg.v. W.Conze, H.Raupach. Stuttgart, 1967.

[7] Conze W. Die Geschichte der 291.Infanterie-Division, 1940-1945. Bad Nauheim, 1953.

посвятил ряд работ их непростым взаимоотношениям[8]. Столь же настойчиво и постоянно он поддерживал требование о воссоединении Германии, до которого ему не было суждено дожить нескольких лет. Так, Конце написал монографию о руководителе Христианско-демократического союза в советской оккупационной зоне Якобе Кайзере, который выступал с позиций христианского социализма, несовместимого с нарождающейся тоталитарной системой, и был в декабре 1947 г. смещен клевретами Москвы со своего поста, после чего был вынужден уехать на Запад[9]. Конце почти не давал в этой книге собственных оценок, ибо события сами по себе уже обнаруживали суть происходящего исторического процесса, ведущего к крушению последней общегерманской партии - ХДС.

Вместе с тем Конце всегда выступал против того, чтобы рассматривать прошлое, которое уже нельзя ни изменить, ни подправить, как результат проявления неизбежных закономерностей. Такое понимание, придающее истории ореол необходимости, естественно вело к финалистскому или телеологическому толкованию развития событий. Отказываясь от подобной трактовки, Конце был склонен уделять главное внимание той, может быть и небольшой, сфере, где принимаются свободные решения политическими деятелями, лидерами партий и руководителями союзов. Тем самым, на первый план выдвигается у него ответственность участников событий за тот или иной исход последних.

Проблема объяснения современного мира, порожденного индустриально-техническим развитием и оказавшегося перед многочисленными национальными проблемами и конфликтами и революционным вызовом всегда глубоко волновали Конце. Ответ на эти вопросы он искал в контрастном сравнении этого мира с традиционным, доиндустриальным и дореволюционным миром, в попытке нащупать те многообразные нити, которые в облике традиций связывают современность и прошлое. На этом пути Конце еще в 30-е годы пришел к выводу о необходимости использования не только присущих немецкому историзму историко-филологических приемов изучения источников, но и социально-научных методов из смежных систематизирующих наук, о необходимости их интеграции с историографией.

Тем поворотом к социально-структурной истории, который позволил западногерманской исторической науке освободиться от

---

[8] Conze W. Polnische Nation und deutsche Politik im ersten Weltkrieg. Heidelberg, 1953; Conze W. Das deutsch-russische Verhältnis im Wandel der modernen Welt. Göttingen, 1967.

[9] Conze W. Jakob Kaiser. Politiker zwischen Ost und West, 1945-1949. Stuttgart, 1969.

цепей устаревшего и даже ставшего провинциальным подхода к прошлому и перейти к новой современной ориентации, она обязана, конечно, не исключительно, но прежде всего Вернеру Конце. Именно он наметил и обосновал объективно приоритетные исследовательские программы, разработка которых продолжается и доныне.

Социально-структурная история

Социальная история как таковая в целом сформировалась в Германии на протяжении последней трети XIX века. Однако вплоть до 50-х - 60-х гг. XX века традиционная политико-дипломатическая история сохраняла свое преобладание, а социальная история была изгнана на задворки академических исследований. Фактически она оставалась хозяйственной историей права, исследуя прежде всего юридическое оформление производства, торговли и государственных мер в сфере экономики. Сама же социальная сторона исторического процесса, т.е. действующие в обществе группы и их взаимоотношения, оставалась практически вне поля зрения исследователей. Сдвиг произошел только в 50-е годы.

Надо сказать, что во многом сдвиг этот был связан с политизацией социального. Бурные события первой половины XX века - две мировые войны, потрясающий экономический кризис рубежа 20-х - 30-х гг., социально-экономические изменения межвоенного периода, основанные на массовой базе системы большевизма и национал-социализма, настоятельно требовали от историков дополнить анализ и объяснение политического социальным, и наоборот. В противном случае исторической науке грозила опасность полной утраты какого бы то ни было влияния в обществе.

Уловивший одним из первых эти тенденции Вернер Конце в 1952 г. так охарактеризовал соотношение социального и политического: "Сегодня речь идет о том, чтобы поднять значение социальной истории до уровня политической и вывести ее из изоляции. Социальная история не менее политична, чем с давних пор была история событий в области государственной политики. При рассмотрении социальных явлений историческая наука столь же политична, как и при исследовании государственного устройства или процессов, хода и результата событий".[10]

При этом Конце полагал, что новый подход к определению социального содержания истории основывается на введении понятия "структура" или "история структур", перенятого из концепции

---

[10] Conze W. Die Stellung der Sozialgeschichte in Forschung und Unterricht // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1952, H.3, S.653.

французского ученого Фернана Броделя, изложенной им в 1949 г. в труде "Средиземноморье и мир Средиземноморья в эпоху Филиппа II". В своей рецензии на эту книгу[11], Конце подчеркивал, что понятие "структура" более точно отражает суть явлений, чем предшествовавшие ему родственные термины "социальное устройство" или "внутренний порядок". Он указывал, что "общество всегда следует рассматривать как определенную структуру". А так как ни одно общество немыслимо без власти, а власть определяется существующим строем, то социальная история и история государственного строя должны не только сблизиться, но и "стать даже неразрывным целым". Если же рассматривать их в отрыве друг от друга, то историческая реальность получает искаженное изображение. Однако подход к ним как к единому комплексу не только позволяет избежать такой неадекватности, но и сглаживает противоречия между "социальной и так называемой политической историей".[12]

В 1957 г. Конце выступил в Дюссельдорфской академии с докладом, который имел программное значение и лег в фундамент немецкой социально-структурной истории.[13] Опубликованный в виде брошюры доклад носил еще достаточно осторожный и даже дипломатический характер, некоторые его положения оставались не совсем ясно сформулированными. Но главное заключалось в другом. Конце предложил новый подход к познанию прошлого. Его выступление представляло важнейшую попытку переосмыслить опыт современной истории и сделать из него выводы для дальнейших исследований и преподавания истории.

Вновь ссылаясь на Броделя, Конце высказался за отказ от системы периодизации истории, основанной на отдельных событиях. Он сам разработал иную периодизацию истории человечества из трех стадий: доисторическая эпоха примитивной техники и социальной стагнации; эпоха высоких культур, которые, однако, технически и социально оставались в целом статичными; динамическое новое время. Современная эпоха, по мнению Конце, берет начало на рубеже XVIII-XIX веков и характеризуется небывалым убыстрением темпов индустриально-технического роста, уничтожившего прежние статичные и иерархические структуры, и "духовно-техническим переворотом, радикально изменившим весь образ жизни".[14] Исходя из этого, Конце заявил, что следует из-

---

[11] Historische Zeitschrift, 1951, Bd.172, S.358-362.

[12] Conze W. Die Stellung der Sozialgeschichte..., S.655.

[13] Conze W. Die Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters als Aufgabe für Forschung und Unterricht. Köln, 1957.

[14] Ibid., S.10-12/

учать прежде всего не индивидуальные и неповторимые явления, а "типичные коллективные феномены".[15]

Промышленная революция на рубеже XVIII-XIX веков разорвала непрерывность истории. С этого времени история перестает быть результатом деятельности отдельных "драматических персонажей", а превращается в надындивидуальный социально-экономический процесс, уводящий в беспредельную даль коллективного творчества людей. Стало невозможным более рассматривать массы как голый фон исторических личностных действий и решений.

Вековые общественные структуры оказались разрушенными индустриальным вторжением, в корне изменившим сам способ человеческого существования. Вместо прежних относительно замкнутых культурных кругов во всемирной истории возникает всеобщая связь, которая требует не только новой периодизации, но и принципиального пересмотра прежней исторической картины мира. При этом Конце настаивал на том, чтобы историография охватывала все "в целом" и ни в коем случае не делила бы единый исторический мир на секторы, изучаемые отдельными социальными науками.[16] Такое раздробление. по его убеждению, неправомерно уже потому, что сами структуры обусловлены политически и находятся в состоянии непрерывных динамических изменений. Следовательно, нельзя разрывать историю на политическую, духовную, социальную и экономическую. Если трактовать социальную историю как историю политически обусловленных социальных структур, то ее невозможно жестко отделить от политической истории, "просто в ней на первый план выдвигаются не деяния, а структуры в их непрерывности и изменении".[17]

Выступая за тесное сотрудничество с социологией, политической и экономической науками, Конце подчеркивал, что границы между отдельными гуманитарными дисциплинами непостоянны и достаточно условны, что нельзя резко противопоставлять типологизирующий и индивидуализирующий методы исторического исследования. Любой метод для чего-нибудь да хорош.

Разумеется, в предложенной Конце программе обновления исторической науки не могло не быть неясных или уязвимых моментов. Предлагая новую периодизацию исторического процесса, Конце, пожалуй, несколько переоценил прерывность истории и глубину преобразования структур на рубеже XVIII-XIX веков.

---

[15] Ibid., S.18.

[16] Ibid., S.21.

[17] Conze W. Sozialgeschichte // Moderne deutsche Sozialgeschichte, hg.v. H.-U.Wehler. Köln / Berlin, 1966, S.18.

Ведь, в сущности, люди всегда жили в определенных структурах и испытывали воздействие определенных объективных процессов. Так что, вполне правомерно поставить вопрос не столько об изменении структур и процессов, сколько об изменении отношения людей к своему прошлому. Именно так расценил эту проблему видный немецкий историк Ханс Моммзен.[18]

Далее, отмечая глубокие структурные изменения при переходе к новому времени, Конце практически нигде не указывал на их причины и движущие силы. Так, изменения экономической структуры, различные стадии развития техники и возрастание власти человека над природой как общие факторы прогресса скорее постулируются, нежели анализируются и объясняются.

Можно встретить у Конце и противоречивые формулировки. Так, в дюссельдорфском докладе он говорил и о "стирании", и о "нарушении границ" между исторической наукой и другими социальными дисциплинами. Но это все же не одно и то же, так как в случае "стирания границ" логично предположить, что все эти науки сливаются в некую общую единую дисциплину, а в случае "нарушения" речь идет о сохранении самостоятельного характера всех этих наук. Критики уже отмечали спорность таких моментов.[19]

Но самое главное, пожалуй, это отношение структурной и социальной истории, оставшееся не совсем ясным, и само понятие структуры. Дело в том, что Конце в некоторых случаях употреблял понятия "социальная история" и "структурная история" как синонимы, а иногда социальная история понималась им в более ограниченном значении, как один из разделов истории: "Не надо говорить "социальная история", чтобы не сужать слишком рамки работы с самого начала".[20]

Осталось неразъясненным и ключевое для программы Конце понятие "структура". После многих личных бесед с Конце у меня сложилось впечатление, что под термином "структура" он понимал единый комплекс тесно взаимосвязанных факторов политического, социального, экономического и духовного характера. Такой комплекс образует как бы сцену, на которой и в пределах которой действуют люди, как ведущие исторические персонажи, так и массы обычных людей. Конечно, такое понимание структуры несколько

---

[18] Mommsen H. Sozialgeschichte // Moderne deutsche Sozialgeschichte, S.31-32.

[19] Wehler H. Die Sozialgeschichte zwischen Wirtschaftsgeschichte und Politikgeschichte // Sozialgeschichte und Strukturgesciehte in der Schule. Bonn, 1975; Kocka J. Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme. Göttingen, 1986.

[20] Conze W. Die Gründung des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte // Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 1979, Jg.24, S.26.

расплывчато, так как если трактовать ее как "опорную основу" событий, а сами события происходят только в результате человеческих действий, то с таким же успехом можно говорить не о структуре, а об объективных обстоятельствах и условиях этих действий. В таком случае нужно признать, что действующие субъекты в той или иной степени зависят от структур и трудно определить, где пролегает граница между свободным решением и жесткой необходимостью.

Но тем не менее достижения предложенной Конце новой научной концепции с лихвой перекрывают названные неясные моменты. Он исходил из вполне реального, накопленного к XX веку исторического опыта. Совершенно справедливо Конце подчеркивал, что намерения и результаты деятельности людей слишком часто не совпадают, а это означает, что возможности свободных индивидуальных действий достаточно жестко определены экономическими процессами, политическими институтами и социальным устройством общества. При этом в истории существуют не только конкретно-эмпирические, но и функциональные связи, которые, однако, нельзя объяснить без учета индивидуальных мотиваций. Происходил, казалось бы, парадоксальный процесс. С одной стороны, человек становился все могущественнее, все более росла его власть над природой. Но, с другой стороны, катаклизмы, кризисы и катастрофы первой половины XX века обострили ощущение бессилия отдельных людей перед давлением объективных обстоятельств. Вновь и вновь всплывала старая проблема - люди ли делают историю или же история делает людей? Во всяком случае ясно было одно - реальный опыт истории показывал, что сводить исторические трансформации к действиям и идеям отдельных лиц представляет явный анахронизм. Конце была чужда гегельянско-марксистская трактовка истории как неуклонного продвижения к разумно и справедливо устроенному обществу и ее абстрактно-спекулятивные философские рефлексии. Он просто принимал как данность факт относительного бессилия индивида перед лицом "объективных принуждающих структур".

Наконец, в программе структурно-исторического направления 50-х годов были в той или иной мере заложены принципиальные основы сформировавшейся в 70-е гг. социально-критической школы Ганса-Ульриха Велера и Юргена Кокки, хотя они и не приняли термин "история структур", считая, что структуралистские системные теории "замораживают динамический процесс".[21] В це-

[21] Wehler H.-U. Geschichte als Historische Sozialwissenschaft. Frankfurt a.M., 1973, S.30.

лом социально-критическая школа ушла далеко вперед, ориентируясь на создание всеобъемлющей науки об обществе и практические общественно-политические цели, такие как эмансипация, гуманизм, просвещение, критика власти и традиций. Но ведь кто-то должен был сделать и первый шаг в этом направлении. А сделал его именно Вернер Конце. При этом не следует забывать, что он с самого начала постоянно предостерегал от абсолютизации структурно-исторического подхода и настаивал на необходимости традиционной работы с источниками и превращении общих схем и абстрактных проблем в конкретно-наглядную картину прошлого.

Структурная история, вновь и вновь подчеркивал Конце, должна не вытеснять политическую или духовную историю, а вступать с ними в широкое взаимодействие. В свою очередь, политическую историю нельзя понять без истории конституционной, а последняя прямо ведет к сословной, классовой или партийной социологии. Но политическая социология требует анализа условий и образа жизни различных слоев общества, демографических факторов, учета экономических интересов, изучать которые невозможно без знания экономической теории и истории техники. Ратуя за исторический синтез, сам Конце опирался прежде всего на социологические и экономические теории в той мере, в какой они помогали лучшему пониманию истории, а также взаимосвязям и взаимозависимости всех сфер общественной жизни и деятельности.

Можно согласиться с обоснованным суждением Эберхарда Швальма, подчеркнувшего, что "новые принципы немецкой исторической науки: растущий интерес к истории внутриполитических и социальных проблем и склонность к теоретико-методологическому обновлению западногерманской исторической науки - едва ли мыслимы без имени и работы" Вернера Конце.[22]

Проблемы рабочего движения

Стремление поднять социальную историю из положения падчерицы исторической науки до ведущих в ней высот сопровождалось обращением к истории рабочего движения. И вновь инициатором такого поворота выступил Вернер Конце и его исследовательская группа по современной социальной истории.

Считая рабочее движение "одним из наиболее существенных явлений нашей современной истории", Конце справедливо рассматривал пренебрежение академической наукой этими сюжетами как ее значительный недостаток. Причина такого игнорирования

---

[22] Schwalm E. Geschichte, Geschichtslehrer // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 1977, H.3, S.147.

имела, по его убеждению, давние исторические корни. Это было отдаленным следствием неправильной политики правительства второго рейха, которое стремилось решить рабочий вопрос путем репрессий, а не либеральных реформ. В результате такой политики произошел раскол политического сознания в кайзеровской империи на "буржуазно-национальное" и "пролетарско-социалистическое" - раскол, который до сих пор оказывает свое воздействие. Идущая в этом официозном русле историография не занималась поэтому вопросами рабочего движения, и Конце видел ее важнейшую задачу в изучении данной проблематики для "устранения такого раскола".[23]

К тому же историческая наука ГДР сосредоточила, что было совершенно естественно, свои основные усилия именно на исследовании рабочего и социал-демократического движения, которое интерпретировалось в строго допустимых пределах жестких оценок, застывших стереотипов и заранее заданного подхода. Как раз поэтому Конце и его сотрудники, стремясь подойти к изучению рабочего движения непредвзято и без идеологической направленности, критиковали "монопольные притязания на истолкование событий" со стороны историографии ГДР, утверждавшей, что "только коммунисты являются истинными наследниками и носителями социалистического рабочего движения" в Германии.[24]

Конце и его гейдельбергская школа разработали собственную типологизацию международного рабочего движения, вычленив англосаксонский, российский и германский типы. Идеальной моделью выступает англосаксонская, базовыми принципами которой являются прагматизм, слабое воздействие идеологических постулатов и радикальных лозунгов, эволюционно-реформистский характер, лояльность к парламентарно-демократической системе общественного устройства. Российский тип рабочего движения противоположен англосаксонскому. Он складывается в условиях отсталой и консервативно-авторитарной политической системы и при относительно слабой буржуазии. Поэтому он наиболее восприимчив к радикальной идеологии и агитации социалистов, под воздействием которых переходит на позиции активных и деструктивных революционных выступлений. Немецкий же тип занимает между этими двумя полюсами как бы промежуточное положение. Поэтому внутренне он противоречив в наибольшей степени. Для него характерно значительное отчуждение от буржуазного госу-

---

[23] Conze W. Der Beginn der deutschen Arbeiterbewegung // Geschichte und Gegenwartsbewußtsein. Festschrift für Hans Rothfels zum 70.Geburtstag. Göttingen, 1963, S.323.

[24] Ibid., S.324.

дарства и общества, вызванное главным образом неправильной репрессивной политикой правителей кайзеровской Германии, в то время как "при терпении с их стороны немецкое рабочее движение совершенно ясно последовало бы по эволюционному пути, образец которого показало английское рабочее движение".[25]

Другими чертами германского типа являются тенденция к созданию массовой, хорошо организованной и дисциплинированной политической партии, а также дуализм революционной идеологии в теории и реформистского курса на практике. Поэтому развитие немецкого рабочего движения протекало весьма сложным и противоречивым путем, в нем действовали различные тенденции: реформистская и революционная, реально-практическая и эфемерно-теоретическая, национально-лояльная и антигосударственно-интернационалистская. Первую линию проводили в жизнь Стефан Борн, Фердинанд Лассаль, Эдуард Бернштейн, Георг фон Фольмар, вторую - Август Бебель, Вильгельм и Карл Либкнехты, Роза Люксембург. При этом резонно подчеркивается, что национальная идея вначале была сильнейшим, объединяющим всех немцев фактором, но после образования империи она стала монополией консервативных слоев, злоупотребивших ею во имя достижения своих эгоистических целей.[26] Тем не менее, национальные чувства рабочими утрачены не были, а сама германская социал-демократия представляла, в сущности, особую форму "национально-революционного движения", хотя такая модель "двойной лояльности" - к нации и к классу - несла в себе определенную противоречивость.

Одним из исходных тезисов гейдельбергской школы Вернера Конце явилась концепция противоречия теории и практики немецкой социал-демократии, тесно увязанная с проблемой роли, распространения и влияния марксизма. Аргументированная интерпретация позволила Конце и его ученикам показать, что Маркс и Энгельс были достаточно далекими от непосредственного руководства рабочего движения теоретиками, не слишком хорошо знакомыми с положением и настроениями немецких рабочих в отличие от Борна и Лассаля, более трезвых реалистов и практиков. Переход СДПГ на марксистские теоретические позиции, нашедший отражение в принятии в 1891 г. новой Эрфуртской программой, объясняется реакцией на исключительный закон против социалистов, который повлек за собой отчуждение социал-демократии от госу-

---

[25] Moderne deutsche Sozislgeschichte, S.168.

[26] Conze W., Groh D. Die Arbeiterbewegung in der nationalen Bewegung. Stuttgart, 1966, S.114-116.

дарства и ее переход на враждебные властям позиции. Значительную роль в появлении такого чувства ненависти к государству сыграли причины не столько социально-политического, сколько духовно-психологического характера. Социал-демократия, превращенная в партию изгоев и преследуемых париев, быстро радикализировалась. Именно в этом и состоял исторически самый тяжелый просчет Бисмарка, упустившего благоприятный шанс привлечь социал-демократию и рабочих на сторону государства.

Однако объективный процесс общественного развития вел к тому, что тенденции постепенной демократизации и парламентаризации Германской империи постоянно усиливались и приняли, наконец, исторически необратимый характер. Все попытки воспрепятствовать этому, нашедшие отражение в вильгельмовской политике "кнута и пряника", могли иметь только ограниченный временный успех, но в долгосрочной перспективе были обречены на провал. В этом смысле Конце считал, что события 1918-1919 гг. в Германии вообще вряд ли можно определить как революцию, поскольку они не изменили общего направления развития к современному индустриальному обществу и не нарушили генеральные тенденции, лежавшие в основе эволюционных изменений.[27]

"Вовлечение рабочих" в нацию и государство началось уже с 1914 года, но неожиданное военное поражение привело к "импровизированному характеру первой немецкой демократии". Она не сумела поэтому предотвратить "атомизацию" общества, его распад на многочисленные и враждебные друг другу партии и организации. Не приученные к жизни и деятельности в условиях демократической системы, широкие слои легко воспринимали радикальные и экстремистские лозунги левого и правого толка. Развитие фатально шло по нисходящей линии, ведущей к общему кризису Веймарской республики. Ее государственно-конституционный паралич резко усугубился экономической катастрофой рубежа 20-х - 30-х годов. Несовершенное и внутренне непрочное плюралистическое общество рухнуло под двойной чрезвычайной нагрузкой. Стабильная и конституционно защищенная парламентарно-демократическая система утвердилась лишь после вторичного краха Германии в 1945 г. Только тогда пробил себе дорогу исторически возможный гораздо ранее "английский, парламентарно-реформистский путь развития рабочего движения".[28]

---

[27] Conze W. Die sozialgeschichtliche Bedeutung der deutschen Revolution 1918/19. - Vom Sinn der Geschichte, hg.v. O.Franz. Stuttgart, 1976.

[28] Conze W. Möglichkeiten und Grenzen der liberalen Arbeiterbewegung in Deutschland. Heidelberg, 1965.

Таким образом, гейдельбергская школа Конце разработала логичную и законченную концепцию развития рабочего движения в Германии, шедшего в направлении интеграции и содействия "демократическому становлению современного индустриального общества".[29] История показала, что эта концепция интеграции отразила реальные процессы более точно, чем ортодоксально-марксистские рецепты лечения общества.

***

В последние годы жизни Вернер Конце приступил к осуществлению двух больших творческих замыслов - дать на основе социально-структурного подхода новую интерпретацию истории Восточной Европы и создать общую социальную историю Германии в европейском контексте. Но неожиданная смерть перечеркнула эти многообещающие планы. Однако Конце успел не только проделать предварительную работу в этом направлении[30], но и инициировать создание соответствующих научных центров.

***

В 1978-1979 годах мне довелось заниматься исследовательской работой в Гейдельбергском университете под руководством Вернера Конце. Поразительными были то человеческое обаяние и просто-таки юношеский живой энтузиазм, которые исходили от этого в общем уже немолодого и много пережившего, высокого прихрамывающего человека, имя которого навсегда вписано в анналы немецкой исторической науки, а разносторонние методологические новации и научные выводы продолжают жить в работах многочисленных учеников и последователей, к которым в какой-то мере имеет честь отнести себя и автор настоящей статьи.



[29] Conze W., Groh D. Op.cit., S.124.

[30] Conze W. Sozialer und wirtschaftlicher Wandel // Deutsche Verwaltungsgeschichte / Hg.v. K.G.A.Jeserich, H.Pohl, G.-Ch. von Unruh. Stuttgart, 1983, S.19-56; Conze W. Nationsbildung durch Trennung: Deutschland und Polen im preußischen Osten // Innenpolitische Probleme des Bismarcksreiches / Hg.v. O.Pflanze. München, 1983, S.95-119; Conze W. Ethnogenese und Nationsbildung: Ostmitteleuropa als Beispiel // Studien zur Ethnogenese. Opladen, 1985, S.184-206; Conze W. Evolution und Geschichte. Die doppelte Verzeitlichung des Menschen // Historische Zeitschrift, 1986, Bd.242, S.1-30.

Андронов И.Е.

"ПРОГРАММА" ФРАНКО ВЕНТУРИ

Франко Вентури родился в 1914 году в Риме в семье известного историка-искусствоведа. Закончив Туринский университет, Франко уехал в Париж, последовав за отцом, отказавшимся присягать фашистскому режиму. Ученые занятия продолжались и в Сорбонне под руководством Глоца, П.Ренувена, А.Бедарида и других маститых профессоров. Довольно скоро молодой историк сблизился с парижским кругом политических эмигрантов из Италии; знакомство с Г.Сальвемини и К.Росселли способствовало формированию устойчивого интереса к истории Просвещения, либеральных и социалистических идей. До войны Вентури публикует ряд французских просветительских текстов, а также работы о юности Дидро[1] и о пьемонтском мыслителе Века Разума Д.Ф.Васко[2].

Французская катастрофа 1940 года надолго отлучила историка от работы. Он был интернирован в Испанию, откуда франкисты передали его на родину. Здесь сын одного из известнейших профессоров - нонконформистов также не мог находиться: ему было предписано покинуть страну. Испросив позволения на кратковременную поездку в Турин перед эмиграцией, Франко Вентури ушел в горы и примкнул к партизанам партии "Справедливость и свобода", где и оставался до конца войны.

В первые послевоенные годы Вентури успешно сочетал общественную и научную деятельность, будучи в 1945-46 гг. редактором листка Партии Действия. Одновременно он публикует ряд статей, посвященных отдельным деятелям Просвещения и французской историографии Революции. Появившееся в 1946 году первое серьезное исследование о французской Энциклопедии[3] (начатое еще до войны), несмотря на многие достоинства, выделялось в методологическом плане, пожалуй, только подчеркнутой "научностью" содержания: в этой работе еще не угадываются характерные моменты, отличавшие более поздние труды историка.

---

[1] Jeunesse de Diderot (de 1713 a 1753). Paris, 1939.

[2] Dalmazzo Francesco Vasco (1732 - 1794). Paris, 1940. Эта публикация сделана в рамках подготовки дипломной работы в Сорбонне, которую историк смог формально защитить только после войны, в 1945 г.

[3] Le origini dell'Enciclopedia. Roma-Firenze-Milano,1946. Позже Вентури признается, что мечтой его молодости было создание политической истории "Энциклопедии": Venturi F. Utopia and Reform in the Enlightenment (G.M.Trevelyan Lectures for 1969). Cambridge, 1971 (англ. пер. книги, вышедшей годом раньше в Турине), p. 17.

В 1947 году Франко Вентури принял предложение занять пост культурного атташе в посольстве Италии в СССР. Историк полностью использовал предоставившиеся ему редчайшие в те годы возможности: три года прошли в очень насыщенной работе в библиотеках и архивах Москвы и Ленинграда, позволившей Вентури в совершенстве овладеть русским языком и обеспечить себя материалами для многих исследований по русской истории. Эти годы, хотя и не отмечены публикациями, очень важны для формирования историка: расширяется его исторический и лингвистический кругозор, знакомство с живущей по совершенно другим законам советской исторической наукой заставляет ученого много размышлять о методологии, о том, что же объединяет мыслителей и историков разных стран.

По возвращении из Москвы Франко Вентури полностью переходит к научной работе, не прерывавшейся до конца жизни. Спустя всего два года выходит в свет, пожалуй, самая известная по сей день на Западе работа по русскому народничеству[4], переведенная впоследствии на многие европейские языки. В ней уже видны некоторые характерные моменты почерка Вентури: прежде всего, народничество рассматривается не как предыстория неизбежной революции, а как часть мощного европейского ментального движения.

Вивисекция интеллектуальной истории континента по национальному признаку всегда претила ученому. Еще работая в России, Вентури пришел к непоколебимому выводу (к слову, до сих пор не всегда разделяемому на Западе) о том, что история российской мысли является одной из важнейших составных частей европейской ментальной эволюции. Попытки советских историков обосновать исключительный характер отечественной истории носили, по мнению Вентури, ярко выраженный конъюнктурный идеологический характер. В частности, спустя десятилетие в полемике с академиком Н.М.Дружининым он писал о "достижениях" советской историографии (зафиксировавшей в университетских и академических структурах анахронистическое разделение истории на отечественную и всемирную) в области изучения революционно-освободительных движений XIX века: "История России, казалось, стала самодовлеющим экспериментом, отделенным от остальной части мира даже в отношении истории революционного движения, с XVIII в. и позднее, тогда как... каждая мысль, каждое действие,

[4] Il populismo russo. Torino, 1952, in 2 voll.

каждая организация, естественно, наводит исследователя на следы взаимовлияния идей и международной солидарности"[5].

История европейской общественной мысли XVIII - XIX веков стала в Италии после Второй мировой войны ареной особенно острых столкновений между историками различных направлений. Значительная часть ученых придерживалась марксистской методологии; историки "католического" направления стали по многим вопросам их основными оппонентами. Еще живы были традиции либеральной историографии, воплощаемые в первые послевоенные годы престарелым Бенедетто Кроче и его школой. Резкий поворот, пережитый итальянским обществом во второй половине 40-х гг. - установление республики, складывание новой социально-политической структуры, бурная реорганизация экономики страны, - все это побудило интеллектуалов к переоценке многих событий сравнительно недавнего прошлого. Лишь к началу 50-х гг. немного улеглись страсти вокруг исторической оценки Рисорджименто, "эры Джолитти" и фашизма, и поиски "грехов современности" в прошлом постепенно уступили место попыткам более трезвого и глубокого анализа. С течением времени интеллектуалы, и в первую очередь - профессиональные историки сконцентрировали свои диспуты вокруг узловых моментов последних двух столетий.

Поляризация направлений в итальянской историографии уступила место оживленному диалогу, в ходе которого каждое из них отстаивало свою методологию. В атмосфере "конфликта" между "грамшианским" и "католическим" течениями на смену господствовавшей либеральной историографии приходила новая, совмещавшая ориентиры школы Кроче с идеалами, родившимися в годы Сопротивления. В тот момент, когда это направление, едва окрепнув, уже переходило к оспариванию главенствующих позиций в науке, один из молодых, но видных его представителей (а это был как раз Франко Вентури) предложил новое, во многом спорное видение задач истории в исследовании таких крупных ментальных комплексов, как Просвещение. Программа Вентури в течение полутора десятков лет подвергалась критике с разных сторон до тех пор, пока не стали известны результаты ее заключительного этапа. Со временем у Вентури появились и последователи, большей частью - его собственные ученики; программа вызывает споры до сих пор, но все сходятся, что ее плоды замечательны.

Следует сразу оговориться, что в собственном смысле слова "программы", то есть документа, предписывающего этапы и сроки

---

[5] См. Дружинин Н.М.. Избранные труды. Воспоминания, мысли, опыт историка. М., 1990, с.375.

и - боже упаси - носящего обязательный характер для кого-либо, кроме ее автора, не было. В отношении этого крупного итальянского историка его "программа" - ни что иное, как метод и цель, предписанные самому себе и сформулированные в ранних работах. Этому методу и этой цели историк следовал на протяжении более четырех десятилетий до самого конца своей жизни, что позволяет рассматривать все работы Вентури в качестве единого целого, выделяя этапы осознания и создания этого комплекса.

Как уже отмечалось, в начале 50-х гг. наметился серьезный кризис методологических школ, доминировавших в европейской исторической науке до войны. Либеральная традиция изучения истории общественной мысли (в частности, эпохи Просвещения) вынуждена была отступить перед новыми космополитическими идеалами, родившимися в ходе недавнего крупнейшего политического катаклизма, охватившего весь континент. Кроме того, сами базовые посылки либеральной школы уже не казались бесспорными. Изучение истории ментальности не могло больше подменяться исследованиями по истории философии, литературы, искусства. Великие произведения в этом ключе уже были написаны, но и они не давали ответов на формировавшиеся запросы нового европейского общества. Многие оценки безнадежно устарели и требовали пересмотра, который, в свою очередь, был невозможен без выхода за рамки окостеневшей традиционной методологии.

В частности, идеалистическая традиция интерпретации итальянской истории XVII - начала XVIII вв., доминировавшая в межвоенный период, заключала в себе концепцию безоговорочного и однозначного политического и морального "упадка". Так, Кроче писал: "В Италии не было никакой политической жизни и никакого национального чувства, свободомыслие угасло, культура обеднилась, литература сделалась манерной и неизящной, изобразительное искусство и архитектура "обарочились"[6]. Было уже подмечено, что такая оценка восходит к мысли эпохи Просвещения и Рисорджименто[7]. В то же время, однако, создавались, например, работы о политических учениях в Италии XVII-XVIII вв.[8], с очевид-

---

[6] Croce B. La Spagna nella vita italiana durante la Rinascenza. Bari, 1917, p.241.

[7] Maturi W. Gli studi di storia moderna e contemporanea. // Cinquant'anni di vita intellettuale italiana 1896 - 1946. Scritti in onore di Benedetto Croce per il suo ottantesimo anniversario. A cura di C.Antoni e R.Mattioli, v.1, Napoli, s.a. (2 изд.;1950 г.), p.246 sgg.

[8] Например, Jemolo A.C. Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del '600 e del '700. Torino, 1914; De Ruggiero G. Il pensiero politico meridionale. Bari, 1921; Nicolini F. Sulla vita civile, letteraria, religiosa napoletana alla fine del Seicento. Napoli, 1925; Idem. Uomini di spada di chiesa di toga di studio ai tempi di Giambattista Vico. Milano, 1942; Salvatorelli L. Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870. Torino, 1935; Corsano A. Il

ностью доказывающие поступательное развитие общественной мысли в стране. Фашистские идеологи часто говорили о Рисорджименто как об историческом фундаменте режима, а господствовавший в те годы в науке историзм побуждал ученых к поиску истоков и национально-освободительных движений. Итальянская историография фашистского двадцатилетия вообще тяготела в основном к идентификации в интеллектуальной истории XVIII века ростков Рисорджименто, уделяя преимущественное внимание национальной истории и отделяя тем самым эволюцию общественной мысли в Италии от общеевропейских процессов.

В 30-е годы были созданы классические произведения "старой школы" о Просвещении. "Философская" трактовка выступает на первый план - Кассирер и Де Руджьеро[9] в качестве исходной установки своих произведений безоговорочно приняли тезис о том, что в этом историческом явлении ничего из того, что нельзя отнести к философии stricto sensu, не было. Тем самым исключительно массовому явлению априорно приписывался элитарный характер. Впрочем, доказательство массовости Просвещения - достижение уже послевоенной историографии, построившей свою методологию на добротном фундаменте старой либеральной школы.

В те же годы закладывались и основы советской науки о Просвещении. Характерной чертой работ советских историков (как до войны, так и - с некоторыми оговорками - после нее[10]) была тенденция к идеализации роли "правильных" исторических героев, причем сначала - лишь тех, кого с той или иной степенью условности можно было считать предтечами господствовавшей в СССР идеологии или политических событий, повлекших за собой это господство. Биографический жанр был излюбленным в советской историографии, в особенности в 20-30-е гг. Вентури однажды тонко подметил, что чаще всего советская историческая литература писалась "ad narrandum", т.е. в ключе красивого и легко читаемого пересказа фактов, большей частью уже известных ученым, для широкой публики, или "ad demonstrandum", для доказательства мудрости провидцев. Только лучшие образцы советской историо-

---

pensiero religiso italiano dall'umanesimo al giurisdizionalismo. Bari, 1937. Любопытно отметить, что ряд работ написан историками, разделявшими взгляды Кроче или даже открыто относившими себя к его последователям.

[9] Cassirer E. Die Philosophie der Aufklaerung. Tuebingen, 1932. De Ruggiero G. Storia della filosofia: l'eta dell'Illuminismo. Bari, 1938.

[10] Более подробно на эту тему автор писал в статье (Andronov I., Talashov A. Due secoli: Illuminismo e gli storici russi. // Storia della storiografia, v.28, 1995.

графии могли подняться над этим биномом[11]. Когда уже в 60-е гг. академик Дружинин, очевидно, незнакомый (как и подавляющее большинство его советских коллег) с работами Вентури по русской истории и советской историографии, в полемике с ним с гордостью отмечал, что советские историки постоянно создают все новые персоналии, итальянский историк уточнял: "Речь не идет о том, чтобы заново более или менее приятно рассказать то, что мы уже знаем о тех или иных известных персонажах, а о том, чтобы изучать те индивидуумы, которые могут помочь нам понять данную эпоху, и изучать их таким образом, чтобы раскрыть проблемы или аспекты, которые иначе остаются или рискуют остаться в тени... Мы хотим, чтобы никто из исторических персонажей не был помещен в черный список и чтобы ничей облик не остался искаженным"[12].

Послевоенные произведения марксистской историографии в Европе Вентури охарактеризовал как "видение в философии Просвещения отражения и как бы следствия данных политических и общественных условий и ситуаций"[13]. Априорная шкала ценностей марксистской историографии была определяющим фактором, однако унаследованный от позитивизма принцип историзма дал все же свои положительные плоды: уточнялись авторы тех или иных идей, накапливался багаж первичных данных, необходимых для построения более сложных многоплановых картин прошлого.

Что же касается инструментария исследователя-марксиста, занимающегося проблемами экономической истории, то здесь пределы, дальше которых сколь угодно сильная научная школа, развивающаяся в жестко заданных извне рамках, не могла пойти, стали очевидны после первого же перевода на итальянский язык написанной еще в 1916 году книги Е.В.Тарле "Экономическая жизнь королевства Италии в эпоху Наполеона". Попытки изолированной интерпретации экономических реалий уже в 50-е гг. вызывали неприятие итальянских историков самых различных направлений. Издание в 1952 г. перевода труда Е.В.Тарле, несмотря на многие его достоинства, отмеченные и историками немарксистских направлений, вызвало в целом неудовлетворенность: такой глобальный анализ при столь обязывающей постановке вопроса нельзя

---

[11] См. Venturi F. Evgenij Victorovic Tarle. // Rivista storica italiana, LXVIII, f.2, 1956, passim.

[12] Полемика Дружинина с Вентури опубликована в Rivista storica italiana, LXXVI, f.4, 1964.

[13] Доклад на XI Международном конгрессе исторических наук в Стокгольме, 1960 г.; цит. по: Venturi F. Europe des Lumieres. Recherches sur le 18e siecle. Paris - La Haye, 1971, p.5.

было провести без точного знания среды культурного и политического формирования администрации Старого Порядка, культурных течений и экономики страны в предшествующую эпоху, или по крайней мере во второй половине XVIII века[14].

Прежде чем перейти непосредственно к изложению предложенной Франко Вентури концепции методологии исторического исследования крупных ментальных комплексов, подобных общественной мысли Века Разума, и собственно европейского Просвещения, необходимо упомянуть еще об одной существовавшей перед войной в европейской науке традиции. В межвоенный период, отмеченный рядом произведений первостепенной важности в рамках компаративистской историографии, утвердилась (во многом благодаря работам тех самых профессоров, у которых Франко Вентури учился в Сорбонне) заимствованная еще у позитивистов идея "влияния" как основополагающего момента культурного сосуществования государств - соседей. Так, в отношении итальянской мысли XVIII века после выхода в свет известной работы крупных французских ученых Азара и Бедариды[15] господствовала теория, согласно которой Франция в этом столетии играла безусловно активную и позитивную роль, а Италия (подвергнутая "влиянию") - пассивную (скрупулезному анализу подверглись, в частности, даже модные французские словечки, распространившиеся в салонах на Апеннинах). Ограниченность восприятия взаимодействия двух культур исключительно как влияния одной на другую была довольно очевидной, однако эта теория, активно поддерживаемая рядом главным образом французских историков, оказалась удивительно живучей. Еще в середине 50-х годов Вентури приходилось доказывать самодостаточность итальянской мысли Просвещения; вскоре выяснилось, впрочем, что полемика, ведущаяся в терминах "первичности" и "вторичности", была обречена на тупиковую ситуацию.

Некоторые идеи, легшие впоследствии в основу "программы" Франко Вентури, складывались еще в процессе подготовки первых публикаций. Так, уже в 1940 году в первой персоналии историка, посвященной пьемонтскому просветителю Далмаццо Франческо Васко, автор в качестве оправдания такого подхода писал: "От бесплодной идеи "влияния" можно перейти к изучению личностей,

---

[14] О разочаровании итальянских историков см. P.Villani. Dal 1748 al 1815. // La storiografia italiana negli ultimi vent'anni. Milano, 1970, v.1, p.622.

[15] Hazard P., Bedarida H. L'influence francaise en Italie au XVIIIe siecle. Paris, s.d. [1932].

которые и сегодня заслуживают внимания"[16]. К 1953 г. представление Вентури о методе окончательно выкристаллизовалось, и он представил свою точку зрения на XXXII Конгрессе по Рисорджименто.

Формулировка предложенного Вентури нового подхода к изучению Просвещения заключала в себе три важных отрицания некоторых основных положений "традиционной" историографии. Во-первых, историк категорически отверг препарирование этого общеевропейского комплекса на национальные составляющие. Основное внимание коллег Вентури обратил на "циркуляцию идей" не только в общественной мысли, но также непосредственно в политике и культуре. "Национальность" идеи не всегда важна в этот космополитический век.

Второе "отрицание" Вентури касалось зачастую подразумеваемой тематической взаимосвязи XVIII века в работах историков с последующим столетием. Он доказывал, что этот век важен сам по себе, а не как предыстория Революции, романтизма или Рисорджименто. В более поздних работах Вентури заканчивал изучение Просвещения 1789 годом, однако Революция[17] была скорее следствием кризиса Старого Порядка, нежели плодом развития новой идеологии. Третий важный момент "программы" - отказ от понимания истории итальянской мысли в рамках зависимости от французской и от первичности последней в европейском Просвещении. Вентури сконцентрировал внимание на внутренне присущем Веку Разума космополитизме, предложив в качестве объекта изучения новую категорию - "общий менталитет литературной республики".

Историки не восприняли выступление Вентури как программное; более того, от внимания большинства из них ускользнул тот факт, что практически был предложен новый метод исследования крупного ментального комплекса, основывающийся прежде всего на новой интерпретации роли биографии в воссоздании широкой картины итальянской и европейской интеллектуальной среды. Итальянский историк использовал предоставившуюся ему в последующие годы возможность посредством конкретных исследований утвердить и развить свою точку зрения.

Уже в 1954 году выходит в свет работа, посвященная одному из самых загадочных итальянских космополитов XVIII века Аль-

---

[16] Dalmazzo Francesco Vasco .., p. 7.

[17] "Революция, которую мы называем французской". Эти слова, сказанные историком в 1992 г., очень точно отражают видение этого явления, характерное для всех его работ. См. L'eredita' dell'Ottantanove in Italia, a cura di R.Zorzi, Firenze, 1992, p. 448.

берто Радикати ди Пассерано. Пьемонтский аристократ, много путешествовавший, публиковавшийся, подчас анонимно, в Голландии и Англии, не случайно привлек внимание историка: этот персонаж идеально подходил цели исследования контекста его деятельности. Круг его общения и интересов носил интернациональный характер, его работы были меньше известны на родине, нежели за границей. Радикати не был (и не стал после выхода в свет книги Вентури) персонажем первостепенного значения в ту эпоху религиозных брожений и поисков новой морали, которую сегодня европейские историки зачастую условно называют "предпросвещением" или "ранним Просвещением[18]", и уже этим он представлял особый интерес.

В последующих произведениях Франко Вентури продолжал утверждать биографический подход к изучению Просвещения. В ходе подготовки масштабного и очень важного издания текстов и биографий значительного числа представителей итальянского Просвещения[19] в полной мере проявились особенности восприятия и интерпретации биографий Франко Вентури. В центре внимания работ историка оказались не собственно биографические данные в их нарративном изложении, и не выведение общих черт множества биографий (что являлось главным для многих крупных ученых, таких, например, как Льюис Нэмир[20]), а воссоздание структур взаимодействия персонажа и контекста, постановка проблемы сосуществования общества и его единичных элементов. Содержание и историографическое значение антологии Illuministi italiani не ограничивается, таким образом, бесспорной дидактической ценностью; проделанная работа вылилась в попытку создания цельной биографической, географической и текстуальной картины итальянского Просвещения[21].

---

[18] Насколько нам известно, в научный оборот этот термин вошел после выхода в свет Eduard Winter. Fruehaufklaerung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa und deutsch - slawische Begegnung. Berlin, 1966.

[19] Illuministi italiani. Storia e testi. Milano - Napoli, 1958 - 1979. Для этой серии Вентури написал ряд биографических очерков, являясь одновременно главным редактором некоторых томов.

[20] Как сам Франко Вентури, так и его ученики неоднократно (при глубоком уважении к деятельности этого крупного историка) подчеркивали, что Нэмир "социологизировал историю" или "социологизировал биографию". См. Venturi F. Un grande storico: Sir Lewis Namier, in: Il Ponte, XIII, n.7, luglio 1957; L'eredita' dell'Ottantanove.., p.467.

[21] Ricuperati G. Les recherches italiennes sur le dix-huitieme siecle. Tendances et problemes. - статья находится в печати; автор располагает копией рукописи, подписанной Turin, 17.09.94, и любезно предоставленной профессором Рикуперати).

В 1960 г. на конгрессе в Стокгольме Вентури с удовольствием отмечал, что исследования по истории идей "с каждым днем содержат все меньше кажущейся логики интеллектуальных форм и все больше и больше приближаются к пониманию того, что могли точно обозначать термины, слова, концепции и мифы прошлого[22]".

Определение собственной позиции в методологии потребовало от Вентури также определения своего отношения к самым крупным современным европейским школам. В отношении структуралистов, отдавая должное серьезности изучения экономических структур, социальных групп и классов, Вентури отмечал ограниченный характер тех реальностей, которые составляли объект их изучения[23].

К проблематике Вентури ближе всего стояла французская школа "тотальной истории", сформулировавшая по-новому проблему изучения ментальностей, занимавшаяся воссозданием общественной атмосферы эпох, пытавшаяся "глобально" осмыслить систему взаимоотношений между науками, техникой, концепциями мира и художественной, общественной и административной жизнью Европы Старого Порядка. Интересно мнение о ней Вентури: "Сложности у этой школы возникают тогда, когда идеи, изучаемые ею, рискуют также быть осознанными в качестве структур, хоть даже и ментальных... Насколько английская школа (имеется в виду прежде всего Нэмир и его последователи - И.А.) полезна в своем энергичном проведении различия между идеями и фактами, настолько французская школа может представлять устойчивую опасность в той мере, в которой она пытается поставить две вещи на один уровень"[24].

С методологической точки зрения интерес представляет статья Франко Вентури[25], написанная по поводу спора между историками марксистского и католического направлений относительно просветительских реформ некоторых пап. Историку удалось показать, что в Папском государстве центробежные устремления и деструктивная деятельность местных администраций были основной причиной краха попыток реформ. Это был один из первых замечательных результатов скрупулезного анализа деятельности

---

[22] Venturi F. Europe des Lumieres.., p.4.

[23] Ibidem.

[24] Ibidem.

[25] См. его Elementi e tentativi di riforma nello Stato pontificio del Settecento. // Rivista storica italiana, LXXV (1963), pp.778-817. Так был опровергнут, в частности, тезис о католическом Просвещении и католическом реформаторстве как противовесах светским (см., напр., Franchini V. Gli indirizzi e la realta del Settecento economico romano. Milano, 1950).

большого числа отдельных персонажей и их вклада в общую интеллектуальную и политическую жизнь определенных фрагментов общества.

В 1967 г., на конгрессе в Перудже, посвященном проблемам итальянской историографии, концепция Вентури подверглась серьезной критике. Паскуале Виллани (отдавая, безусловно, должное ценности концепции Вентури и первых плодов ее реализации) обсуждал главным образом установку на изучение деятельности отдельных персонажей, на воссоздание целостной картины из множества персоналий. Основная опасность такого подхода, по его мнению, заключалась в тяготении к "фрагментарному и атомистическому видению" исторических процессов и, как следствие, в потере "фундаментальных тем исторического исследования". Он отмечал также следующую из концепции Вентури ограниченность понимания итальянского реформаторского движения. Для Вентури Просвещение в собственном смысле слова начиналось с первых конкордатов светских государей со Святым Престолом, с выхода в свет "О духе законов" Монтескье. Возможно, отмечал Виллани, вследствие такого "биографического" прицела на Просвещение из него выпадают мощнейшие течения конца XVII - начала XVIII вв., такие, как юрисдикционализм, регализм, начала янсенизма и др. Основной же грех Вентури, по мнению Виллани, заключался в сведении всего исторического процесса в первую очередь к истории культуры. Заслугой Вентури перед историографией Виллани считал прежде всего постановку проблемы взаимоотношений и взаимосвязей между "историей биографий", с одной стороны, и политической, культурной, экономической и социальной историей, с другой, ограничивая тем самым тематику Вентури именно "историей биографий"[26].

Фурио Диац предложил свою формулировку установки Франко Вентури, делая упор на "трактовку истории итальянского Просвещения посредством биографических картин, в которых так хорошо удается связать среду, жизнь индивидуума и идеологические ферменты, которые тот получает в основном извне, перерабатывает их и часто пытается трансформировать в какую-то конкретную акцию правительства"[27]. Таким образом, Диац подчеркнул нацеленность Вентури на рассмотрение не столько биографии самой по себе, сколько реальных воплощений заслуг персонажа в "практической истории".

---

[26] Villani P. Op.cit., p.604ss.
[27] См. его сообщение. - Ibidem, p.634.

В следующих своих трудах Франко Вентури попытался не только ответить на критику коллеги, но и найти по возможности разрешение той проблемы, формулирование которой было поставлено ему в заслугу. В конце 60 - начале 70-х гг. появляется ряд работ историка, явившихся своего рода новым этапом пресловутой "программы", этапом использования подготовленного обширного материала.

Критика показала, что общая концепция Просвещения (а для ее создания уже сложились объективные предпосылки) нуждается в обобщенном изложении. Для этого, в свою очередь, необходимо было дополнить предложенный еще в 1953 году аналитический метод синтетическими выкладками. Историк использовал для этого предоставившуюся возможность подготовить и прочесть курс лекций для Кембриджского университета "Утопия и реформы в Просвещении", прочитанный в 1969 году и изданный в следующем году по-итальянски, а в 1971-м - по-английски.

Начало 70-х гг. было сложным временем для историков Просвещения и реформ. Ограниченный характер "оттепели" в Советском Союзе, события в Праге, студенческие выступления в Париже и волнения в Италии вызвали к жизни некоторое разочарование в политике реформ и, в особенности среди молодежи, моду на утопические идеи и революционные настроения (этому отдавал должное Франко Вентури, ставя основную дилемму своих кембриджских лекций). Кроме того, в европейской науке конца 60 - начала 70-х гг. изучение истории идей находилось "в плену у мифа количественного метода и зависимости от третьего сословия"[28]. Последнее - плод влияния на европейскую историографию марксистской интерпретации Просвещения в эти годы как на Западе, так и в СССР, которая тяготела к догматической констатации того, что на самом деле представляло научную проблему (отношения между Просвещением и буржуазией). Применение же количественных методов в истории культуры и идеологии с самого начала воспринималось Вентури весьма критически. Так, например, о пользующемся по ту сторону Альп большой популярностью обычае строить схемы по любому поводу Вентури писал: "Если кто-то берет скромную и мирную французскую провинциальную академию XVIII века и рисует массу стрелочек по всем европейским направлениям только из-за того, что одному из ее членов довелось пожить во Флоренции или еще где-то; если кто-то производит на свет диаграмму, более напоминающую битву на Марне, нежели академическую струк-

[28] Ricuperati G. Les recherches italiennes...

туру, он, очевидно, пользуется циклотроном для щелканья орехов"[29].

Методу, которому оставался верен Вентури и которому уже следовали его ученики (к примеру, в 1970 году вышло в свет исследование Дж.Рикуперати, посвященное реконструкции идейной среды, в которой работал известный неаполитанский юрист и мыслитель начала XVIII века Пьетро Джанноне[30]), необходимо было теперь дать теоретическое обоснование. Значительный объем работы по написанию биографий был уже проведен. Теперь главной ошибкой, по мнению историка, было бы занимательное, но бесплодное выяснение отдельно взятой жизни идей, их эволюции вне реальностей. "Мы должны, - писал по этому поводу Франко Вентури, - проводя ясное различие как в исследовательском методе, так и в работе по историческому пониманию, изучать взаимосвязь между движением идей и политической, социальной и экономической реальностью. Прежде всего, важно не фиксировать заранее эту взаимосвязь, застывая в осознании суперструктуры и инфраструктуры, идеологии и фактов, находя у них моменты начала и заранее решая, которое из двух существенно важно и первично по отношению к другому. Задача историка в этом случае закончилась бы, даже не начавшись. Исследование, и только исследование, может нам сказать, в зависимости от конкретного случая, чем являлись, сколько весили, что обозначали данная идея и движение, в котором она воплощена"[31].

Очень важный момент в методологии Вентури - вопрос об отношении к истоку той или иной идеи. Является ли необходимым при изучении Просвещения каждый раз выяснять, какого происхождения тот или иной тезис Века Разума? По крайней мере, в отношении Просвещения, считает Вентури, подобный подход малопродуктивен: "этот метод идет вразрез с самим фундаментальным характером просветительской мысли, заключающейся в четкой установке не создавать философских систем, в полном отрицании их ценности. Еще в середине века Кондильяк, Вольтер, Дидро и Даламбер установили это с максимальной ясностью. Очевидно, мы должны не прослеживать идеи вплоть до их происхождения, но изучать их функцию в истории восемнадцатого столетия. Философы пытаются двигаться против течения до тех пор, пока не дойдут до

---

[29] Venturi F. Utopia and Reform.., p.9f.

[30] Ricuperati G. L'esperienza politica e religiosa di Pietro Giannone. Milano - Napoli, 1970.

[31] Venturi F. Utopia and Reform.., p.4f.

истоков. Историки должны сказать нам, как река прошла по своему пути, через какие препятствия и трудности"[32].

Еще в конце XVIII века в немецкой науке утвердилось "обожествление" источника, истока (над поклонением частице Ur, обозначающей в немецком языке "первоначальный", "исходный", подтрунивал еще Гердер в своей "Попытке истории лирической поэзии"). Эта традиция легла в основу методологического принципа, получившего название "историзма". Принцип историзма привился в различных научных школах, однако уже в 20-30-е гг. нашего столетия выявились его пределы. Кризис историзма обозначен в непрочитанном, но опубликованном докладе Б. Кроче, представленном на конференцию в Оксфорде[33]. С течением времени этот принцип, если и не сошел на нет, по крайней мере перестал быть знаменем для многих историков. В самом деле, когда исчерпали себя положительные моменты стремления "ad fontes", вдруг обнаружилось, что в исторических памятниках, в первую очередь - в письменных, стали искать и описывать не столько то, что было ново, сколько то, что было старо, т. е. восходило к кому-то из предшественников.

Коль скоро речь зашла о принципе историзма, следует, на наш взгляд, прояснить еще один связанный с этим термином момент, возникший во время дискуссии между советскими и итальянскими историками на страницах научных журналов. Стоило итальянским историкам подметить присущий советским коллегам "историзм" и подчеркнуть, что они сами не разделяют этого ориентира и считают его несколько ограниченным, как в ответ прозвучали преисполненные священного гнева инвективы о "кризисе буржуазной исторической науки"[34]. Взаимоотношения Вентури и других итальянских историков с советской наукой и советскими коллегами - тема отдельной работы; в связи с нашей проблематикой необходимо лишь провести различие в разных пониманиях самого слова: если для западных ученых "историзм" означал лишь связанный с определенной эпохой в исторических исследованиях конкретный подход, для их советских оппонентов это определение было своего рода символом ремесла, талисманом, всяческое от-

---

[32] Ibid., p.2f.

[33] Croce B. Punti di orientamento della filosofia moderna. Antistoricismo. Due lettere ai congressi internazionali di filosofia di Cambridge Massachusets 1926 e di Oxford 1930. Bari, 1931. По поводу историзма следует упомянуть также любопытную публикацию "манифестов" этого течения и критики в Il dibattito sullo storicismo. A cura di Bianco F. Bologna, 1978.

[34] Завершение этой полемики, которую - по замечанию самого Вентури - советская сторона устами З.П.Яхимович стремилась с самого начала свернуть, опубликовано в Rivista storica italiana, LXXIV, f.1, 1962.

ступление от которого считалось предательством и строго каралось в ходе внутренних партийно-научных разбирательств.

Среди работ Франко Вентури, появившихся после конгресса в Перудже, особняком стоит многотомный монографический труд, посвященный Веку Просвещения в Италии и Европе. Речь идет о серии разноплановых исследований, объединенных названием "Реформаторский восемнадцатый век"[35]. Проблематика его невероятно разнообразна: первые два тома и последний посвящены в основном итальянской истории, в то время как третий и четвертый рисуют исключительно широкую панораму европейских событий. Несмотря на кажущийся отход от обычной "биографической" методологии, качественного изменения не произошло: историк на этот раз помещает в широкий контекст не человека, а государство или идею. Эти объемные тома как бы сводят воедино результаты большого числа "единичных" исследований.

"Биографии" городов и государств по-прежнему не являются для историка самоцелью. Главная цель, преследуемая автором, заключается в определении роли отдельных персонажей, городов и национальных культур в создании общеевропейской культурной и идейной среды; каждый потенциальный объект исследования по-своему представляет собой некий интерфейс. В сложной системе европейских культурных и идейных отношений каждый узел является также "отражателем" различных влияний извне. "Единичности" в европейском контексте часто могут быть интерпретированы как своего рода микрокосмы, отражающие глобальные процессы и тенденции. Вычислить это отражение и описать его было для Франко Вентури основной целью исследований, будь то персоналия, изучение локальной или общеевропейской культурной среды. Кроме того, попытка определить на новом этапе не только круг "активных" участников Просвещения, но и не менее важных "пассивных" - читателей и других в том или ином смысле потребителей идей, представителей тех групп, в которых идеи нашли отклик - положительный или отрицательный. Персонажи книг Вентури - не обязательно сторонники реформ, просве-

---

[35] Venturi F. Settecento riformatore (Torino, Einaudi, 1969 -): I. Da Muratori a Beccaria, 1730-1764 (1969); II. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti, 1758 - 1774 (1976); III. La prima crisi dell'Antico Regime, 1768-1789 (1979); IV. La caduta dell'Antico Regime, 1776-1789 (1984), P. 1, I grandi stati dell'Occidente, P. 2, Il patriottismo repubblicano e gli Imperi dell'Est; V. L'Italia dei Lumi, 1764-1790, P. 1, La rivoluzione di Corsica: le grandi carestie degli anni Sessanta: la Lombardia delle riforme (1987), P. 2, La repubblica di Venezia, 1761-1797 (1990). Третья часть пятого тома в настоящее время готовится к публикации и вскоре выйдет посмертным изданием.

щенные монархи или философы; это и путешественники, чьи записки историк активно привлекает в качестве источников, и периодические издания эпохи, и сочинения противников просветительских идей, и местные административные акты, и многое другое.

Одной из тем Settecento riformatore были республики Старого Порядка (им даже посвящен отдельный том). Республиканская модель в своем практическом проявлении не выдержала испытаний кризиса, однако олицетворяла собой на протяжении всего XVIII века вплоть до Революции определенный комплекс идей, тесно увязанный с разного рода "утопическими" настроениями.

Вклад Франко Вентури в изучение европейского Просвещения, в развитие методологических основ исторической науки очень весом. Только по Просвещению историк подготовил около полутора сотен публикаций, основная часть которых приходится на 1950 - 1990 годы, время профессорской деятельности в университетах Кальяри, Генуи и Турина. На всем протяжении своего творческого пути историк оставался верен гражданской позиции, выработанной еще в молодости. Для Франко Вентури было характерным "светское" восприятие свободы творчества, отрицание необходимости следовать - даже поверхностно - догме, будь то религиозные убеждения или партийная доктрина. Вентури отошел от политической деятельности именно потому, что она была несовместима с наукой, воспринимаемой им исключительно как диалог с коллегами различных убеждений и религий. В любом течении современной историографии историк искал рациональное зерно, стремясь каждый раз прежде всего отмечать позитивные заслуги того или иного направления. Этот диалог был фактором поступательности развития науки, позволявший ученому с глубоким оптимизмом оценивать роль исторического знания в настоящем и будущем. Только отрицание диалога, попытки монополизировать право на истину вызывали у Франко Вентури раздражение.

Постоянная необходимость определять свою позицию в отношении нарождавшихся новых школ и направлений европейской историографии, как мы видим, способствовала поиску и конкретизации методологических и источниковедческих основ собственного творчества историка. В 50-е годы Вентури стоял у истоков расширения источниковой базы исследований по ментальной истории, вводя в научный оборот записки путешественников, письма, церковные документы. Особое внимание на протяжении всей творческой деятельности историк уделял периодической печати Века Разума; если сам Вентури использовал итальянскую и евро-

пейскую прессу лишь как одну из категорий источников (явное предпочтение ей он стал отдавать только в последних трудах, в частности - в "La repubblica di Venezia"), то из-под пера его учеников уже выходят комплексные исследования различных типов изданий от дешевых газет для простого люда до "эрудитских" журналов для интеллектуальной элиты.

Изучение Просвещения тесно увязывалось с изучением реформаторской деятельности министров и государей. Связь "Просвещение - реформы" оказалась намного более продуктивной, чем традиционная (в частности, для русской и советской историографии) связь "Просвещение - Революция". На смену идеям "национальных Просвещений" и влияний школа Франко Вентури выдвигает идею "европейского диалога", активной, не признающей политических и конфессиональных границ деятельности персонажей самого различного калибра. Рост интереса итальянских ученых к истории Века Разума вполне объясним: Джон Робертсон отмечал, что итальянское Просвещение - идеальный объект для итальянского историка, желающего изучать прогрессивную эпоху и не являющегося националистом или историком церкви[36]. Школа Вентури (а к ней себя относят такие историки, как его любимый ученик Джузеппе Рикуперати, известный исследователь раннего южноитальянского Просвещения, истории Пьемонта, ряда вопросов истории европейской культуры Века Разума; широко известны также и труды учеников Вентури следующего поколения М.Фирпо, Л.Гверчи и Э. Тортароло) своими трудами доказывает и сегодня, что не нужно подбирать моменты взаимовлияний интеллектуалов - достаточно обозначить интеллектуальный контекст их деятельности.

Этапы создания и реализации "программы" Франко Вентури являются одновременно и этапами складывания нового направления в науке. Тезис о "мозаичном" отображении исторической реальности с течением времени из основного обвинения критиков превратился в комплимент[37]. Вместо простого набора персоналий из этой мозаики возникла глубокая и многоплановая реконструкция идейной среды, реконструкция, редкая по своим научным и художественным достоинствам. Как завещание историка (он скончался 14 декабря 1994 года) мы читаем сегодня о том, что путь, которому должны следовать его ученики, есть "исключительно ак-

---

[36] Robertson J. Franco Venturi's Enlightenment. // Past and Present, CXXXVII, p.185.

[37] См. заседание "круглого стола" по поводу публикации второй части пятого тома Settecento riformatore в L'eredita' dell'Ottantanove in Italia, a cura di R.Zorzi, Firenze, 1992, pp.439-468.

куратное исследование личности за личностью, не забывая никогда, однако, что именно тут складываются некоторые толпы, некоторые группы, некоторые партии, если мы говорим о политике"[38].



[38] Ibid., p.468.

Д.А.Модель

АЛАН ДЖ. П. ТЕЙЛОР: ТРАДИЦИОНАЛИСТ И НОВАТОР

Алан Джон Персиваль Тейлор (1906-1990) - известный английский историк, автор многочисленных книг, среди которых "Первая заявка Германии на колонии", "Габсбургская монархия", "Курс германской истории", "Борьба за господство в Европе", "Бисмарк", "Возмутители спокойствия", "Происхождение второй мировой войны", "Первая мировая война", "Английская история 1914-1945", "От Салерно до Потсдама", "Бивербрук", "Вторая мировая война", "Как кончаются войны".[1]

Прежде всего Тейлор был историком дипломатии. Он занимался историей европейской системы государств с 1815 по 1941 годы, когда международные отношения в Европе определяли мировую политику. "Я англичанин по происхождению, убеждениям и личным предпочтениям", - писал Тейлор. Но тут же добавлял, что это не имеет никакого значения, когда он садится за рабочий стол историка. Однако в работах Тейлора, как в подходах, так и в выборе тематики исследований, несомненно присутствуют и европоцентризм и англоцентризм. Один из критиков Тейлора удачно заметил, что его знаменитую книгу "Происхождение II мировой войны" следовало бы назвать "Борьба за господство в Европе, часть вторая".[2]

60 лет творческой жизни ученого вместили Версальскую систему и ее крах, вползание мира во Вторую мировую войну (вопреки всеобщему убеждению, что еще один военный конфликт невозможен), "холодную войну" от начала и до конца (на закате дней историка) ялтинского миропорядка, рост проблем ядерной политики, утрату Великобританией мирового лидерства.

В послевоенные годы Тейлор не без бравады подчеркивал не только свой научный традиционализм, но и "старомодность". Тем не менее, именно Тейлора после выхода его книги "Происхождение

---

[1] The Italian Problem in the European Diplomacy, 1847-1849 (1934); Germany's First Bid for Colonies. 1884-1885. A Move in Bismark's European Policy (1938); The Habsburg Monarchy, 1809-1908 (1941); The Course of German History (1945); Rumours of Wars (1952); The Struggle for Mastery in Europe (1954); Bismark, the Man and the Statesman (1955); The Troublemakers: Dissent over Foreign Policy, 1702-1939 (1957); The Origins of the Second World War 1939-1941 (1961); The First World War: An Illustrated History (1963); The English History 1914-1945 (1965); From Salerno to Potsdam (1966); Beaverbrook (1972); The Second World War. An Illustrated History (1975); Politicians, Socialism and Historians (1980); A Personal History (1983); How Wars End (1985).

[2] The Origins of the Second World War Reconsidered. The A.J.P.Taylor debate after twenty-five years (ed. M.Gordon). London, 1986, p.250.

второй мировой войны" считают историком, стимулировавшим наиболее острые, длительные и продуктивные споры в британской историографии 2-ой пол. XX века. Отметим, что чисто английское определение "самый провокативный и стимулирующий" историк (most provocative and stimulating), с которым согласны и жесткие оппоненты Тейлора, трудно адекватно перевести.

Тейлор - один из самых читаемых английских историков XX в. Он никогда не возводил жесткого барьера между наукой и ее популяризацией. Опыт журналистской работы, приобретенный им в 30-е гг. в "Манчестер Гардиан", помогал, по его собственному признанию, в работе над сугубо научными трудами. В 60-е гг. Тейлор появился на телеэкране с собственными циклами научно-популярных передач, и стал в этом смысле первым английским историком, "вхожим в каждый дом". Но наибольшую известность принесла ему книга "Происхождение второй мировой войны" (1961). Не так часто можно встретить юбилейные сборники, приуроченные не только к круглым датам автора, но к круглым датам выхода книги, с оценками итогов пятнадцати- и двадцатипятилетних дискуссий.[3]

***

Будущий историк вырос в доме, где живо интересовались политикой.[4] А.Дж.П.Тейлор родился в 1906 г. в Ланкашире в семье мелкого текстильного предпринимателя-квакера. Отец Тейлора придерживался социалистических убеждений и участвовал в рабочем движении, сначала как поклонник Ллойд-Джорджа, потом как член Независимой рабочей партии и профсоюзный активист. Мать тоже происходила из семьи, в которой культивировались традиции английского радикализма и гордились предком, убитым при Питерлоо. Она не только разделяла увлечение мужа политикой, но и сама сотрудничала с социалистами, а позже с местным отделением компартии. Ощущая себя потомственным диссидентом по обеим линиям, Тейлор, по его словам, никогда не испытывал ни малей-

---

[3] E.M.Robertson (ed.). The Origins of the Second World War: Historical Interpretations. London, 1971; W.R.Louis (ed.). The Origins of the Second World War: A.J.P.Taylor and his Critics. New York, 1972; A.Sked, Chr.Cooks (eds). Crisis and Controversy: Essays in Honour of A.J.P.Taylor. New York, 1976; M.Gordon (ed.). The Origins of the Second World War Reconsidered. The A.J.P.Taylor Debate after Twenty-Five Years. London, 1986. См. также специальный юбилейный номер журнала: Journal of Modern History, 1977, vol.49, N 1.

[4] Тейлор оставил много автобиографических заметок, опубликовал свои дневниковые записи, книгу мемуаров. См.: A.J.P.Taylor. Accident Prone, or What Happened Next. // Journal of Modern History, 1977, N 1, p.1-18: Idem. A Personal History. New York, 1983. В 90-е гг. появляются первые монографии о творчестве Тейлора. См.: R.Cole. A.J.P.Taylor: the Tractor within the Gates. L., 1993.

шего душевного дискомфорта, когда вступал в противоречие с общепринятыми или одобренными большинством взглядами. Эта психологическая особенность, достоинство-недостаток, вероятно, объясняет полнейшую невозмутимость Тейлора-историка перед лицом оппонентов любого калибра, его, далеко не всегда, разумеется, оправданное, равнодушие к критике. В квакерской школе мальчику растолковали, что бог в каждом человеке, и Тейлор на всю жизнь сформулировал основной постулат своего мировоззрения: "Я никого из людей не лучше, и ни один человек не лучше меня".

Поскольку Тейлор в молодости сотрудничал с компартией, всю жизнь сохранял репутацию человека левых взглядов и немало писал об исторических сюжетах, в которых страны с коммунистическими режимами и коммунистическое движение играли заметную роль, его собственные политические убеждения представляют определенный интерес. В Оксфорде он становится признанным оратором студенческого коммунистического клуба, сотрудничает с местным отделением компартии. После стачки 1926 г., в которой он принимал активное участие, Тейлор отходит от коммунистов. По его словам, последний толчок здесь дало исключение из партии Троцкого: он вовсе не был поклонником последнего и не вникал в суть борьбы в ВКП(б), но решил, что ему не подходит партия, которая выбрасывает из своих рядов энергичного и способного деятеля из-за расхождения во взглядах. Тейлор оставался левым, социалистом, лейбористом. В 76 лет (1982 г.) историк писал, что считает себя "лояльным членом лейбористской партии, который обычно не согласен с тем, что партия делает".[5] Бесспорно, Тейлор был человеком либерально-критических взглядов, но, по мнению многих, его радикализм был ближе всего к английскому радикализму XIX в. Сам Тейлор сформулировал свое собственное выстраданное отношение к коммунизму как политическому движению и мировоззрению следующим образом: "Тот, кто верит в ценность свободы, никогда не сможет искренне сотрудничать с коммунистами и доверять им; но тот, у кого социализм в крови, никогда не сможет осуждать коммунизм, не сделав оговорок. Вот дилемма нашего времени".[6]

Тейлор, любивший подчеркивать роль случайности даже в собственной научной биографии, утверждал, что стал историком дипломатии совершенно случайно. Но, конечно, в его становлении как ученого проявился дух эпохи, ее общие закономерности. В

---

[5] A.J.P.Taylor. A Diary // London Review of Books, 1982, v.4, N 6.
[6] Idem. Politicians, Socialism and Historiians. London, 1980, p.176.

Оксфордском университете в 20-е гг. курс истории практически завершался XVII веком. Тейлор вспоминал, что когда он дошел до "Славной революции", тьютор сказал ему: "Все остальное вы знаете из школьного курса". После Оксфорда Тейлор отправился в Вену (центр притяжения для левых либералов и социалистов), к известному специалисту по Английской революции А.Ф.Прибраму для работы над диссертацией о Кромвеле (достойная тема для молодого радикала). Но А.Ф.Прибрам, как и многие после 1919 г., переключился на изучение недавней дипломатической истории, англо-австрийских отношений. Тейлору было предложено заняться историей Европы XIX в., естественное поле деятельности для новичка. Изучать историю Европы XIX в., не будучи дипломатическим историком, было практически невозможно, а история дипломатии была связана с поисками рациональной основы, фактора стабильности системы государств и, разумеется, проникнута европоцентризмом.

Как ученый Тейлор формировался в 20-е гг.; интерес к проблемам войны, национализма, революции был более чем естественным: материальные и политические последствия мировой войны были непосредственно перед глазами. Габсбургская, Оттоманская, Российская империя исчезли, уступив место новым национальным государствам. Наиболее массовая, острая и серьезная дискуссия историков в 20-е гг. развернулась по вопросу об ответственности за развязывание "Великой войны" (Тейлор писал впоследствии, что был поражен отсутствием подобных споров после 1945 г., когда историки единодушно возложили всю вину на Гитлера).

В 20-е - 30-е гг. определились три основных объекта научных интересов Тейлора - Центральная Европа, дипломатия, новая история. Его особое внимание привлекали процессы образования и разрушения государств, национализм и империализм - две движущие силы эпохи, завершившейся глобальным конфликтом.

В методологических взглядах ученого, претерпевших довольно мало изменений на протяжении всей его научной деятельности, всегда прослеживалась связь с традицией XIX в., с пониманием истории дипломатии как истории договоров (напомним, что Тейлор принадлежал ко второму поколению британских историков дипломатии). В его работах неизменно присутствовала идея европейского "концерта" держав, при обязательном активном противодействии Великобритании преобладанию одной из них, и принцип "равновесия сил" как своего рода Lassez Faire международных отношений. Он четко проводил идею преемственности национально-государственных интересов. Тейлор использовал неоранкеанскую модель великого человека и национального государства как субъ-

ектов истории, но он никогда не рассматривал европейскую дипломатическую систему как пересечение личных мотивов или игру случая. В этом смысле внешняя политика представала как в значительной степени независимая от внутренней и вполне предсказуемая.

Второй важный компонент методологического подхода ученого - внимание к роли случайности в истории. На модель "великого человека" и "национального государства" наложилась идея особого характера политической истории Центральной Европы. "Историческая модель неоранкеанства была поставлена с ног на голову", - отмечает американский историк Дж.Бойер в статье о Тейлоре.[7] Из оптимистического линейного процесса эволюция превратилась для Германии в череду катастроф. Индивидуализированный субъект истории (человек, государство) сохранился, но его поведение оказалось подверженным вероятностному фактору, случаю.

Биографы довольно единодушно усматривают здесь влияние на Тейлора известного историка Л.Нэмира. Последний видел в политической истории как действие рациональных механизмов, так и случайных факторов, не только политически осознанные и сформулированные, но и скрытые, подсознательные мотивы, интересы, ценности. Сам Тейлор не любил, когда его называли учеником Нэмира, хотя высоко ценил этого выдающегося историка, с которым вместе работал в 30-е гг. в Манчестерском университете. Он принимал участие в ряде научных начинаний Нэмира, по его совету выбирал темы для первых монографий, ему посвятил свою книгу "Габсбургская монархия". Действительно, Тейлор выражал несогласие с таким методологическим принципом Нэмира как отрицание роли политических идей (поразительное у такого политически ангажированного человека, каким Нэмир, несомненно, являлся).

Уместно будет упомянуть здесь об отношении Тейлора к марксизму. Тейлор выступал против того, чтобы сводить международные конфликты к экономическим противоречиям, и разделял в этом смысле позицию французского историка Ренувена и его школы.[8] Он признавал роль экономического фактора как важной составляющей "баланса сил"; еще в своей первой монографии "Итальянский вопрос в европейской дипломатии" Тейлор писал о сравнительной индустриальной мощи государств в этой связи. Но в своих работах он обычно не углублялся в изучение экономиче-

---

[7] J.W.Boyer. A.J.P.Taylor, and the Art of Modern History // Journal of Modern History, 1977, N 1, p.42.

[8] См. рецензию Тейлора на VI том "Истории международных отношений" Ренувена: English Historical Review, 1956, April, p.345.

ских противоречий и их роли даже тогда, когда эта тема, казалось бы, лежала на поверхности. Однако, вне сферы собственных научных интересов он более чем охотно признавал, что историк не может обойтись без марксистских понятий классов и классовой борьбы.

Четыре работы, опубликованные Тейлором в 30-е годы, посвящены разным сюжетам, но их проблематика находилась в центре споров историков Европы: "Итальянский вопрос в европейской дипломатии" (1934), перевод и предисловие к книге Генриха Фриджанга "Борьба за преобладание в Германии 1859-1866 гг." (1935), "Первая заявка Германии на колонии" (1938), "Габсбургская монархия" (1941). Две последние книги появились в серии по новой истории Европы, издававшейся Л.Нэмиром. В этих книгах преобладает методологический консерватизм. Национальные государства подчиняются строгим правилам международных отношений. Роль непредвиденного, случайных факторов минимальна, только трактовка Пальмерстона и Бисмарка дает Тейлору возможность обозначить какие-то альтернативы. Тейлор придерживается статичной теории континуитета, идеализирует британскую дипломатию; о влиянии общественного мнения на проведение внешней политики только заявлено.

Впоследствии Тейлор писал о своих либеральных иллюзиях, которые не позволили ему в первых работах отчетливо сформулировать тезис о стремлении Германии к господству в Европе как о постоянно действовавшем факторе международных отношений. Действительно, Тейлор, разделявший настроения либеральной и левой европейской интеллигенции, считал версальское урегулирование несправедливым, отвергал приговор Германии как главной виновнице войны, сочувствовал "скептицизму и отчаянию" немецких историков.[9] В начале 30-х гг. Тейлор, блестящий преподаватель Манчестерского университета, возглавлял местный пацифистский клуб. Вполне понятно, что он не сознавал необходимости укрепления британской военной мощи. Тейлор выступал против политики перевооружения до сер. 30-х гг., так как боялся, что Великобритания выступит на стороне Германии против России. Когда антинацистские настроения Тейлора перевесили эти опасения, он отошел от политики. Тейлор писал позже, что стыдится университетских лекций, которые читал в Манчестере до марта 1936 г.,

[9] Об этом он писал в предисловии к собственному переводу книги Генриха Фриджанга: Heinrich Fridjung. The Struggle for Supremacy in Germany 1859-1866. London, 1935.

когда "германская реоккупация Рейнской зоны привела меня в чувство"[10], и он присоединился к коалиции "антиумиротворителей".

Отметим, что в работе 1938 г., в которой Тейлор делает вывод о присущем Германии стремлении доминировать в Европе, отсутствует агрессивная германофобия, покоробившая читателей Тейлора в его "Курсе германской истории", изданном в 1945 г. Анти-умиротворительный пафос книги 1938 г. нашел свое выражение в выводе о том, что нельзя вести переговоры с позиции слабости. Стремление Германии к господству в Европе не означало в глазах историков, что Германия обременена каким-то первородным грехом. Одни подчеркивали особенности ее исторического опыта: Тридцатилетняя война, Вестфальский мир и его длительные последствия, вмешательство во внутренние дела Германии, тормозившее ее национальное развитие. Другие подчеркивали роль географического фактора - срединное положение, отсутствие естественных и хорошо защищаемых границ, потребности в сильной армии. Тем не менее, как справедливо заметил американец Норман Рич[11], тезис о "неизбежности" германской угрозы, если даже и не порождал германофобские тенденции, то приводил к своеобразной аберрации зрения у историков. Они переставали замечать сходные проблемы у других обществ и игнорировали универсальные черты германского исторического опыта. Историки привыкали использовать двойной стандарт, и требовались значительные усилия, чтобы выправить историографическую ситуацию, как в этом убедился сам Тейлор после публикации "Происхождения второй мировой войны".

В 30-е гг. историки считали для себя обязательным нейтральный тон и неоднозначное отношение к национально-государственному строительству в Восточной и Центральной Европе. И хотя Тейлор позже с легким презрением отзывался о своих предвоенных либеральных взглядах, его работы 30-х гг. соответствовали тому уровню научной объективности, которого требовало академическое сообщество. Работа над первой монографией о Габсбургской монархии была завершена в 1939 г. Разумеется, в книге присутствовало несколько назидательное противопоставление Австрии прошлого и настоящего гитлеровской Германии. Но Тейлор был далек от упрощений в отношении Австро-Венгерской империи. Он проводил осторожное разграничение между империей как династией и матрицей политических и социальных институтов и империей - конгломератом бунтующих национальностей. Он на-

---

[10] A.J.P.Taylor. Accident Prone... p.7-8. См. J.W.Boyer. Op.cit., p.46.
[11] The Origins of the Second World War Reconsidered... p.176.

ходит среднюю линию между полным неприятием империи Л.Нэмира и ностальгической апологией А.Ф.Прибрама. Несмотря на влияние Массарика, Сеттона-Уотсона, Нэмира, Тейлор, хотя и признавал право наций на государственное самоопределение, сохранял сдержанный тон в отношении национальных движений. Историк не считал крушение монархии неизбежным, как это вытекало из теории катастроф. Неизбежным он считал лишь политический упадок империи, но отнюдь не ее распад в 1914 г. и рассматривал несколько возможных альтернатив в последней трети XIX в.

Как и многим другим англо-американским историкам или будущим историкам, Вторая мировая война принесла Тейлору моральное облегчение. "К удивлению и облегчению самих диссентеров, - пишет Дж.Бойер, - антигерманские предубеждения академического сообщества оказались оправданными. Наступила ясность, хотя и кажущаяся".[12] В отличие от многих коллег, Тейлор не занял официального поста в военно-пропагандистском аппарате. Как Л.Нэмир в I мировую войну, Тейлор подключился к различным начинаниям славянских национальных движений, выступал с лекциями в Чехословацком институте в Лондоне, доказывал моральную и политическую целесообразность создания свободного либерального чешского государства, писал памфлеты и статьи в поддержку притязаний Югославии на Триест. Если в начале первой мировой войны Сеттон-Уотсон, Стед, Массарик сталкивались с трудностями, а Нэмир писал свои пропагандистские работы в одиночестве и от отчаяния, то в 1939-1945 гг. политическое морализирование принималось публикой "на ура".

Казалось, что дело не за аргументацией, а только за исполнением вердикта историков. Тейлор отбросил оговорки, которые делал в первом издании "Габсбургской монархии". Монархия Габсбургов была объявлена орудием пангерманского империализма; Чехословакия изображалась как безупречное демократическое государство. В научной статье 1945 г. Тейлор модифицировал эту оценку, признав, что в Чехословацкой республике имелись серьезные национальные проблемы.[13] Идея возрождения наднационального политического сообщества в Восточной Европе (в 1935 г. Тейлор готов был признать целесообразность создания Дунайской федерации в том или ином виде) была отнесена к либеральным иллюзиям.

Поскольку идея многонационального региона в том виде, как это понималось до 1914 г., казалась полным анахронизмом, то

---

[12] J.W.Boyer. Op.cit., p.46; The Political Quarterly, 1945, N 16, p.234-246.
[13] J.W.Boyer. Op.cit., p.52-53.

лучшее, что, по мнению Тейлора, можно было ожидать от сербов и чехов как народов со своей государственностью, это навыков управления и такта. В 1945 г. Тейлор даже использовал термин "правящие народы" в славянофильском смысле. Вся аргументация (в сер. 1945 г.) строилась на прогнозе, что Советский Союз не заинтересован в попытках утвердить свое господство в Восточной Европе, так как его интересы направлены на Восток, и он стремится к безопасности, а не к господству. Отметим, что в конце 1940-х гг. Тейлор, сохранив прежние взгляды на Чехословакию, пересмотрел, как и Л.Нэмир, вопрос о праве на национально-государственное самоопределение. Тейлору пришлось как бы возродить Габсбургов для того, чтобы решать те проблемы, которые Габсбурги и пытались решить. Так, для Югославии, по его мнению, нужен был Тито, последний из Габсбургов, в надежде, что он уладит национальные противоречия южных славян.[14]

Политическое морализирование историков, казалось, встречало понимание публики, но "успех и послевоенное ожесточение лишили поколение Тейлора своей мирной конференции",[15] - пишет Дж.В.Бойер. В 1945 г. Тейлор опубликовал книгу "Курс германской истории". Творческие планы историка, как он всегда подчеркивал, определил случай. В 1944 г. он был приглашен прочесть ряд лекций для британской военной администрации, которой предстояло формировать британские оккупационные силы в послевоенной Германии. Лекции были выдержаны в крайнем антигерманском духе, аккумулировали "ценности и страсти 1940-го г. и подавленные эмоции конца 30-х". Они годились для целей антинацистской пропаганды, но в 1945-1946 гг. перед британским военным ведомством ставилась другая задача: нужно было перестраиваться и обращать пропагандистское острие против бывшего союзника, Германию же предстояло сделать частью "свободного мира". А Тейлор, заимствуя аргументы Нэмира о неизбежной попытке реванша через 15 лет, связывал надежды на мир с послевоенными союзническими отношениями с СССР. Он хотел в традиционной манере рассуждать об исторической вине, но руководители ведомства предпочли отказаться от его услуг, и историк был очень обижен.

"Курс германской истории", по общему мнению, худшая книга Тейлора. Не говоря о стиле и предвзятости, германская история рассматривается с позиций абсолютного детерминизма. Внешняя политика первична, предсказуема и постоянна; тезис о неизбежности германской угрозы в Европе доведен до логического конца.

---

[14] Ibid.
[15] Ibid., p.47.

2-е издание "Габсбургской монархии" (трактуемой теперь как орудие германского милитаризма) автор привел в соответствие со своим "Курсом германской истории". Отметим, что Тейлор впоследствии осуждал предвзятые и враждебные суждения об СССР, но сам проявил крайнюю предвзятость в отношении Германии.

Тейлор отмежевался от академического истеблишмента, принявшего правила "холодной войны". В 50-е гг. он продолжал проводить различия между Россией как суверенной державой с предсказуемой внешней политикой и коммунистическим режимом. Тема примирения с СССР занимала большое место в статьях и выступлениях Тейлора во время войны и отражала его предвоенные взгляды: и Тейлор, и Нэмир были активными сторонниками англо-русского союза в сер. 1939 г. Сильная и великодушная Россия, признающая сильную и свободную Чехословакию - так виделось Тейлору решение чешского вопроса.

Отметим, что благожелательное истолкование советской внешней политики было во многом связано с жестким барьером между внешней и внутренней политикой, и недооценкой роли политических идей (за которую сам историк критиковал Л.Нэмира и др.). Тейлор, например, выступал против недооценки антикоммунизма как побудительного мотива британской внешней политики, но, пытаясь преодолеть риторику и стереотипы "холодной войны", зашел слишком далеко, отрицая влияние идеологии на международные отношения.

"Я не питал ни малейших иллюзий относительно тирании и жестокости сталинского режима, - утверждал Тейлор в своих мемуарах. - Но я убедился в 30-е гг., что советское преобладание в Восточной Европе было единственной альтернативой преобладанию Германии, и я отдавал предпочтение советскому. Более того, - не без цинизма (вероятно, наигранного?) признавался историк, - я верил, что ситуация, когда восточноевропейские государства контролируются СССР, предпочтительнее той ситуации, которая сложилась в межвоенный период. Поэтому советское главенство в Восточной Европе в моих глазах не являлось злом".[16] Даже советская интервенция в Венгрии не поколебала этой позиции. Но конечно, скептик Тейлор не мог не видеть, в каком направлении развивалась советская политика в Восточной Европе, и это шокировало историка. Разочаровался он и в Тито. В 1961 г. Тейлор побывал в Будапеште, и, естественно, не испытал восторга от того, что увидел.

Тейлор признавал решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и ее союзников и не отказывался до самого

---

[16] A.J.P.Taylor. A Personal History. P.181,214,270-271.

конца от положительной оценки Ялтинских соглашений. Но все равно, со своим настойчивым требованием единого критерия в подходе к внешней политике СССР и стран Запада, он не попадал в нашей историографии в категорию прогрессивных историков. Ему отвели место среди историков "либерально-критического течения", которые под влиянием советской военно-исторической науки отказываются от стандартных антисоветских выпадов, но не ото всех "буржуазных домыслов". Любопытно, что в библиографии опубликованных источников к книге "Происхождение 2-й мировой войны" (1961) значилось: "Советская Россия - ничего нет", т.е. ни одной публикации, заслуживавшей с его точки зрения доверия.

В конце 40-х гг. расхождение Тейлора с академическим истеблишментом усилилось. Историк болезненно воспринимал рост американского влияния, смещение центра международных отношений на противостояние двух сверхдержав. Европейская история на глазах пережившего войну поколения превращалась в историю "европейского вопроса", а Тейлора привлекали времена, когда Европа определяла ход мировой истории. В 1954 г. вышла книга "Борьба за господство в Европе (1848-1918)"[17], в которой Тейлор показал в действии "концертную систему", а также фундаментальный сдвиг в балансе сил, наметившийся после 1918 г. Трактовка германской истории как динамичного элемента европейской политики не изменилась - рост, экспансия, стремление к господству в Европе - но Тейлор вернулся к академическому тону. "Концертная система" сдерживала амбиции Германии. После 1918 г. США самоустранились с европейской арены, Советская Россия оказалась в вынужденной изоляции; Великобритания осталась главным гарантом стабильности в Европе, но следовать традиционной политике стало чрезвычайно затруднительно.

В 50-е гг. Тейлор обратился и к жанру исторической биографии. Его героем стал Бисмарк. Впоследствии Тейлор писал, что каждый историк должен хотя бы раз написать биографическое исследование, чтобы почувствовать разницу между биографией и собственно историей. В биографии человек становится важнее хода событий, как и должно быть. Тейлор был противником излишней психологизмами истории. Он объяснял, что его скептическое отношение к фрейдизму усилилось, когда выяснилось, что Бисмарк (как и сам Тейлор), исходя из отношений в родительском доме,

---

[17] Книга была переведена на многие, в том числе восточноевропейские языки. В советском издании Тейлор обнаружил одну купюру: вместо слов "Вильсон был таким же утопистом, как и Ленин" осталось - "Вильсон был утопистом".

должен был вырасти не напористой, властной натурой, а безынициативным конформистом.

Из всех созданных им трудов сам Тейлор считал наиболее удачной книгу "Возмутители спокойствия" (Troublemakers), опубликованную в 1957 г. Книга представляла серию очерков о критиках официальной внешней политики Англии - о Кобдене, Брайте, Ллойд-Джордже, лорде Бивербруке. Будучи аутсайдером 50-х, принимавшим активное участие в безрезультатных попытках изменить британскую внешнюю политику (Движение за ядерное разоружение), Тейлор чувствовал особое сродство со своими героями. Даже Ллойд-Джордж, несомненно, любимец Тейлора, выглядит в его изображении политическим одиночкой.

Ностальгия по временам, когда Англия играла ведущую роль в мировой политике, желание осмыслить западногерманское "экономическое чудо" при уверенности Тейлора 50-х в неизбежности реваншистских устремлений Германии создали предпосылки для его обращения к предыстории второй мировой войны. Позиция аутсайдера, может быть, объясняет, почему именно традиционалисту Тейлору удалось написать книгу, создавшую прецедент отхода от стереотипов и клише, которые к началу 60-х гг. стали серьезной помехой для исследователей: единодушие историков относительно курса "умиротворения" и популярность идеи полного разрыва внешней политики "Третьего Рейха" с всей предшествовавшей историей страны.[18] В 1955-1960 гг. Тейлор оказался в известном смысле ближе к поколению "сердитых молодых людей", чем к своему. Для него, как и для "сердитой молодежи", была очевидна аморальность сложившейся системы международных отношений, а внешняя политика собственной страны (Суэцкая авантюра, проамериканизм) вызывала резко критическое отношение.

Политические взгляды Тейлора исключали возможность официального приглашения работать с закрытыми архивными фондами. Но начиная с 1945 г., не было ни одной английской или французской публикации дипломатических документов по войне, которую он обошел вниманием в своих регулярных обзорах. Заметим, что Тейлор также максимально использовал общение с таким осведомленным свидетелем и участником событий в верхних эшелонах власти, как знаменитый газетный магнат лорд Бивербрук. Впоследствии, отвечая на критику, Тейлор несколько самонадеянно заявил, что "попытался описать ход событий, каким бы он предстал перед неким будущим историком, получившим возможность

---

[18] Watt D.C. Appeasment. The Rise of a Revisionist School? - The Political Quarterly, 1965, N 36, p.91-213.

работать с архивными источниками".[19] Как известно, доступ ко всему комплексу документов, связанному с предысторией и историей второй мировой войны, был открыт в Англии исследователям значительно раньше, чем предполагалось.[20] За открытием архивов последовал источниковый бум, к которому прибавились многочисленные публикации личных документов и воспоминаний государственных деятелей (сделанные по горячим следам, если сравнить их с капитальными, но единообразными изданиями "Жизнь и письма такого-то" XIX - начала XX в.).

Тейлор всегда декларировал свое уважение к факту и источнику - "будущие историки" нашли в его книге много фактических неточностей и упущений. В США студенты на семинарских занятиях получали задание найти максимальное количество фактических ошибок в книге "Происхождение второй мировой войны". Владел ли Тейлор источниками? Доверимся авторитетному суждению английского историка Д.К.Уотта, видного специалиста в области истории международных отношений. По его мнению, среди дипломатических историков Тейлор является одним из двух непревзойденных знатоков опубликованных источников (второй - итальянский историк Марио Тоскано). В ситуации, когда количество доступных источников стало удваиваться каждый год, - пишет Д.К.Уотт, - любой выпускник, целеустремленно поработавший с определенным массивом документов три-четыре года, может стать лучшим знатоком свежих материалов. Преимуществ в овладении источниками, которые прежде давали историку возраст и опыт, больше нет.[21] Игнорируя по обыкновению критику, одно замечание в свой адрес Тейлор признал сразу. Название книги "Происхождение второй мировой войны" было неточным. Фактически речь в книге шла о европейской войне, начатой 1 сентября 1939 г. из-за Данцига и завершившейся в 1940 г. поражением англо-французской коалицией.

Самый ценный вклад Тейлора заключался не в том, что в его книге выдвигались новые концепции или приводились новые факты, а в новом взгляде на уже существующие концепции и известные факты. Книге Тейлора "Происхождение второй мировой войны"[22]

---

[19] The Origins... (1963 edn.), p.22.

[20] Лейбористское правительство в 1967 г. приняло закон, сокративший срок секретности с 50 до 30 лет. После этого для изучения был открыт государственный архивный фонд предыстории II мировой войны.

[21] Watt D.C. Soma Aspects of A.J.P.Taylor's Work... / Journal of Modern History, 1977, N 1, p.30.

[22] The Origins of the Second World War 1939-1941. Начиная с издания 1963 г, Тейлор включал в книгу свой ответ критикам: "Размышления задним числом" ("Second Thoughts").

и проблемам, в ней поднятым, посвящена такая обширная литература, что мы сочли возможным сосредоточиться на одном вопросе: как традиционализм Тейлора позволил ему провести "ревизию господствующих взглядов".

Неверно и непродуктивно для историков возлагать исключительно на Гитлера ответственность за развязывание второй мировой войны, как они единодушно сделали после 1945 г. В ретроспективен очевидно, что многие участники военного конфликта были виноваты в том, что случилось, а полностью невиновных не было. "Это история без героев, а может быть, даже без злодеев". Вот исходная предпосылка книги. Главный тезис Тейлора заключался в том, что объявление войны в сентябре 1939 г. было случайностью, в большей мере обусловленной ошибочными шагами "умиротворителей" и упорством поляков, чем собственными расчетами Гитлера. Последний блефовал, и общеевропейской войны не хотел. Обоснование этого тезиса потребовало трактовки внешней политики гитлеровской Германии с соответствующих позиций.

Центральная проблема для интерпретации внешней политики Германии, как ее формулирует Тейлор, сводится к следующему: была ли политика Гитлера реализацией долговременных целей, его стратегических и тактических установок, выработанных на перспективу, как считало большинство историков, или, как настаивал сам Тейлор, Гитлер был оппортунистом и импровизатором, который использовал стечение обстоятельств на международной арене и ошибки своих противников.

Книга Тейлора стала для многих историков дополнительным аргументом в дискуссиях о том, является ли внутренняя политика основой внешней или внешняя подчиняет себе внутреннюю. Но сам он обошел эти споры, решительно и полностью изолировав внешнюю политику Германии от внутренней политики Гитлера. Следуя принципу независимой внешней политики, который был проведен в работе 1961 г. жестче, чем в ранних трудах историка, Тейлор даже отказался признать какое-либо влияние национал-социализма на германскую дипломатию после 1933 г. (по доказательности один из самых уязвимых тезисов его книги). "Он (Гитлер - Д.М.) отдавал чудовищные приказы, беспрецедентные в истории цивилизации, которые немцы выполняли. Но с его внешней политикой дело обстояло по-другому", - пишет Тейлор.[23] Выступая против чрезмерной персонификации внешней политики, Тейлор настаивал на "дедемонизации" Гитлера и усматривал в его поведении на международной арене не только импровизацию, но и действия

[23] The Origins..., p.Xiv.

"реального политика". Гитлер был всего лишь одним из политиков Веймарского периода, твердо боровшихся против версальских пут; внешняя политика Гитлера тождественна политике его предшественников и органична для германского государственного деятеля. Эта трактовка базируется на старом, испытанном в прежних работах Тейлора тезисе о "естественной гегемонии" Германии в Европе (тезис, вызвавший резкое неприятие критиков в 1961 г. - год выхода книги и Берлинского кризиса).

Позиция Тейлора полемически заострена против историков, которые полагали, что лучший способ анализировать внешнюю политику Третьего Рейха состоит в том, чтобы изучить личность фюрера и его идеологические воззрения. Таким образом, с точки зрения Тейлора любой германский лидер на месте Гитлера стремился бы вновь сделать Германию великой державой. Характеризуя особенности политической стратегии Гитлера, Тейлор находит в ней постоянный блеф: Гитлер делал вид, что готовится к всеобщей войне. В действительности он меньше всего хотел глобальной, общеевропейской и вообще крупной войны. Он хотел получить плоды тотальной победы без тотальной войны. Но как произошло, что европейские державы-победительницы в первой мировой войне *дали* Германии настолько усилиться? Вот вопрос, который прежде всего интересовал Тейлора при работе над книгой. Переоценка германской внешней политики требовалась для переоценки политики Англии и Франции.

Лишив гитлеровскую Германию инициативы в развязывании войны в сентябре 1939 г., историк отвел ключевую роль своей собственной стране. Тейлор, противник Чемберлена от начала и до конца (!), решительно пересмотрел трактовку политики "умиротворения" как порочной и обанкротившейся стратегии и тактики уступок странам фашистской диктатуры. В изображении Тейлора политика "умиротворения" выглядела как " трагикомедия хороших намерений": целая серия шагов, каждый из которых был попыткой ослабить напряженность в Европе и которые в совокупности втянули Германию и страны Запада в войну, чего ни одна из сторон не хотела. Следующее замечание Тейлора шокировало критиков в 1961 г.: "Источники свидетельствуют, что Гитлер был вовлечен в войну, потому что он начал 29 августа дипломатический маневр, который следовало начать накануне, 28 августа".[24]

Тейлор вскрыл несостоятельность однозначной трактовки политики "умиротворения" (несмотря на довольно бурные на первых порах протесты , к прежним оценкам историки уже не верну-

[24] Ibid. (1961 edn.), p.278.

лись). Но для этого ему не только пришлось отказаться от противопоставления формирования внешней и внутренней политики, но и рассмотреть некоторые внутриполитические и идеологические (!) аспекты: пацифистские настроения и эволюцию британского общественного мнения, антикоммунистические предубеждения британского руководства. Удивительно, пишет выдающийся историк международных отношений П.Кеннеди, как много суждений и просто догадок Тейлора выдержали проверку временем.[25] Конечно, Тейлор писал дипломатическую историю и не разрабатывал внутренние аспекты специально: эту проблематику предстояло осваивать историкам новой, "ревизионистской" волны.

Реплики типа "Мюнхен был триумфом для всего лучшего и наиболее просвещенного в британской политике" озадачивали рядового читателя и выводили из себя представителей ортодоксальной точки зрения (которой, напомним, долго придерживался отступник Тейлор). Но Тейлор был далек от апологии Мюнхенского сговора и имел в виду лишь мотивы "умиротворителей". Он сохранял весьма критическое отношение к политике английского правительства и не считал ее эффективной. Рассматривая историю захвата Австрии и Чехословакии, Тейлор с сарказмом замечал, что "Чемберлен решил действовать первым и удовлетворять требования Гитлера еще до того, как он их предъявит".[26] Влияние общественного мнения Тейлор тоже оценивал не только со знаком "плюс". Всеобщая уверенность в искусственности Версальского договора помешала адекватно отреагировать на ремилитаризацию Германии. Общественная активность, как и пассивное миролюбие, не всегда приносили желаемые плоды. Сопоставляя "героические" настроения англичан в сентябре 1939 г. и их уступчивость в дни Мюнхенского соглашения, Тейлор задавал читателю вопрос, кем оказалось лучше быть: "преданным" чехом или "спасаемым" поляком.[27] Правда, интенсивное изучение общественного мнения предвоенных десятилетий развернулось во 2-й пол. 60-х - 70-х гг., и последнее оказалось гораздо более противоречивым, чем представлялось Тейлору.

После выхода книги автор подвергся ожесточенной критике (самый мощный критический залп был сделан в правом журнале "Инкаунтер" видным английским историком, участником войны Х. Тревор-Ропером).[28] Тейлора критиковали за узко дипломатический

---

[25] The Origins of the Second World War Reconsidered... P.150-157.

[26] A.J.P.Taylor. The Second World War. London, 1975, p.31.

[27] "Second thoughts"... (1964 edn.), p.26.

[28] См. Encounter, July 1961; Times Literary Supplement, 1961, April 21, May 12, 26, June 2, 9. Наиболее обстоятельную критическую рецензию до источникого бума

подход к событиям, за то, что его выводы и предположения не базировались на детальных исследованиях (которые, напомним, стали делом двух предстоящих десятилетий). Его упрекали за моральный релятивизм, подозревали едва ли не в намерении реабилитировать Гитлера, в том, что он любой ценой стремится поразить воображение читателя. На непривычную по эмоциональному накалу критику Тейлор реагировал с обычной невозмутимостью. Он заявлял, что и не собирался выходить за рамки дипломатической истории.[29] В действительности, конечно, Тейлор расширил предмет исследований; политика "умиротворения" стала одним из первых сюжетов в историографии британской внешней политики, который потребовал не только изучения на разных уровнях (мотивы, реалии - экономические, военные, внутриполитические), но и нового синтеза, чтобы объяснить принятие решений и их последствия.[30]

Что касается права историка на предварительные обобщения и предположения, то по справедливому, на наш взгляд, замечанию Д.К.Уотта, критики Тейлора, особенно в США, "исходили из романтических представлений об исчерпывающей монографии, которая должна явиться плодом коллективных усилий". Следует также помнить, что консенсус историков относительно начала II мировой войны был связан с идеологическими и психологическими табу "холодной войны". Бесцеремонно нарушив их все, Тейлор открыл дорогу равноправным дискуссиям сторонников разных точек зрения. Для германистов, конечно, большее значение имела книга Фрица Фишера, вышедшая в том же 1961 г. и немедленно высоко оцененная Тейлором. Дискуссия вокруг работ Фишера[31] и его учеников, по свидетельству германского историка международных отношений Х.Духхарда, началась как стандартная политологическая дискуссия, но переросла в обсуждение всех сторон истории германского общества в их связи с германской внешней политикой.[32]

Отрицание Тейлором связи национал-социалистических воззрений Гитлера с гитлеровской дипломатией после 1933 г. оказалось наиболее уязвимым звеном его книги, так как это противоречит свидетельствам не только 30-х, но и 20-х гг. Подводя итоги

см.: Mason T.W. Some Origins of the Second World War // Past and Present, 1964, N 29, p.67-87.

[29] Personal History, p.234.

[30] См. об этом В.В.Согрин, Г.И.Зверева, Л.П.Репина. Современная историография Великобритании. М., 1991, с.218-220.

[31] Один из сборников, изданных Фрицем Фишером, носил длинное, но характерное название: "Гитлер не был случайной катастрофой".

[32] Х.Духхард. Ренессанс политической истории в 1980-х гг. В кн.: Политическая история на пороге XXI века. М., 1995, с.34.

многолетним обсуждениям, английский историк П.Джекел справедливо заметил, что редко в истории какой-либо деятель до прихода к власти так часто и определенно высказывался о планах, которые затем проводил в жизнь, утвердившись у власти, как Гитлер.[33] Тем не менее под влиянием книги Тейлора многие историки германской внешней политики признали, что политика Гитлера на международной арене во многом действительно была импровизированной и приспособленческой (оппортунистической). Соотношение планов и импровизации - этот вопрос с каждым новым массивом источников и изменением в методологическом ракурсе неизменно оказывался в центре внимания историков.

Отвечая на обвинения в обелении "умиротворителей" и идеализации Гитлера, Тейлор писал, что сам он никогда не сможет забыть, что Гитлер был негодяем, и что он, Тейлор, при аналогичных обстоятельствах вновь стал бы твердым противником политики "умиротворения", но в его книге не обсуждается вопрос, как должно было вести себя в нравственном плане. Тейлор в свою очередь упрекал критиков за то, что они не умеют отделить констатацию положения дел от рассуждений о том, как они должны были обстоять. Тейлор назидательно заявлял коллегам и читателям, что "историк не должен колебаться, даже если его работы послужат поддержкой и доставят чувство комфорта врагам королевы или даже общим врагам рода человеческого".[34] Впрочем, таким испытаниям книга и ее автор не подверглись. Что касается советских историков, то они хоть и ссылались на работу Тейлора, но, конечно, не подняли ее на щит, обнаружив "привычные антисоветские измышления".

В 1975 г. в изданной Тейлором книге "Вторая мировая война. Иллюстрированная история", над которой он, по собственному признанию, работал 30 лет, историк внес коррективы в свою позицию по некоторым вопросам. Его вывод о том, что "английские гарантии Польше прямо привели к началу войны в Европе, Гитлера ими не остановили, а спровоцировали"[35], остался без изменений. Но тезис относительно "локальных" планов Гитлера он пересмотрел. "Его (Гитлера - *Д.М.*) цель, - пишет Тейлор, - была без сомнения ясна: превратить Германию в мировую державу".[36] Рассуждая о характере войны, Тейлор на этот раз отметил, что она явилась "войной идеологий". "Немцы по убеждению воевали за национал-

---

[33] The Origins of the Second World War Reconsidered... p.180.
[34] Journal of Modern History, 1977, N 1, p.36.
[35] A.J.P.Taylor. The Second World War. London, 1975, p.33.
[36] Ibid., p.25.

социализм... Противники Германии менее убежденно воевали за то, чтобы уничтожить все, что связано с национал-социализмом".[37]

В дальнейшем Тейлор постоянно публиковал рецензии и обзоры новых книг и документальных публикаций по истории второй мировой войны. Принадлежавший к поколению победителей, он крайне негативно воспринял набиравшую с конца 70-х гг. сторонников точку зрения, согласно которой демократические страны проиграли войну, когда заключили ялтинские соглашения. Шло последнее десятилетие "ялтинского миропорядка", и молодым коллегам Тейлора предстояло лично убедиться, что "незыблемая" система международных отношений преходяща.

Когда Тейлор предложил на суд специалистов и читателей "Английскую историю 1914-1945" (1965), многие были удивлены. Но хотя сам заказ на один из томов "Оксфордской истории Англии" был, как подчеркивает Тейлор, обычной в его жизни случайностью, уход Тейлора из истории дипломатии и обращение к истории Великобритании были вполне закономерны. Так или иначе, его по-настоящему интересовали лишь те исторические процессы и события, в которых Англия играла самостоятельную и центральную роль. Он оставался по сути сторонником "Малой Англии" (Little England), как она понималась в XIX в. Не случайно Тейлор выступал и против принятия плана Маршалла и против вступления в Общий рынок; ему импонировали изоляционистские взгляды Бивербрука.

Тейлор не без гордости (может быть, законной) писал, что в рецензии на "Английскую историю" Макс Белофф назвал его "популистским" историком.[38] Во введении к книге Тейлор утверждал, что даже в XX веке народные массы действительно творили историю в редкие моменты, но едва ли это сделало их счастливее. Вступая в противоречие с собственным широким, едва ли не на уровне радикальной историографии пониманием сферы политического, в своей исследовательской практике он его не реализует, а как автор скорее от него отталкивается. Во введении к "Происхождению II мировой войны" Тейлор как бы от лица народа как субъекта истории определяет цель политической деятельности как "обеспечение мира и процветания", задача, с которой не справился ни один государственный деятель, хотя и по разным причинам. В своей работе 1975 г. он провозглашает, что вторая мировая война "по праву называется народной войной", но тут же оговаривается, что ее особенность состояла в том, что "государственные

---

[37] Ibid., p.21.
[38] Origins (1961 edn.), p.17.

деятели шли впереди, а народы лишь следовали за ними". Даже "командный состав вооруженных сил, генералы, - заявляет он, - по существу были администраторами... Значение имели только политические лидеры".[39]

Конечно, такие эпатирующие высказывания, как "события происходят потому, что они происходят", не отражали позиции Тейлора в вопросе о причинно-следственных связях в истории. Невозможно также согласиться с теми историографами, которые приписывают Тейлору принадлежность к особому направлению - акцидентальной истории, - ставящему своей задачей "пересмотр устойчивых представлений о причинах известных событий с целью доказать абсолютную случайность их происхождения".[40] Отвечая на упреки по поводу нежелания (или неспособности) раскрыть "глубинные силы" и "фундаментальные причины" (Forces profonde - это понятие, введенное в оборот выдающимся французским историком международных отношений П.Ренувеном)[41], Тейлор писал о том, что историки, конечно же, должны исследовать фундаментальные факторы, но рассуждения о глубинных процессах нередко скрывают нежелание изучать непосредственные причины событий. Не без лукавства Тейлор признавался, что "старомоден" и предпочитает детальное исследование обобщениям (в работах Тейлора обобщений много, а в пренебрежении к деталям его нередко упрекали). "Как Геринг при слове "культура", я хватаюсь за пистолет, когда мне предлагают философию истории", - писал Тейлор в рецензии на книгу Э.Карра "Что такое история".[42] Но тут же он добавлял, что бывают исключения (к которым относится рецензируемый автор), когда об основах своего ремесла размышляет практикующий историк. Рассмотрим все же чуть подробнее некоторые методологические и теоретические установки Тейлора-историка.

Тейлор писал все свои работы в жанре нарратива и претендовал на воссоздание исторических событий, "как они происходили". При этом он не без гордости, может быть, преувеличенной, заявлял, что обязательный для историка отказ от оценочных суждений не представлял для него (нередко современника!) ни малейшей субъективной трудности. Единственная трудность, которую Тейлор, по своему собственному признанию, испытывал - та, о которой говорил Мэтланд: историку очень трудно отрешиться от

---

[39] The Second World War..., p.21-22.

[40] См. Thesis, 1994, N 5, p.169-170.

[41] См. Э.Урибес Санчес. Современная французская историография происхождения первой мировой войны (методология и проблематика). В кн.: Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994, с.33-34.

[42] Politicians, Socialism and Historians, p.148.

знания последствий, которых участники событий знать не могли, представить, что то, что относится к прошлому, когда-то было отдаленным или не столь отдаленным (проблематика Тейлора) будущим. Проблема исторического повествования, по Тейлору, обманчиво проста: изложение без оценки. Историк не должен рассматривать вопрос, что можно или нужно было делать. Иначе ему не избежать бесполезных рассуждений на тему "что было бы, если бы", как повернулась бы история. Но отказ от обсуждения возможных альтернатив, пусть и с самыми хорошими намерениями (максимальная объективность) может привести к противоположным результатам. Если повествование исключает анализ сколько-нибудь реалистичных альтернатив, тогда историк не несет никакой ответственности за нарисованное им историческое полотно. Без такой самопроверки уверенный в собственном беспристрастии историк (а Тейлор, как отмечалось, такой счастливой уверенностью обладал в полной мере) легко нарушает границы между объяснением и оценочным суждением (так, в "Происхождении II мировой войны" Тейлор объясняет, в чем заблуждались британцы, французы и т.п.). Отметим, что, как и во многих других случаях, традиционалист Тейлор оказывается здесь в эпицентре споров о позиции историка как "независимого наблюдателя". Впрочем, реакция Тейлора на аргументы критиков как всегда заключалась в великодушном пожелании, чтобы они писали работы по-своему, и скромных, но твердых заверениях, что сам он продолжит писать по-своему.

Тейлор никогда не признавал за историей прогностическую функцию. Изучение истории дает возможность понимать прошлое, да и это, с точки зрения Тейлора, едва ли не чрезмерная претензия, учитывая тонкую грань, отделяющую историческую науку от исторического повествования как области литературы. Почему знание того, откуда я пришел, должно мне что-нибудь говорить о том, куда я направляюсь, - аргументировал Тейлор. Считается, что знание истории позволяет предвидеть будущее, но никакими фактами это не подтверждается. Ни в роли политиков, ни в качестве обычных граждан историки не отличаются особой мудростью, чутьем или здравомыслием, скорее наоборот (этот довод иллюстрируется примерами таких известных политически ангажированных историков, как Р.Тоуни, Г.Коул, Л.Нэмир). Еще одна слабая сторона историков в столкновении с политической реальностью является, по мысли Тейлора, продолжением их профессиональных достоинств. Историки прекрасно знают, что категории, с которыми они работают - эпоха, класс, нация, вероисповедание, идеология - это всего лишь аналитические инструменты. Историк не может обойтись без этих условностей и на практике легко забывает, что они его изобрете-

ние. Не удивительно, что историки часто оказывались во главе национальных или классовых движений. "Национализм зарождается не в сельских поселках, а в академических аудиториях".

Как всегда, Тейлор обращается к собственному опыту, и можно заметить, что его жизнь и публицистическая деятельность дают массу блестящих примеров несостоятельности историка, который использует "уроки прошлого" для прогнозов. Это относится и к истории дипломатии и военной истории. "Война научила меня, что попытки извлечь уроки из истории являются почти безрезультатными. В 40-е гг. я был уверен, что Германия не решится оккупировать Англию, потому что по аналогии с Бонапартом в 1798 г. считал, что это отвлекающий маневр перед высадкой на Ближнем Востоке".[43] Во время Суэцкого кризиса Тейлор, по его словам, был уверен, что критики британской внешней политики пройдут через полосу общественной враждебности, преследований, может быть, вплоть до тюремного заключения. В разгар Кампании за ядерное разоружение Тейлор верил, что весь мир будет потрясен, если Англия откажется от ядерного оружия (это "был последний всплеск имперского величия", - отметит он впоследствии). Тейлор и Нэмир пришли к выводу, что мир длится обычно 15 лет, а потом страна, потерпевшая поражение, непременно добивается реванша. Когда этот прогноз не сработал в отношении Германии после второй мировой войны, Тейлор сделал столь же "точный" прогноз, что Германия вообще больше не будет играть заметной роли на международной арене.

Когда-то Дизраэли назвал лучшим удовольствием государственного человека сознание противоположности между действительным ходом событий и тем представлением, которое о них себе создают посторонние люди. Что касается историка Тейлора, то его излюбленный эвристический (и литературный) прием - прослеживать, как "стихийный" исторический процесс перечеркивает планы, прогнозы, схемы, расчеты политиков, особенно в высших эшелонах власти. История *неизбежно* преподносит свои сюрпризы. Когда Тейлор берется восстанавливать причины второй мировой войны, он обнаруживает, что лидеры на поверку плелись в хвосте событий, а отвлеченные идеологические принципы наполнялись реалистическим содержанием. Ход событий не следовал никаким прецедентам. "Гитлер всегда хотел перевернуть мир вверх дном. Он это сделал, но не в свою пользу".[44] События были взаимосвязаны, но нарастали хаотически. В ретроспективе конфликт между державами, более

---

[43] Accident Prone... P.9.
[44] The Second World War. P.97.

или менее удовлетворенными своим положением и жаждущими свое положение изменить, был неизбежен. Тейлор даже считает, что нет точной даты начала II мировой войны, так как она постепенно разрасталась из малых войн.

Война, с точки зрения Тейлора, была "величайшей импровизацией". Никто не мог предугадать ее характера. Стратегия, тактика, применение оружия - все было новым, неожиданным. "Кто мог предусмотреть, - пишет Тейлор, - что решающие битвы мировой войны будут вестись в Сталинграде. у острова Мидуэй, Эль Аламейа и Кана". По мнению Тейлора, исходя из опыта первой мировой войны, ни Гитлер, ни японские милитаристы не планировали войны в мировом масштабе, так как знали, что она их же и уничтожит. Но это не значит, что они стремились к миру. Они рассчитывали на нежелание мировых держав ввязываться в войну и преуспели в этом. Таким образом попытки политиков извлечь уроки из первой мировой войны привели к непредвиденным, едва ли не к обратным результатам. Но Тейлор вообще не считает умение извлекать уроки из прошлого достоинством политика. Что касается исторических аналогий, то они пригодны лишь для того, чтобы вводить политического деятеля в заблуждение. Критикуя польское эмигрантское правительство, Тейлор пишет, что его деятели рассчитывали на повторение чуда 1918 г. и надеялись, что "Германия потерпит поражение, а Россия не победит".[45]

В традиционной для дипломатического историка манере Тейлор рассматривает главным образом процесс принятия решений относительно узкой группой лиц. Даже интерес государственного деятеля к удержанию и укреплению собственной власти практически остается вне его поля зрения. Если уроки истории для политических лидеров практически бесполезны, а любую программу непредвиденный ход событий в конечном счете сводит на нет, не означает ли это умаления роли личности? И чем же тогда является акт выбора политика: лежит ли он в сфере осознанного замысла или относится к воле обстоятельств? Разумеется, Тейлора трудно заподозрить в недооценке роли личности. Обман, недопонимание, случайное, непредсказуемое, элементы детектива, поведение актеров исторической драмы в условиях неопределенности и стресса - все это присутствует в его работах по дипломатической истории. Политическое решение является функцией ситуации, возникает на фоне конкретных и объективных сил. Но ни одно политическое решение не возникает автоматически, а всегда как творчество определенного политического субъекта. Он не только точка пере-

[45] Ibid., p.186.

сечения интересов и сил; он тот, кто их отражает, интерпретирует, учитывает.

Любимые герои Тейлора - критики британского внешнеполитического истеблишмента и аутсайдеры. Тейлор-демократ неодобрительно относится к Черчиллю, но высоко оценивает его решительность и способность идти против течения. В книге "Возмутители спокойствия" Тейлор показывает, как быстро могут менять политический имидж государственные деятели, когда они оказываются у власти, как редко люди даже с ярким политическим прошлым испытывают подлинную потребность в преемственности и последовательности. В этом отношении для него и Гитлер как все, и отсюда логически вытекает, что "Майн Кампф" - не программа будущего лидера, а бессодержательная самореклама. Собственный опыт активного участия в кампании за ядерное разоружение в конце 50-х - 60-х гг. Тейлор тоже привлекает как аргумент: "Массовые митинги приводят в состояние опьянения и аудиторию, и оратора. Как после успешной речи в Палате Общин, вы воображаете, что чего-то достигли, когда 4 тыс. человек слушают вас, охваченные энтузиазмом". Отсюда следует, что "политик не в состоянии оставаться полностью здравомыслящим человеком".[46]

Тейлор признает, что история адаптирует сделанный политиком выбор, если тот соответствует ее внутренней логике. Для Тейлора это преимущественно "баланс сил" и сдвиги в "балансе сил". Но между этими двумя уровнями изменений в исторической реальности умещаются многие факторы, которые Тейлор хотя и признает, но безо всяких оснований отодвигает на задний план, даже политическую систему, в условиях которой принимается решение. Самые благожелательные критики отмечали, что в своих поздних работах, как и в довоенных, Тейлор использует крайне упрощенную модель формирования внешней политики. Франция, Германия, Лондон, Рим, Форин Оффис - вот политические субъекты. Роль советников, военных экспертов, внутрипарламентских коллизий, Британского казначейства, противоречий в государственном руководстве априорно признается малосущественной. Историк придает так же мало значения политическим структурам в 30-е гг. XX в., как если бы писал о середине XVIII в., которой занимался Л.Нэмир. Рассматривая государственных деятелей как одиночек, Тейлор даже делает шаг назад по сравнению с Нэмиром, видевшим в каждом политике члена определенной социальной группы.

---

[46] Accident Prone... P.13.

Тейлор, до глубокой старости водивший автомобиль, любил использовать следующую аналогию: с его точки зрения, войны очень напоминают дорожные происшествия. Последние имеют общие причины (климат, качество дорожного покрытия) - как "англоцентрист", водитель Тейлор не думал о возможных ухабах, ямах и т.п. - и непосредственные причины. Дорожная полиция и суды не принимают во внимание причины общего характера. Как и историки, они должны доискиваться до непосредственных причин столкновения. И хотя Тейлор писал, что общие и конкретные причины дополняют друг друга, нетрудно увидеть, что аналогия подразумевает максимальное разграничение непосредственных и долгосрочных факторов, дает установку на их изолированное рассмотрение. Сам Тейлор оказался слишком консервативен, чтобы искать промежуточные звенья. Но потребность в исследовании международных отношений и внешней политики на разных уровнях сделалась столь наглядной, что уже к началу 80-х гг. новый подход стал общепринятым у историков внешней политики.

***

В 60-е -70-е гг. история дипломатии и международных отношений, внешней политики подвергалась нападкам как "история элиты" и средоточие "ненаучных подходов". Разумеется, то обстоятельство, что целое поколение историков внешней политики не оказалось потерянным, заслуга не только Тейлора, но его работы и выступления несомненно сыграли свою роль.

В последние десятилетия методология изучения внешней политики интенсивно развивается. Но какие бы изменения она ни претерпевала, проблема принятия решений остается квинтэссенцией взаимодействия различных факторов внешнеполитического процесса. Без анализа событий и изучения кратковременных периодов - кризисов, катастроф, революций, войн, целостный подход к истории невозможен. Историк-традиционалист, Тейлор ревностно отстаивал автономию исторической науки, заботился о ее престиже. Он считал, что история увлекательное занятие и сумел убедить в этом очень многих.



Ю.Л.Бессмертный

ИЗМЕНЧИВОЕ ВИДЕНИЕ ПРОШЛОГО: К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ ЖОРЖА ДЮБИ

Кому из историков-професионалов не приходилось слышать упреки в непостоянстве наших воззрений на прошлое? Нет, пожалуй, ничего более обычного в разговорах дилетантов, чем высказывания о конъюнктурности всех исторических суждений, их прямой связи с "социальным заказом" современности и "ненаучности" истории вообще. Увы, мы далеко не всегда умеем объяснить интересующимся читателям принципиальное различие между дешевым приспособленчеством некоторых наших коллег по цеху, вызывающим острое возмущение в нашей собственной среде, и неизбежной сменной научных парадигм, свидетельствующей о животворной силе и поступательном движении исторического знания. Еще реже осмысливается своеобразие истории по сравнению с точными науками, своеобразие, давно замеченное специалистами, но оцениваемое далеко не однозначно.[1] Прояснению природы исторического знания и пониманию изменений в нашем видении прошлого могло бы, на мой взгляд, помочь ознакомление с эволюцией воззрений многих серьезных ученых, в частности, Жоржа Дюби - одного из самых известных современных французских историков.

Ж.Дюби родился в 1919 г. в Париже, в 1944 г. окончил университет в Лионе и уже в 1952 г. - 33 лет отроду - защитил в Сорбонне докторскую диссертацию ("Социальный строй общества в области Маконэ в XI-XII вв."), принесшую ему известность и уважение коллег. С тех пор Дюби опубликовал более двух десятков книг и сотни статей.[2] Под его руководством вышли капитальные многотомные труды по общим и специальным проблемам ис-

---

[1] Имею в виду дискуссии, начатые еще во времена Г.Риккерта и вновь возобновляющиеся на каждом новом витке споров о познании прошлого - см. обзор некоторых дискуссий в: O.G.Oexle. Marc Bloch et la critique de la raison historique // M.Bloch aujourd'hui. P., 1990, а также в моей статье: "Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории" // Одиссей-1995.

[2] Библиография основных работ Ж.Дюби, вышедших до 1990 г., см. в моем разделе Предисловия к реферативному сборнику "Культура и общество в средние века", М., 1982, с.33-34, а также в главе 4 книги А.Я.Гуревича "Исторический синтез и Школа "Анналов"". М., 1993. В нижеследующем тексте цитируются, кроме того, работы последних лет: "L'Histoire continue" (Paris, 1991), сокращенно: HC; "Passions communes. Entretiens Georges Duby et Bronislaw Geremek avec Philippe Sainteny" (Paris, 1992), сокращенно: P; "Dames du XII-e siecle", сокращенно: D (Paris, 1995).

тории.[3] Практически все работы Дюби не раз переводились за рубежами Франции, в том числе и в России.[4] Ни одна из книг Дюби не залеживалась на полках, пользуясь редкостным спросом. Переиздания следовали (и следуют) друг за другом. И все это несмотря на то, что труды Дюби - отнюдь не легкое "чтиво" и требуют напряженной работы мысли. Дюби избран членом едва ли не всех европейских академий (исключая, как водится, российскую). Более двадцати лет он проработал профессором самого престижного и знаменитого научного учреждения Франции - Коллеж де Франс. И хотя в этом заведении нет вообще постоянных студентов и не выдаются никакие дипломы, чтобы найти на его лекциях (читавшихся в самой большой аудитории Коллежа) место для сидения, неизменно приходилось являться за полтора часа-час до начала.

Все это тем более могло бы показаться удивительным, что предмет специальных интересов Дюби - далекое средневековье: подробнее всего исследует он время, отстоящее от нас на семь-девять столетий. Чем же вызван столь постоянный интерес широкой публики к его изысканиям?[5] В основе этого интереса лежит, на мой взгляд, прежде всего умение найти, раскрыть и осмыслить в исследуемом прошлом аспекты, волнующие нашего современника. Речь не идет, естественно, о каких бы то ни было простых аллюзиях. Ведь тяга к истории возникает в людской душе как отзвук на осознанную или неосознанную потребность в самопознании. Без размышления над тем, кто мы и зачем явились в этот мир, не может обойтись ни одна мыслящая личность. И именно историк, способный дать материал о тех "Других", что предшествовали нам, востребуется таковой личностью в первую очередь. Быть таким историком очень непросто. Чтобы верно определить, какие именно из аспектов прошлого наиболее важны сегодня для самопознания современников, чтобы суметь эти аспекты выявить и осмыслить с учетом наших исканий и дум - для этого нужны не только умение слышать пульс современности, не только специальные знания, не только способность к углубленной рефлексии над собственными наблюдениями; нужен еще и божий дар - талант. Именно его печать лежит на всем творчестве Жоржа Дюби.

---

[3] L'Histoire de la France rurale, 4 vol (P., 1975); L'Histoire de la France urbaine, 5 vol (P., 1980); L'Histoire de France (P., 1982); L'Histoire de la vie privée, 5 vol (P., 1985); L'Histoire des Femmes, 5 vol (P., 1991) etc.

[4] Ж.Дюби. Европа в средние века. Смоленск, 1994.

[5] Я не касаюсь здесь пристального внимания к творчеству Дюби со стороны специалистов: все его книги многократно рецензировались; ряд авторов посвятил Дюби специальные исследования: помимо уже цитированного А.Я.Гуревича упомяну Жака Легоффа, Отто Г.Оксле, П.Бурдье, Р.Хилтона, М.Годелье, А.Безансона, М.Сера и др.

Присмотримся внимательнее к проблемам, поднимавшимся им, к подходам, которые он использовал, и к их постепенному изменению. Сделать это до известной степени облегчает то обстоятельство, что Дюби не раз на протяжении своей жизни как бы оборачивался назад, подвергая анализу пройденный им этап. Всякий раз такой самоанализ включал раздумье над коренными проблемами ремесла историка - над мерой объективности исторического знания, над постижимостью прошлого, над ролью исследователя в его воспроизведении и мн. др. Было бы наивным не замечать субъективности самих этих раздумий. Поэтому они в одно и то же время и обнажают, и камуфлируют особенности исследовательской практики Дюби. Тем не менее, особый интерес подобных его работ не вызывает сомнений.[6]

Как пишет сам Дюби, в 40-50-е гг., когда он начинал свои исследования, среди французских историков считалось хорошим тоном пользоваться марксистскими понятиями, отдавать приоритет экономической проблематике, уделять особое внимание трудящимся массам. Да и как могло быть иначе, замечает Дюби, после только что закончившейся войны против фашизма, после успехов левых сил во Франции и в Европе в целом, после триумфа Красной Армии?[7] Стоит ли удивляться, что идея неуклонного социального прогресса - эта, по выражению Дюби, "стародавняя" европейская идея, получившая распространение чуть ли не с XII в. - принималась как данность?[8]

Главным сюжетом исторических исследований Дюби в 40-50-е гг. был экономический аспект общественного развития, тот самый сюжет, что не мог не поглощать мысли и чаяния людей послевоенной Европы, измученных разрухой, озабоченных экономической реконструкцией и в то же время исполненных надежд на решение всех своих проблем на основе прогресса науки, техники, экономики. Дюби начал с исследования истории деревни в одной из областей Бургундии - Маконнэ. Отвергая укоренившуюся традицию преимущественного внимания к "выдающимся" персонажам - "князьям, прелатам, генералам или банкирам" - традицию, подвергнувшуюся острой критике уже в довоенный период со стороны знаменитой школы "Анналов" (к которой Дюби испытывал приверженность еще со студенческой скамьи), - наш историк сознательно взял курс на историю простого человека, крестьянина или воина, на изучение их жизни в неразрывной связи с конкретной

---

[6] Такие работы Дюби, как "Dialogues", "Histoire continue", "Passions communes" с полным основанием можно считать аналогом "Апологии истории" Марка Блока.

[7] P, p.25 et suiv.

[8] HC, p.106.

природной средой, в которую они были вписаны и от которой в очень многом зависели. То была история масс, история того, что - mutatis mutandis - повторялось из года в год и потому приобретало в глазах исследователя характер типичного и закономерного.

Вписываясь в этом смысле в господствовавшую во Франции тех лет историографическую тенденцию, Дюби однако с самого начала избирает особый исследовательский ракурс: в центре его внимания оказываются не столько агрикультура, севообороты, урожайность или иные, так сказать, "безлюдные" феномены, сколько связь и взаимозависимость между, с одной стороны, социально-экономическими характеристиками тех или иных людских групп, а с другой стороны, меняющейся в ходе борьбы этих групп социально-политической структурой в целом. Именно социально-политический строй, характеризовавшийся Дюби через формы общественной дифференциации, социальной солидарности, политического противостояния и господства, выступает в его изображении как едва ли не важнейший элемент всего общественного здания.[9] В этом своеобразии подхода Дюби несомненно содержался известный "задел" для последующего преодоления одностороннего экономического крена, но в то же время ощущалась и тенденция другой односторонности - подчинить социальное развитие изменениям политическим.[10]

Сегодня Дюби полагает, что уже в своих первых работах он связывал судьбы изучавшихся им людей не только с тем, что зависело от природных и материальных условий жизни, но и с факторами культуры, и что первые отнюдь не доминировали в его представлениях над вторыми.[11] Признаюсь, когда мне самому пришлось лет тридцать назад впервые читать эти работы Дюби, мне не удалось ощутить в них той высокой оценки социокультурных импульсов общественного устройства, о которой пишет ныне их автор. Объясняется ли это только моей собственной "зашоренностью" в те далекие годы или же недостаточностью авторских акцентов самого Дюби?... Показательно однако, что я оказался не одинок в своих суждениях: тогдашние рецензенты трудов Дюби тоже выделяли в качестве его наиболее важных достижений анализ внутреннего механизма функционирования средневекового

---

[9] Особенно ясно эти идеи выступают в диссертации Дюби "La société aux XI et XII siècles dans la région mâconnaise". Paris, 1953.

[10] См. подробнее в цитированном выше моем разделе "Предисловия" (с.21-26).

[11] НС, p.15.

аграрного строя и его зависимость от политической организации общества, а не их взаимосвязь с социокультурными моментами.[12]

Именно на этом анализе базировалась и одна из наиболее известных идей Дюби о так называемой феодальной революции в Западной Европе конца X - начала XI в., сформулированная несколько позднее , но намеченная уже в его ранних работах. Суть этой концепции в следующем. До X в. основным источником богатства и власти правителей отдельных областей (и целых государств) Европы были грабительские военные экспедиции в соседние земли (а не регулярные хозяйственные доходы). С конца X в., вместе с падением Каролингов и их ближайших преемников, ситуация коренным образом меняется. В это время владельцы отдельных сеньорий, и в первую очередь "шателены" - собственники крупных замков ("châteaux"), унаследовавшие политические прерогативы обессилевших королей, - получили в свои руки источники новых доходов: судебные штрафы, военные сборы, таможенные и рыночные пошлины и (что особенно важно) "баналитетные" права на обложение мельниц, хлебных печей, давилен, охотничьих угодий, мест для рыбной ловли и т.п. Новые источники доходов позволили владельцам "баналитетных" сеньорий обеспечивать свою власть не за счет внешних войн, но за счет взиманий с крестьян. Этот новый "сеньориальный способ производства" обусловил возникновение основных классов нового общества - господствующего класса сеньоров и эксплуатируемого класса крестьян - подданных этих сеньорий. Оба эти класса представлялись Дюби не столько экономическими, сколько "политическими", поскольку ни один из них не обладал внутренней экономической целостностью и определялся лишь общностью политического положения своих членов. Господствующий класс, отмечал Дюби, постоянно стремился расширить свои прерогативы, эксплуатируемые всячески этому сопротивлялись. Классовая борьба между ними составляла характерную черту этого общества и главную пружину его социально-политической и идеологической эволюции: ведь именно "социальный страх" господствующего класса перед угнетенными заставлял его изыскивать все новые и новые методы сохранения своей власти...[13]

Концепция феодальной ("сеньориальной") революции X-XI вв., выдвинутая Дюби, получила широкое распространение, и не

---

[12] R.Boutruche. Quatre thises françaises d'histoire médiévale // RH, t.213, 1955; M.David. Sur la société médiévale // Annales E.S.C., 1955, N 3.

[13] См. подробнее в моей статье: "Феодальная революция" X-XI вв.? // Вопросы истории, 1984, № 1.

только во Франции. Она и сегодня находит немало сторонников.[14] Однако сам Дюби относится теперь к разным составным элементам этой концепции по-разному. Он и ныне не чурается представления о "примате" политики при объяснении социальных изменений[15]; он не отказывается и от идеи о первостепенной важности для последующей эволюции пертурбаций, происшедших в западноевропейской деревне конца X - начала XI в.; он признает структурообразующую роль сеньориальных институтов, сложившихся в этот период. Но и конкретные функции этих институтов, и их суть, и даже степень адекватности исторической реальности как таковой тем суждениям, которые могут быть высказаны сегодня исследователями по поводу сеньориальной революции X-XI вв., видятся теперь Дюби совсем по-иному.

Эти изменения во взглядах Дюби в высшей степени важны для понимания его эволюции как историка. Рассматривая ее, я постараюсь коснуться и того, в чем, на мой взгляд, состоит поучительность этих перемен. Само собой разумеется, я далек от мысли выносить какой бы то ни было "вердикт": я хотел бы лишь отдать себе отчет в моем собственном понимании новых высказываний Дюби.

Среди причин, которыми Дюби объясняет сегодня пересмотр взглядов, сложившихся у него к середине 60-х гг., наиболее весомым выступает кризис идеи прогресса, столь популярной в первое послевоенное десятилетие. Как отмечал Дюби, конкретный экзистенциальный опыт неуклонно подрывал веру в то, что прогресс в общественном устройстве и благосостоянии людей способен когда бы то ни было обеспечить создание строя, в котором "не будет ни классов, ни их борьбы и в котором все люди будут жить в обстановке полного равенства, счастья и процветания".[16] Все большее уяснение утопичности этой марксистской идеи стало, замечает Дюби, одним из стимулов разочарования в марксизме многих его былых адептов. Будучи рьяными его приверженцами в прошлом, эти люди не могли теперь обойтись без ругани в его адрес. Возражая против крайностей подобного рода, Дюби замечает в сентябре 1991 г.: "Я обязан марксизму очень и очень многим, и я рад отдать ему должное".[17] В ноябре следующего 1992 г. он добавляет: "Я всегда чувствовал в себе скорее желание продолжать - в меру моих скром-

---

[14] J.-P.Poly - E.Bournazel. La Mutation Féodale. X-XII siucle. P., 1991; cf. D.Barthélemy. Qu'est-ce que la chevalerie en France aux X-e et XI-e siucles // RH, N 290/1, 1994.

[15] См., напр., НС, p.89.

[16] НС, p.104.

[17] НС, p.107.

ных сил - разработку марксистской мысли, чем желание порвать с нею".[18]

Однако использование некоторых марксистских подходов и соответствующей терминологии (и даже известная нарочитость в обилии библиографических ссылок на Маркса, Энгельса, Ленина, Грамши - с сознательной целью эпатировать конформистов[19]) стало у Дюби чем дальше, тем больше совмещаться с явной (или неявной) полемикой против ряда теоретических идей марксизма. Эту полемику Дюби оправдывал для себя тем, что марксизм не представляет цельной науки, не содержит разработанной концепции средневековья[20] и, главное, не получает - по крайней мере, в ряде своих тезисов - подтверждения в конкретных исторических явлениях.

Здесь надо заметить, что , начиная с конца 60-х гг. центр тяжести в исследованиях самого Дюби стал смещаться с феноменов, связанных преимущественно с социально-экономическим развитием, на социокультурные аспекты - на историю массовых представлений, принятых норм поведения, художественных воззрений. Соответственно стал меняться и характер используемых Дюби исторических источников. Раньше его внимание концентрировалось на юридических документах, воспроизводящих судебную практику; теперь на первом плане оказались источники нарративного характера - хроники, трактаты, "истории", жития. Если раньше, при анализе, например, клюнийских грамот (фиксировавших частные сделки в Бургундии XI-XII вв.), Дюби мог полагать, что находит в источниках как бы реалии прошлого, то по отношению к нарративным текстам неоправданность такого подхода выступала перед Дюби с гораздо большей очевидностью: опосредованность каждого пассажа в памятниках этого рода мировидением их авторов не вызывала сомнений.

Глубже осмысливая опосредованный характер источниковых свидетельств, Дюби стал по-иному истолковывать и сущность аналитических процедур историка. Ему приходится резче противопоставлять свое отношение к источнику взглядам медиевистов старой

---

[18] P, p.26. Это ничуть не мешало, однако, Дюби подчеркивать свое негативное отношение к политической доктрине и практике марксизма (Dialogues, p.117). Дюби демонстративно отказался участвовать в 13-м Международном Конгрессе исторических наук в Москве в знак протеста против оккупации Чехословакии. Он подчеркивал, что никогда не был коммунистом, хотя не исповедовал и анти-коммунизма (P, p.260).

[19] HC, p.107.

[20] "Средние века - слабое место в концепции Маркса" - P, p.25.

формации.[21] Для них, замечает Дюби, было характерно представление о возможности найти исторический факт непосредственно в источнике, куда он был как бы "заложен" его составителем. Соответственно, исследователь старой школы считал главным отобрать наиболее достоверные тексты, из которых могли бы "сами собой" выступать "истинные" исторические факты. Мерилом же достоверности источника считалось отсутствие в тексте "выдумок", противоречий, "фактических ошибок", обнаруживаемых при его "внутренней" и "внешней" критике. Сам исследователь при таком анализе должен был стремиться максимально "самоустраниться", полагая, что этим он исключает привнесение в исторические факты собственных представлений.

Следуя подходам Блока и Февра и развивая их, Дюби занимает принципиально иную позицию. Конечно, выявить в источниках фальсификации и противоречия очень важно. Но для раскрытия исторической истины, подчеркивает Дюби, этого далеко не достаточно. Объясняется это в первую очередь тем, что на каждом свидетельстве о прошлом, в какой бы форме оно до нас ни дошло, лежит скрытый отпечаток переосмысления этого прошлого автором источника. Без уяснения специфики данного переосмысления и того, как именно оно деформирует облик изучаемой эпохи, историк не может даже приблизиться к исторической истине.

По мысли Дюби, это свойство исторических источников приобрело особую актуальность именно в XX в., когда сложились новые задачи исторических исследований. Сто лет назад, в позитивистских работах, рассчитанных на уяснение прежде всего "частных подробностей прошлого", эта особенность источника могла оставаться в тени. При определении, например, даты того или иного сражения, или его географического места, конкретных обстоятельств, судеб отдельных участников, позитивисты, полагает Дюби, были вправе оптимистически смотреть на возможность прямого постижения "научной истины", на уяснение подлинных "частных фактов".[22]

---

[21] Дюби именует их чаще всего позитивистами или неопозитивистами - Р, p. 23. Я уже упоминал о тесной связи Дюби с историографическим направлением шко-лы "Анналов"; это направление во многом сливается с так называемой "Новой исторической наукой", пришедшей в XX в. на смену позитивизму. Следует, однако, иметь в виду, что многие подходы позитивизма - особенно, в понимании места источника в познании прошлого - столь прочно укоренились в научной практике историков, что они остаются характерными сегодня для очень широкого круга исследователей (см. подробнее: Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической нау-ки вокруг школы "Анналов". Под редакцией Ю.Л.Бессмертного. М., 1993).

[22] НС, p.76.

Современный историк, подчеркивает Дюби, как правило, не удовлетворяется этими фактическими деталями; он хотел бы понять, например, в чем участники данного сражения видели его смысл, что вкладывалось ими в понятие войны и в понятие мира, что понималось под воинской честью, какое место занимала она в иерархии ценностей, какими идеалами руководствовались люди того времени, как все это было взаимосвязано с общественной системой в целом и т.д. и т.п.[23] Без постановки подобных вопросов нет современного исторического знания. Однако прямые данные для решения таких проблем в источниках чаще всего отсутствуют. Единственное, чем располагает историк, это более или менее случайные высказывания отдельных современников, неизбежно субъективные, неполные, неточные, неоднозначные. В этих высказываниях, констатирует Дюби, - лишь более или менее деформированный отпечаток, который оставили в умах их авторов интересующие сегодняшнего исследователя феномены.[24] В данном случае источник неизбежно выступает как призма, причудливо преломляющая следы прошлого и искажающая его облик.[25]

Чтобы "декодировать" такой источник и извлечь из него искомую информацию, Дюби использует весьма непростые исследовательские процедуры. Здесь нет возможности их описывать. Скажу лишь, что они предполагают предельную активность познающего субъекта, который, оставаясь максимально верным духу источника, стремится осмыслить его показания с учетом не только того, что в нем прямо сказано, но и того, что в нем обойдено, а также того, *как* сказано, с какой интонацией, с какой уверенностью, с каким подтекстом и т.п.[26] Интерпретируя сведения, извлеченные из каждого текста и заново осмысливая их совокупность, историк, полагает Дюби, способен получить новые исторические факты. Однако по своей природе это совсем иные исторические факты, чем те, поиском которых была озабочена позитивистская историография.

По мысли Дюби, они *не* принадлежат "объективному знанию", отчужденному от историка, хотя отнюдь не являются "выдуманными". В их основе не столько точные и однозначные документальные данные - ведь таковые попросту отсутствуют! - сколько "впечатления", складывающиеся у исследователя при их анализе. Эти впечатления - плод "встречи" тех опосредованных

---

[23] HC, p.153-160.
[24] HC, p.75-78, 219-220; D, p.9.
[25] HC, p.43.
[26] HC, p.72; D, p.11.

"свидетельств" о прошлом, которые заложены в источник его составителем, и тех идей, соображений, интенций и переживаний, с которыми историк обращается к анализу интересующих его феноменов. И даже если база этого анализа подготовлена компьютерной техникой и учитывает тысячи и тысячи случаев, они смогут превратиться в "исторический факт" только пропущенные через "магический кристалл" исследовательского осмысления.[27]

При таком осмыслении историк опирается в первую очередь на соображения разума, на поиск внутренней логики явлений и процессов; он не может не учитывать также культурные запросы своих современников, их иерархию ценностей. Но столь же неизбежно испытывает историк и воздействие эмоций, рождающихся в его собственной душе, когда он вникает в суть исследуемых явлений. И потому, полагает Дюби, история не может не быть насыщена чувствами и страстями. "Холодной, бесстрастной истории, пишет Дюби, я предпочитаю эмоционально наполненную".[28] Не случайно он выступает за "историю от первого лица": не обезличенное "мы", но эмоциональное "я" должно, на его взгляд, фигурировать перед читателем в качестве автора любого исторического труда.[29]

Такая история, констатирует Дюби, неизбежно несет печать субъективности. Она не претендует на большее, чем дать читателю информацию к размышлению, информацию отнюдь не бесспорную, не скрывающую возникающих сомнений и неясностей. Историк выступает при этом как мыслитель, который побуждает читателя к раздумьям по волнующим его проблемам, но отнюдь не как судья прошлого, выносящий ему окончательный приговор.[30] В этом подходе Дюби к истории мне многое импонирует. В то же время я отчетливо представляю, сколько недоуменных вопросов могут породить взгляды Дюби. И не только у неискушенных читателей, привыкших за годы господства у нас упрощенных представлений о закономерностях в истории к мысли об однозначности исторических явлений, но и у тех профессионалов, которые полагают, что объективная реальность исторического прошлого - залог объективности наших знаний о нем.

Я и сам спрашиваю себя, не открывает ли предлагаемый Дюби метод прочтения источников дорогу конъюнктурному их истолкованию. Ведь Дюби полагает, что историку не дано подойти к изучению источников без предвзятых идей[31], что зная, что говори-

---

[27] HC, p.70.
[28] P, p.44.
[29] HC, p.81.
[30] P, p.142 et suiv.
[31] HC, p.75.

ли по тому или иному поводу предшественники исследователя и что относят к ценностям его собственные современники, историк неизбежно составляет вопросник своего исследования так, что в нем до некоторой степени заложены и ответы.[32] Не ту же ли угрозу для исторической правды влечет признание за историком возможности "достраивать" отсутствующие в источниках звенья исторических взаимосвязей или же рекомендация историку "не пресекать" полностью свои эмоции, когда он ищет новую концепцию происшедшего?[33]

Дюби не рассматривает эти вопросы специально (хотя имплицитно и не игнорирует их). Объясняется это, на мой взгляд, несколькими обстоятельствами. Полтора десятилетия тому назад Дюби прямо называл историю "видом литературного искусства", выражающим "грезы и мечты" историка.[34] При таком подходе любой поиск объективной истины просто утрачивал актуальность. Ныне Дюби высказывается по-иному. Он отрицает постижимость лишь "тотальной" (всеобщей) объективной истины в истории.[35] Против этого вряд ли станет кто-либо спорить. Нет в его последних работах и отождествления истории с литературным сочинительством; есть даже прямое противопоставление belle lettre (и вообще всякой fiction) истории как таковой.[36] Но и сегодня Дюби не смущает наличие некоторых общих черт в исторической прозе и в историческом исследовании. Он подчеркивает относительность наблюдений и выводов историка, полученных им на основе мысленного "перевоплощения" в человека другой эпохи.[37] Иными словами, история мыслится Дюби не точной наукой, но особым видом знания, заведомо отличающимся "приблизительностью" суждений.[38]

Следует ли однако отсюда, что истории можно отказать в принадлежности - в отличие от литературы - к *научным* видам знания? На мой взгляд - и мне кажется, что к этому мнению сегодня склоняется и Дюби - *научность* исторического знания определяется связанностью суждений историка теми показаниями, которые он находит в источниках. Их интерпретация неоднозначна, но отнюдь не произвольна и подчинена нормам исторического ремесла. По-

---

[32] Как замечает с оттенком иронии Дюби, исследователи прошлого "находят в нем прежде всего то, что ищут" - Ibidem.
[33] HC, p.81.
[34] Dialogues..., p.49-50.
[35] HC, p.77.
[36] HC, p.149 et suiv.
[37] HC, p.80; D, p.11.
[38] HC, p.78-80.

этому любое утверждение историка поддается верификации. Там, где интерпретация историка не выдерживает критики, оправданно говорить о научной ошибке или даже фальсификации. Историк гражданственно ответственен за адекватность своего истолкования источников. Он не имеет права выдумывать ни свидетельства людей прошлого, ни тем более своих героев. В этом смысле между автором исторического романа и исследователем-историком лежит пропасть.

Я думаю, что сам Дюби не высказывается на этот счет вполне эксплицитно еще и потому, что он живет и творит в рамках совсем иной, чем наша отечественная, культурной традиции. Хотя французская историография достаточно разнородна, любое конъюнктурное толкование исторических свидетельств, не говоря уже о сознательном подстраивании под господствующую политическую идеологию, почти повсеместно воспринимается здесь как полностью дискредитирующее автора и исключающее его из научного сообщества.[39] Поэтому у Дюби и нет нужды предостерегать против недобросовестности в интерпретации источников. Он не случайно подчеркивает отсутствие у него той политической или идеологической "ангажированности", которая характерна для историка в условиях тоталитарного режима.[40] Иными словами, в высказываниях Дюби вообще не следует искать выражения каких бы то ни было всеобщих правил историописания. Релятивистские суждения Дюби воспринимаются в рамках той социокультурной среды, в которой он живет и работает, совсем по-другому, чем они могут быть поняты отечественным читателем.

Впрочем, в течение самого последнего десятилетия в подходе Дюби к вопросу об исторической истине появились некоторые новые моменты. Этот сюжет все чаще привлекает его внимание, становится предметом специальных раздумий. Существование этой истины как таковой не ставится им под сомнение. Дюби подчеркивает опасность для историка отклониться от исторической правды, говорит о необходимости самоконтроля, который призван исключить какую бы то ни было манипуляцию историческими свидетельствами - например, игнорирование одного из них, или же наоборот, преувеличение весомости другого.[41] Особенно велика опасность отклониться от истины, когда историк обращается к синтезу, к выстраиванию целостной концепции. Но и эта опасность ни в коем случае не должна, по мнению Дюби, побуждать к

---

[39] Bessmertny Y.L. Les "Annales" vues de Moscou // Annales E.S.C., 1992, N 1.
[40] P, p.44.
[41] HC, p.82.

отказу ни от поиска таковой концепции, ни от стремления приблизиться к "исторической истине".[42] Именно с этой целью, отмечает Дюби, исследователь мобилизует свои интеллектуальные и эмоциональные усилия в истолковании источника. Следует лишь изменить представление о "местонахождении" искомой истины: по мнению Дюби, она сокрыта не в тексте источника, но находится как бы на пересечении свидетельств этого последнего с мобилизующими его показания усилиями исследователя. Это ведет к "модификации" самого понятия исторической истины, к изменению процедуры ее отыскания, но не предполагает ее отрицания.[43]

Под "истиной" здесь, на мой взгляд, понимаются такие верифицируемые суждения о прошлом, которые, будучи сформулированы тем или иным конкретным исследователем, *поддержаны* или, по крайней мере, приняты во внимание научным сообществом. Об историческом исследовании, содержащем подобные суждения, я бы считал недостаточным сказать, что это - "субъективное видение" прошлого данным конкретным историком.[44] Ведь в этом видении, независимо от воли его автора, так или иначе учтены и "предвзятые идеи", циркулирующие в данной социальной среде, и накопленный многими предшествующими поколениями ученых историографический опыт, и признанные научным сообществом нормы исторического ремесла, и, конечно же, мировидение современников автора ("нормы морали", по выражению Дюби). Субъективность такого исторического исследования ограничена, следовательно, рядом объективных моментов. Такое исследование составляет элемент *научного* знания о прошлом, и изменчивость этого знания ни в коей мере не ставит под вопрос его научность.

После всего сказанного нетрудно представить, сколь глубоким должен был быть на фоне новых подходов Дюби к изучению прошлого пересмотр им его собственных конкретных воззрений на "сеньориальную революцию" X-XI вв. Однако такой пересмотр диктовался, по его собственному признанию, еще и "обновляющим

---

[42] HC, p. 80-81.

[43] HC, p.78.

[44] В свое время - в диалогах с Ги Лардро - Дюби, отвечая на вопросы об объективной реальности прошлого и природе исторического факта, высказывался именно в этом смысле. Он говорил: "... я не побоюсь сказать, что то, что я пишу о прошлом, это *моя* история, слагаемая именно мною, и я не намерен скрывать субъек-тивность моих высказываний... Я не очень люблю теории; я служу своему ремесле и *я не так уж размышляю над ним*" (Dialogues..., p.38). Как мне кажется, все сказанное выше свидетельствует о том, что в последние годы Дюби напряженно размышляет над ремеслом историка, над тем, что он делает и что делал. Мне поэтому трудно со-гласиться с утверждением А.Я.Гуревича, что "все основные тезисы "Диалогов" с Лар-дро остаются неизменными" и в книге Дюби "L'Histoire continue" (Цит. соч., с.318).

влиянием" исторической антропологии. Дюби приравнивает его к омолаживающему воздействию на французскую историческую школу 30-х гг. революционизирующих подходов Марка Блока и Люсьена Февра.[45] Историко-антропологический подход, отмечает Дюби, позволил увидеть скрытые под не всегда понятной символикой формы невыраженных эксплицитно социальных связей. В этих связях обнаружился игравший огромную роль элемент взаимности обязательств между господствующими и подчиненными. Так, под лежащими на поверхности экономическими изъятиями в пользу правителей выявилось систематическое перераспределение материальных благ на основе дара-отдара. Оказывалось возможным рассмотреть глубоко укоренившиеся в сознании (или в подсознании) поведенческие стереотипы, обуславливавшие непостижимую для современного человека радость (и потребность) не только обмена дарами, но и полного раздаривания имущества, выступавшего как особая игра или даже праздник.

Это, во-первых, заставило Дюби учесть, что в человеческих обществах вообще и в традиционалистских обществах в особенности занимают очень большое место кажущиеся при поверхностном рассмотрении второстепенными социальные феномены - представления о божественном, о сакральном, о потустороннем мире, о связях с умершими предками, о магии отдельных жестов, процедур и приношений и о многом другом, долгое время казавшемся историкам простыми предрассудками. Это, во-вторых, побудило уделить гораздо большее внимание, чем прежде, социальным и культурным функциям тех, кто так или иначе был связан с осуществлением сакральных процедур. Наконец, в третьих, это подвигнуло Дюби признать всю сферу идеального заслуживающей принципиально иного внимания, чем то, которое он уделял ей раньше, и, соответственно, придать миру идеального качественно иную роль в историческом универсуме.[46]

Одним из следствий этих новых подходов стал пересмотр со стороны Дюби его прежней трактовки сеньории. Ныне он видит в ней не организацию, которая обеспечивала эксплуатацию ее подданных господствующим классом, но орган, обеспечивающий необходимое распределение плодов земли между всеми теми, кто, каждый по-своему, участвует в обеспечении выживания на этой земле: одни трудятся, другие возносят молитвы всевышнему, обеспечивая его расположение (в котором все испытывают потребность), третьи вооруженной рукой предотвращают беспорядки и

---

[45] НС, p.109.
[46] НС, p.108-113, 158.

обеспечивают мир, без которого невозможно существование всех остальных.[47] Замечу, что такая трактовка почти буквально воспроизводит известную трехфункциональную модель идеального средневекового общества. достаточно распространенную среди его современников. Это совпадение ничуть не смущает Дюби, который на этом примере показывает, насколько наше осмысление феноменов средневековья зависит от возможно более адекватного понимания высказанных или невысказанных представлений людей этого периода о самих себе и о своем мире, иначе говоря - от уяснения их ментальностей.[48]

На этой основе Дюби заключает, что ему приходится совсем иначе, чем раньше, оценивать роль хозяйственных отношений в средневековом обществе: они накладывали на его облик гораздо менее значимый отпечаток, чем тот, который он признавал тридцать-сорок лет тому назад, следуя в этом за своими учителями и предшественниками - Марком Блоком и Шарлем Пиренном.[49] Именно с изучением массовых ментальностей и с осмыслением их взаимозависимостей со всеми иными социальными явлениями связывается теперь в представлениях Дюби будущее исторических исследований.

Как видим, едва ли не все свои важнейшие подходы к изучению прошлого, как и многие конкретные исторические суждения, Жорж Дюби подверг за последние двадцать лет глубокому пересмотру. В этом пересмотре нет конъюнктурности в каком бы то ни было смысле этого слова. В нем нашли, на мой взгляд, отражение глубинные особенности нашей науки и неизбежность изменения ее дискурсов.

Историческое знание не стоит на месте, и слава богу. Оно изменяется вместе с изменением культурных запросов общества и принятой системой ценностей. Меняется и ментальный облик людей, которые это общество составляют. И вместе с этим изменяются формы и возможности их самопознания, заставляющие изменять и способы, и аспекты изучения прошлого.



---

[47] HC, p.112.

[48] Для адекватной оценки этих суждений Дюби следует иметь в виду, что, отмечая расплывчатость термина mentalité и желательность отказаться от его использования (HC, p.120), Дюби употребляет иногда вместо него термин idéologie, который во французском языке может включать не только идеологические, но и ментальные формы сознания (См. Robert. Dictionnaire de la langue française, 1986, p.957). Ср, А.Я.Гуревич. Цит. соч., с.149-151.

[49] HC, p.110.

Т.А.Салычева

БИРГИТТА УДЕН: МЕНТАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Шведский историк Биргитта Уден - ученый европейского масштаба. Она является членом европейской и Финской Академий.[1] Для Швеции фигура Биргитты Уден историческая. В 1965 году она первой из женщин своей страны получила профессорскую кафедру в области истории, став при этом вообще первой женщиной - профессором Лундского университета[2] Кроме того, в послужном списке Б.Уден числится должность декана гуманитарного факультета.

Послевоенная историческая наука Швеции не может быть понята и написана без анализа творчества профессора Б.Уден, чьи труды во многом отражали, а порой и определяли направление развития национальной исторической мысли. Список ее работ, включающий более 150 названий монографий, брошюр, статей, эссе, не считая множества публицистических выступлений, поражает не только количеством написанного, но и разнообразием тематики. Кроме того, Б.Уден принадлежит к той категории настоящих ученых, которой не известен "синдром конечной остановки", она всегда в поиске и продолжает осваивать новые творческие вершины. В связи с уходом на пенсию в 1987 г. Б.Уден дала интервью, в котором на вопрос, как она воспринимает перспективу получения возможности "опять стать студентом", Биргитта дала краткий и

---

[1] Европейская Академия была создана в 1988 г. как свободная ассоциация ученых в различных областях знания и насчитывала в 1990 г. 675 членов из 22 стран. Шведская историческая наука была представлена Т.Фрэнгсмюром (Frängsmyr), Р.Тоштендалем (Torstendahl) и Б.Уден (B.Odén), первой женщиной, ставшей в 1990 г. членом Финской Академии. Позже был избран Э.Лённрут (Lönnroth). См.: Academia Europaea. Officers and council 1989/90. Cambr.,1989, p.1; "Suomen akatemia Tiedottaa". 1990, N 3. Б.Уден - академик Шведской Королевской Академии литературы, истории и древностей (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademins).

[2] Здесь уместно вспомнить Лидию Вальстрём (Wahlström 1869-1954), которая в 1898 г. защитила диссертацию на очень традиционную для того времени тему: "Отношение Швеции к Дании в 1788-89 гг." Л.Вальстрём была преданной ученицей патриарха шведской консервативной историографии Х.Ерне, но несмотря на это, а так-же на ее общественную активность (в 1892-98 гг. она была первым председателем созданного ею женского студенческого союза Уппсалы), ей не удалось в то время занять даже место доцента в Университете. Только в возрасте 70 лет Л.Вальстрём получила признание своих научных заслуг, выразившееся в присвоении ей почетного звания профессора. Любопытно отметить, что именно Б.Уден в статье "Ученые женщины в шведской исторической науке" (Historisk Tidskrift, 1980, Nr.3, ss.244-265) дала подробный анализ творчества женщин-историков, показав среди прочего сложности карьеры женщины-ученого в Швеции в конце XIX - первой половине XX века.

категоричный ответ: "Великолепно!"[3] После выхода на пенсию, ею было опубликовано уже более тридцати работ.

И еще одна деталь к портрету Б.Уден: она всегда с глубоким уважением ссылается на работы шведских и зарубежных исследователей, своих учителей и коллег, чье мнение она разделяет или в трудах которых она почерпнула важные для себя идеи. В личной беседе Биргитта Уден назвала имена ученых, оказавших влияние на ее творчество. Среди них норвежский социолог Стейн Роккан (Stein Rokkan), философы - Карл Поппер и швед Хокан Тёрнебум (Hekan Törnebohm), шведский географ Тоштен Хэгерстранд (Torsten Hägerstrand), историки-теоретики Рольф Тоштендаль (Rolf Torstendahl) и норвежец Оттар Даль (Ottar Dahl), шведские историки Стуре Булин (Sture Bolin) и Эрик Лённрут (Erik Lönnroth).

К субъективным причинам выбора, сделанного мною в пользу Биргитты Уден, конечно, относится и женская солидарность, мое глубокое уважение к интеллектуальным достоинствам, а также огромная симпатия к ее человеческим качествам.

Биргитта Уден дебютировала в 1955 году, защитив диссертацию по теме: "Налогообложение и издержки государства. Государственные финансы и финансовое управление во второй половине XVI века".[4] Эта книга - плод скрупулезной подготовительной работы в архивах. Она впервые ввела в научный оборот среди прочих источников документы из так называемой Красной серии, потребовавшие невероятного труда по их систематизации и обработке, и, безусловно, критического осмысления. Здесь Б.Уден проявила себя как последователь шведской либерально-позитивистской традиции, основателями которой в начале нашего столетия явились братья Лауриц и Курт Вейбулли.

В 50-х - начале 60-х годов Уден занималась исключительно вопросами экономической истории XVI века. Это было естественно, ибо Б.Уден вышла из семинара профессора Стуре Булина, который в свою очередь был учеником Л.Вейбулля. Если обратиться к семейным традициям, то родители Биргитты (отец - профессор химии и мать - близкая к кругу людей искусства) обусловили интерес дочери как к естественным, так и к гуманитарным наукам. Сама Биргитта Уден считает, что в каждом человеке одновременно живет натуралист и гуманитарий.[5] Кстати сказать, отец Биргитты, Свен Уден, свободное время посвящал собиранию книг по XVIII веку, именно его друг государственный архивариус Бенгт Турдеман

---

[3] Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén. Lund. 1987, s.1.

[4] Odén B. Rikets uppbörd och utgift. Statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500 - talet. Lund, 1955.

[5] Över gränser... s.1.

(Bengt Thordeman) поведал юной Биргитте о семинаре лундского профессора Стуре Булина, научные интересы которого подошли ей "как перчатка по руке". Расшифровывая это образное выражение, Биргитта поясняет: "Он интересовался количественными методами, он интересовался теорией, и он действительно имел широкий подход к истории и вовсе не был сконцентрирован на пустячных деталях".[6] В одной из статей Б.Уден назвала своего учителя "одним из гениальных историков нашего времени".[7]

Что касается хронологического периода - XVI век, которому были посвящены почти полностью 10 лет, то здесь причины чисто внутринаучные: был резон продолжать блистательно освоенную на материале средневековья тематику выдающегося шведского историка Эрика Лённрута.[8] В этих работах Уден, критикуя не столько теоретические взгляды, сколько неточности эмпирического материала в трудах Эли Ф.Хекшера (к тому времени уже покойного патриарха шведской экономической истории), косвенно оспаривала идеи либеральной историографии, недооценивавшей, в частности, роль государства в управлении экономикой.

Подводя некоторый итог первому этапу научной деятельности Б.Уден, хотелось бы выделить два момента. Один состоит в том, что изначально в ее творчестве была заложена тенденция к междисциплинарности: история, география, экономическая и социальная история. И второй - за десять лет восхождения звезды Б.Уден на историческом небосклоне Швеции ею была пройдена прекрасная школа в рамках либерально-позитивистских традиций учеников братьев Вейбуллей, как раз в конце 50-х годов завоевавших ключевые позиции в шведской исторической науке.

Правда, по прошествии многих лет, в 1992 году, в личной беседе Б.Уден, отметив положительные стороны позитивистского направления в шведской историографии, стремившегося к точному прочтению источников и добившегося уважительного отношения к многократно верифицированным фактам, все же назвала ошибкой "молодости" чисто позитивистский скепсис по поводу источников, которые нельзя было подвергнуть математической обработке. Уже умудренная огромным опытом работы в различных направлениях исторического поиска, она признала, что историку совершенно необходимо обладать и некоторой долей фантазии.

Первые признаки поворота к новой проблематике обозначились уже в статье 1963 г. "Социальная история в фокусе зрения", в

---

[6] Över gränser... s.2.

[7] Odén B. Historia som forksningsprocess. // Scandia, 1973, Bd.39, s.155.

[8] Lönnroth E. Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige. Studier över skattevåsen och länsförvaltning. Göteborg. 1940.

которой Б.Уден высказалась в пользу взгляда на социальную историю не как отдельную дисциплину, а как один из аспектов исторической науки, с учетом характерной для социальной истории постановки во главу угла общественных функций человека.[9]

Переход к исследованиям в области социальной проблематики завершился после получения Б.Уден в 1965 г. кафедры профессора истории в Лундском университете и выразился в том, что она начала изучать шведскую эмиграцию XIX - начала XX вв. Причины этого перехода имели главным образом внутринаучный характер. Уден горела желанием исследовать социальные изменения в обществе. К тому же изучение эмиграции заинтересовало ее как вариант междисциплинарного взаимодействия истории и культурной географии (в рамках последней уже были освоены действительно интересные методы и теории). Необходимо отметить, что нацеленность Б.Уден на изучение социальной истории предшествовала вторжению марксизма в общественные и научные сферы Швеции.

При работе над социальными аспектами процесса эмиграции в XIX веке Б.Уден показала несостоятельность бытовавшей в то время точки зрения о исключительном значении аграрного фактора - наряду с демографическим компонентом - для выяснения причин эмиграции из Швеции в Северную Америку. Не отрицая важности структурных изменений на селе, а также стремительного роста населения в Швеции того времени, Уден настаивала на особом внимании к связи между эмиграцией и процессом урбанизации.[10]

Завершая в начале 70-х годов свое активное участие в разработке социальных аспектов шведской эмиграции, Биргитта Уден выступала уже как глубокий знаток новых теоретических построений, освоив современные социально-антропологические и географические новации, моделирование, тесно связанное с так называемой диффузной теорией, имевшей широкое хождение в США.[11] Эта теория позволяла проследить процесс эмиграции по регионам, установить, каким образом налаживались контакты между жителями различных областей, зачастую удаленных друг от друга, а также вскрыть механизмы формирования поведенческих стереотипов. Среди шведских историков, применявших эту теорию, был ра-

---

[9] Odén B. Socialhistoria i blickpunkten. // Historisk tidskrift, 1963, Nr. 4.

[10] Odén B. Emigration fren Norden till Nordamerika under 1800 - talet. Aktuella forskningsuppgifter. // Historisk tidskrift, 1963, Nr.3, s.264.

[11] Emigrationen fra Norden indtil Fiirste Verdenskrig. Debattinlägg i Beretning foredrag og forhandlinger vid det nordiske historikermiide i Kiibenhavn 1971. 9-12 august. Kiibenhavn, 1971, ss.53-54.

ботавший в то время в Уппсале Суне Окерман. Несомненно также влияние на Б.Уден шведского географа Т.Хэгерстранда.

Вторая половина 60-х годов - переломный момент для всей шведской историографии. Говоря кратко - это начало ее освобождения из оков провинциализма, это время, когда были сделаны первые шаги по освоению достижений обществоведческих дисциплин и прежде всего социологии, влияние которой пришло из-за океана. Ориентируясь на Америку, шведские историки увлеклись также математическими методами.

Применительно к 60-м годам, видимо, еще рано говорить о внедрении социологических теорий в работы историков - то было время дискуссий о возможности использования историками этих теорий - эти тенденции четко обозначились лишь в 70-е годы, однако их контуры уже были видны в конце 60-х годов. Нельзя сказать, что кто-то из шведских историков выступал категорически против, однако именно Биргитта Уден, Рольф Тоштендаль и Суне Окерман были первыми, кто не только выступили "за", но и сами начали использовать методы социологии в своих трудах. В различной степени эти методы применялись в коллективных проектах по эмиграции и так называемым "народным движениям".

"За что я хотела бы ратовать в вопросах методологии, так это за более четкие модели объяснений, желательно выработанные в связи с теоретическими построениями общественных наук, вместо или в дополнение к слабо специфицированным, с налетом эмпиризма "событийным образцам", которые играют столь большую объяснительную роль в историческом исследовании", - писала в 1968 г. Б.Уден в программной статье "Клио между двух стульев".[12]

Еще раньше, в статье 1963 г. Биргитта Уден, как бы в предчувствии будущих дискуссий, писала об усилении взаимосвязи между обществоведческими дисциплинами и новыми областями исторической науки, при этом выделяя такие сотрудничающие пары, как социология - социальная история, национальная экономика - экономическая история. Уден настаивала на том, что достижения последних лет в области социологии должны подвигнуть историков на изучение прошлого "с частично измененной целевой установкой и с помощью новых методов".[13] В статье "Место истории в изучении общества" (1968 г.) Б.Уден писала: "Совершенно очевидно, что нам, историкам, необходимы импульсы со стороны обществоведческих моделей и прежде всего в отношении трех вещей: при

---

[12] Odén B. Clio mellan stolarna. // Historisk tidskrift, 1968, Nr.2, s.197.

[13] Odén B. Socialhistoria i blickpunkten. // Historisk tidskrift, 1963, Nr.4, s.405-406.

нашем выборе объектов исследования, при нашем решении, какие факты являются важными, и при построении объяснений".[14]

Указывая на субъективность любого утверждения, отстаиваемого тем или иным историком, Б.Уден подчеркивала, что "историку просто необходимо быть знакомым с теми исследовательскими результатами, которые достигаются в соответствующих общественных науках. Это требует постоянного внимания, иначе существует очевидный риск того, что среди историков станут господствовать вышедшие из употребления и давно отброшенные эмпирические знания этих дисциплин, знания, которые постепенно просочились в окружающий мир по вненаучным каналам и стали расхожим товаром". В качестве примера подобных "сомнительных" общих мест, подхваченных историками из смежных отраслей гуманитарного знания, Уден приводит "псевдомарксистские представления о частноэкономических мотивах политических действий и вульгарные утверждения из арсенала психоаналитиков".[15]

Итак, отмечая, что не все из ныне действующих универсальных теорий, находящихся на вооружении социальных наук, достаточно проверены, Б.Уден все же призывает применять их при анализе исторических ситуаций: "Мы не можем быть свободны от подобных теорий - какими бы запутанными они нам ни казались".[16] Прийти к подобным выводам Биргитте Уден во многом помогли ее конкретные разработки проблем шведской эмиграции. Для нее стало очевидным, что без учета экономической теории конъюнктур историк неизбежно придет к переоценке случайных мотивов этой эмиграции и непременно оставит без внимания всеобщие причины, остающиеся за пределами чисто исторического материала.

Однако, ратуя за применение историками обществоведческих моделей и теорий, Б.Уден не устает подчеркивать: "Нам никогда нельзя позволять, чтобы модели замещали недостающие звенья в наших объяснениях".[17]

Возвращаясь к проблеме взаимоотношений между различными гуманитарными дисциплинами, Б.Уден обращала внимание на то, что аналитическая граница между науками определяется их различиями в постановке задач. Подходя с этим критерием к оценке научной пары история - обществоведение, она писала: "История работает с обществом прошлого как **целью** исследования и использует законы, примеры и теории как **средство** для объяснения связи в

---

[14] Odén B. Historiens plats i samfundsforskningen. Ett diskussionsinlägg. // Statsvetenskaplig tidskrift, 1968, häfte 1, s.41.

[15] Historisk tidskrift, 1968, Nr.2, s.193-194.

[16] Ibid., s.194.

[17] Statsvetenskaplig tidskrift, 1968, häfte 1, s.42.

рамках конкретной действительности. Обществоведение в качестве **цели** берет теории и закономерности и использует конкретную действительность (в том числе историческую) как **средство** для проверки гипотез".[18]

Биргитту Уден искренне волновала судьба исторической науки как таковой, ее место среди других отраслей гуманитарного знания. История, с ее точки зрения, больше, чем "прошлое политики". Это и прошлое экономики, и прошлое социальной жизни, и прошлое культуры, и прошлое религии, и прошлое психологии: история это наука об обществе, изучаемая вглубь по временной оси. Однако временной, или хронологический барьер, считает Б.Уден, не должен быть железным занавесом, отделяющим социальную науку от истории. Обществоведческие науки подразделены на множество специальных дисциплин, то же случилось и с историей, внутри нее продолжается процесс специализации и разделения на экономическую историю[19], политическую, социальную, историю предприятий, психоисторию и др. Отмечая это, Б.Уден задается вопросом: что же станет с интегрирующей ролью истории? Уден категорически против перспективы исчезновения истории как самостоятельного предмета. Она спорит с теми учеными, которые считают, что история как синтезирующий предмет существует лишь в качестве общей идеи, но не нужна при конкретной научной работе. Точка зрения Биргитты Уден такова: "Главная исследовательская проблема сегодняшнего дня не в том, как нам достичь специализации - это направление очевидно, оно развивается своим путем в силу внутренней необходимости, при этом методики исследования становятся все более специальными и труднодоступными для отдельного исследователя. Проблема же, напротив, состоит в том, как мы сможем достичь столь же необходимой интеграции между специализированными ветвями".[20] Интересно отметить особую роль, которую, по мнению Б.Уден, играет в Швеции история как университетский предмет; именно ей принадлежит интегрирующая функция по отношению ко всем другим смежным дисциплинам.

---

[18] Odén B. Ära, minne och vetenskapsteori. // Scandia, 1973, Bd.39, s.148.

[19] Здесь следует иметь в виду, что чисто институционально в Швеции экономическая история находится в рамках обществоведческих факультетов, тогда как история всегда входит в состав гуманитарных факультетов Университетов. Такое положение вещей Б.Уден называет "логической аномалией".

[20] Odén B. Historiens plats i samfundsforskningen. // Statsvetenkaplig tidskrift, 1968, häfte 1, s.27-28. Эту мысль Б.Уден отстаивает вслед за одним из своих авторитетов, шведским философом Хоканом Торнебумом.

Сдвиги в обществе второй половины 60-х годов, выразившиеся в общей радикализации политических взглядов, привели к росту прежде всего в студенческой среде интереса к марксизму, что не могло не затронуть академические научные круги. Сторонники марксизма увлеченно пропагандировали теорию, разработанную К.Марксом, но их призыв к теоретическим построениям вызвали к жизни всходы не только марксистской мысли: гуманитарная наука Швеции ответила на призыв марксистов увлечением теорией среднего уровня, отцом которой был американский социолог Р.К.Мертон.[21]

Биргитта Уден, имевшая непосредственный контакт со студентами, не могла не откликнуться на призыв к поиску новых теорий. Ею был подготовлен курс лекций по истории шведской исторической мысли. Накопленный исследователем и педагогом теоретический багаж объективно требовал осмысления, кроме того, перед ней стояла практическая задача ответить на вызов студентов, не желавших быть адептами консервативных и даже либерально-позитивистских взглядов маститых историков Швеции. Эти объективные и субъективные причины привели Б.Уден к написанию работ по методологии и историографии.

Ориентация скандинавской историографии на теоретические проблемы связана с такими авторитетами для Б.Уден, как норвежец Оттар Даль и швед Рольф Тоштендаль. По мнению Уден, эти историки предложили новый тип историографического исследования, для которого целью анализа была сама научная позиция того или иного ученого. И Даль, и Тоштендаль утверждали, что историки-исследователи редко формулируют свои нормативные "правила игры", однако, большинство из них, независимо от того, осознают они это или нет, в действительности базируются на определенных теоретических принципах. Уверовав в правоту этого утверждения, Б.Уден начала изучать ход историко-философской мысли в Швеции, сконцентрировав свое основное внимание на XX веке. "История как процесс исследования на коллективном уровне есть историографический анализ, где объясняющие модели не имеют в виду индивидуальный вклад ученого, а определяются поведением коллектива исследователей", - писала Б.Уден в статье, опубликованной в 1973 г.[22]

Заслуживает внимания вывод Уден о необходимости взаимодействия двух важнейших векторов научной мысли - индивидуаль-

---

[21] Роберт К.Мертон еще в 1949 г. написал книгу "Социальная теория и социальная структура", взрыв интереса к которой в Европе произошел после ее повторного издания в 1968 г.

[22] Odén B. Historia som forskningsprocess. // Scandia, 1973, Bd.39, s.156.

ного и коллективного. Именно это взаимодействие, по ее мнению, и называется плюралистическим научным взглядом: "Я совершенно убеждена, что фундаментальные изменения исторического научного процесса всегда происходят благодаря уникальному вкладу уникального человека в уникальной ситуации (единолично или "в команде"), однако, значение этих изменений всегда зависит от способности коллектива научного сообщества критически оценивать, а также терпимо принимать ростки нового, которые вначале проявляются в форме критики и оппозиции, но которые однажды, возможно, станут основанием для объединения исторического научного содружества в период нового консенсуса".[23]

Мысли, высказанные Уден в ряде статей[24], нашли свое завершение в чисто историографической монографии о Лаурице Вейбулле и окружавшей его научной среде.[25] В этой книге ясно прозвучала столь важная для творчества самой Уден мысль о зависимости ученого от жизни современного ему общества. Автор показала большое значение методологических и теоретических проблем, встающих перед всяким исследователем, стремящимся определить "зависимость" ученого от его коллег из сложного социального переплетения, именуемого научным сообществом.

Само понятие "научное сообщество", так же как и термин "парадигма", были заимствованы из вышедшей в 1962 г. книги Томаса Куна "Структура научных революций". Ученый, согласно теории американского социолога, может быть оценен только во взаимосвязи с научным сообществом, все члены которого придерживаются определенной парадигмы. Таким образом, Кун включал влияние социальных факторов в объяснение процесса развития науки. Б.Уден исходила из социологических представлений Т.Куна и в еще большей степени американского социолога немецкого происхождения А.О.Хиршмана при написании книги о "выдающемся

---

[23] Ibid., s.158.

[24] Odén B. Ära, minne och vetenskapsteori. // Scandia, 1973, Bd.39; Eadem. Scandia - tidskrift för en annan uppfattning. // Historia och samhälle. Studier tillägnade Jerker Rosén. Malmö, 1975; Eadem. Det moderna historisk - kritiska genombrottet i svensk historisk forskning // Scandia, 1975, Bd.41; Eadem. Annales - skolan och det svenska forskarsamhället. (Предисловие к переводу с французского - J.Le Goff, P.Nora. Att skriva historia. Stockholm, 1978).

[25] Odén B. Lauritz Weibull och forskarsamhället. Lund, 1975. Книга посвящена мужу Биргитты Уден - Уно Дунеру (Uno Dunér. 1887-1983), человеку во многих отношениях замечательному: профессиональный военный, увлекавшийся изучением средневековой архитектуры, после выхода в отставку серьезно и успешно занимался живописью. У.Дунер был другом Лаурица Вейбулля. У нас в стране рецензия на эту книгу Б.Уден была опубликована А.С.Каном в "Общественных науках за рубежом", серия 5, 1977, № 5.

представителе историко-критического исследования" Лаурице Вейбулле, с именем которого, по мнению Уден, связана смена парадигм в шведской историографии. Творческая лаборатория ученого показана во взаимодействии с окружавшей его научной атмосферой.[26] Исходная гипотеза, выдвинутая Б.Уден еще в статье 1973 года "Слава, память и научная теория"[27], заключалась в том, что "научные изменения происходят не в результате случайных действий исследователя, а посредством интеллектуального "перекрестного опыления" в рамках большой, часто междисциплинарной контактной сетки".[28] Б.Уден исследует источники, импульсы, идеалы, питавшие Л.Вейбулля в период творческого становления, указывая при этом на важность субъективных моментов, к которым относит его дружбу с датским ученым Эриком Арупом и тесное сотрудничество с младшим братом Куртом. Опираясь на признание самого Лаурица Вейбулля, в котором он назвал себя "современным человеком, обладающим знанием о прошлом и историческим чутьем", Б. Уден подчеркивает его балансирование между радикализмом и традицией, причем радикализм Вейбулля, по словам Уден, был связан с "глубокой, почти романтической лояльностью к прошедшему".[29]

Братья Лауриц и Курт Вейбулли создали свою так называемую школу критики источников.[30] Б.Уден считает, что вейбуллианская школа представляла либеральное историческое видение со значительным упором на рационалистическое понимание. Благодаря усилиям братьев Вейбуллей в содружестве с датским историком Эриком Арупом в 1928 г. начал издаваться исторический журнал позитивистского направления "Скандия", условия возникновения которого делали его внешне похожим на "Анналы" М.Блока и Л.Февра во Франции. Рассмотрению истории и значения появления нового издания в противовес официальному журналу Шведского исторического общества (ШИО) консервативно-националистического толка "Хистуриск тидскрифт" Б.Уден посвя-

---

[26] Хотелось бы обратить внимание на характерный для Б.Уден подход к написанию историографических исследований с точки зрения социологии науки, в отличие, например, от Р.Тоштендаля, в работах которого аналитическому рассмотрению подвергаются теоретические позиции того или иного историка.

[27] Scandia, 1973, Bd.39, ss.139-149.

[28] Odén B. Lauritz Weibull... s.275.

[29] Ibid., s.277.

[30] В отечественной исторической литературе ее иногда называют "гиперкритической школой", однако тот факт, что в Швеции эти слова выражали негативное отношение к братьям Вейбуллям, так как использовались их противниками, побудил меня отказаться от употребления этого термина.

тила отдельную статью "Скандия" - журнал с иным пониманием"[31], в которой она показала общие и отличительные черты шведского и французского журналов. Значительную роль в становлении нового направления в шведской историографии сыграли ученики братьев Вейбуллей и среди них учитель Биргитты Уден - Стуре Булин.

С середины 70-х годов к сюжетам по методологии и историографии добавилась другая сквозная для всего творчества Уден тема - высшее гуманитарное образование и подготовка научных кадров в этих областях, получившая наиболее полное отражение в итоговой книге "Изменения в подготовке ученых в 1890-1975 годах. История, государствоведение, культурная география, экономическая история".[32] Эта работа прекрасно иллюстрирует включенность Б.Уден в дело усовершенствования общественных механизмов, ее желание внести свою лепту в улучшение университетского образования в Швеции, а поскольку университеты этой страны управляются государственными структурами, то данная работа напрямую связана с проблемами взаимоотношения личности и государства.

В книге Б.Уден впервые за многие годы была поставлена проблема обучения и воспитания исследователей в области гуманитарных дисциплин. Главной задачей автора был показ изменений в подготовке научных работников по указанным предметам за 85 лет. Эти изменения возродились как в количественных показателях, так и в качественно новых условиях работы, постепенно превративших элитные высшие школы в университеты общества с "равными возможностями", открытые для всех желающих.[33]

Методологически книга вобрала в себя как либеральные позитивистские традиции ученых-"шестидесятников", к которым принадлежала и сама Б.Уден, так и теоретические взгляды представителей студенческого бунта против позитивизма, требовавших введения альтернативных курсов в герменевтическом или марксистском ключе. На это указывают следующие утверждения Уден: "Те профессора и доценты, которые в 1960-е годы структурировали и формализовали содержание научного образования, принадлежали в подавляющем большинстве к поколению исследователей,

---

[31] Historia och samhälle. Studier tillägnade Jerker Rosén. Malmö, 1975, ss.179-208.

[32] Odén B. Forskarutbildningens förändringar 1890-1975. Historia, Statskunskap, Kulturgeografi, Ekonomisk historia. Lund, 1991. Выходу книги, как всегда, предшествовали публикации по вопросам высшего образования и подготовки гуманитарных научных кадров. Еще в 1980 г. Уден была закончена двухтомная ротапринтная "предварительная версия" монографии. Odén B. Forskarutbildningens resultat 1890-1975. Preliminär version. Delrapport 9:1 inom UHÄ - projektet "Forskarutbildningens resultat 1890-1975". Lund, 1982; Delrapport 9:2, Lund, 1982. Odén B. Forskarutbildning och politik. - "Universitet och samhälle. Festskrift till Eskil Björklund". Stockholm, 1989.

[33] Odén B. Forskarutbildningens förändringar 1890-1975... s.327.

сформировавшемуся под влиянием либеральных мировых образцов и получившему образование в рамках широко трактуемого позитивистского научного идеала. Хорошо известно, что в конце 1960-х годов наступило десятилетие, когда студенты встали в оппозицию к этим истокам".[34]

Книга о подготовке в Швеции гуманитарных научных кадров написана историком Биргиттой Уден на базе освоенного ею мощного арсенала современной социологии. И здесь неоспоримым авторитетом международного масштаба является Томас Кун, перенесший внимание исследователя с индивида и идей на традиции и культуру. "Образование, тренировка, окружающая среда переносят традиции от поколения к поколению".[35] Из ученых своей страны Б.Уден выделяет работы таких историков-теоретиков как Рольф Тоштендаль, Свен-Эрик Лиедман, Туре Фрэнгсмюр, Рагнар Бьёрк. Уден подчеркивает "выдающуюся" черту в новейшей историографии проблем образования -социологическую: "Те изменения, которые переживает среда обучающихся исследователей в течение длительного, наиболее изученного периода, позволяют, если попытаться рассмотреть двойную перспективу, объяснить как внутринаучную, так и общественную сторону".[36] Главный вывод автора заключается в отрицании традиционного взгляда на функционирование университетов лишь с точки зрения их сугубо внутринаучных интересов. Напротив, заключает Уден, университеты интегрированы в общество и серьезно зависят от происходящих в нем процессов.[37]

Книга, посвященная главным образом истории развития четырех гуманитарных дисциплин в Швеции за почти вековой отрезок времени, под пером мастера превращается в увлекательное теоретически насыщенное исследование как в области организации шведского гуманитарного знания, так и в историографическом плане. К тому же широта охвата проблем, географические и временные рамки работы позволили автору вписать шведскую науку в мировой контекст.

Рассуждая о взглядах Б.Уден на историю структурирования гуманитарного знания в Швеции, нельзя не отметить следующий факт: в 70-е годы профессор Уден была членом созданного при правительстве специального комитета, в задачи которого входило оказание помощи исполнительной власти страны в выработке оптимальной политики в области воспитания научных кадров по об-

---

[34] Ibid., s.10.
[35] Ibid., s.24.
[36] Ibid., s.27.
[37] Ibid., s.40.

щественным наукам.[38] На этом примере мы еще раз можем удостовериться, насколько чисто научные интересы Б.Уден сочетались с практическими задачами современного общества.

Следующая конкретно-историческая тема, которой Б.Уден начала интересоваться в конце 60-х годов, тоже неразрывными узами связана с взаимодействием человека с современным обществом - это взгляд историка на проблему окружающей среды. Нет необходимости напоминать, что вопросы загрязнения окружающей среды стали дебатироваться в 60-е годы повсеместно в силу своей сугубой актуальности для биологического выживания человека. Государство в демократическом обществе осознало свою ответственность в этих вопросах.[39] Выдвижение проблем окружающей среды как для ученых-естественников, так и для гуманитариев, было продиктовано объективными причинами.

Но помимо объективных, существовали некоторые субъективные предпосылки перехода Уден к написанию работ по окружающей среде. Одна из них вытекала из уже освоенного поля социальной истории в связи с проблемами шведской эмиграции, подводивших исследователя вплотную к историко-демографической тематике. Однако в этой области уже успешно дебютировал уппсальский историк Суне Окерман[40], и Биргитта Уден, не желая конкурировать с ним, предпочла "окружающую среду". Надо сказать, что сама Биргитта Уден по проблемам окружающей среды написала не так уж много, однако значение ее инициатив и методологических установок, несомненно, велико. Так, например, под непосредственным влиянием Б.Уден была написана книга шведских советологов

---

[38] В рамках работы подготовительной группы, председателем которой была Б.Уден, при исследовательском совете по гуманитарно-общественным наукам (Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsredet - HSFR) был издан отчет о положении научных исследований на рубеже 1984-85 годов в историчсекой науке, где сообщалась информация по следующим четырем дисциплинам: история, экономическая история, история идей и учений, а также история церкви. Histotieämnena - en lägesrapport av beredningsgruppen för historia vid HSFR. // HSFR-NYTT, Stockholm, 1986. В том же году был издан отчет правительству Исследовательского совета по гума-нитарно-общественным наукам, рабочую комиссию которого возглавляла профессор Б.Уден. Kulturvetenskaperna i framtiden. HSFR: s rapport till regeringen. Stencil HSFR, Januari 1986.

[39] По мнению Б.Уден, плановая экономика Советского Союза не стала гарантией в деле защиты окружающей среды. Это показали исследования двух шведских ученых - Л.Лундгрена и К.Гернера. См. Odén B. Miljöhistoria i ett lengsiktigt perspektiv. // Historialärarnas Förening: Aktuellt om historia, 1992, s.13.

[40] Сейчас Суне Окерман (Sune Ekerman) профессор университета в Умео.

Кристиана Гернера и Ларса Лундгрена о состоянии окружающей среды в СССР.[41]

Переход к изучению проблем окружающей среды стимулировался и облегчался тем, что эта тема, которая прежде всего интересовала ученых-естественников и требовала определенных знаний именно с этой стороны, привлекла внимание брата Биргитты Уден, занимавшегося физикой земли и метеорологией. Сванте Уден предоставил сестре много интересных материалов по кислотным дождям.[42]

При подготовке к XIV международному конгрессу историков в Сан-Франциско (1975 г.) на базе Лундского университета был создан шведский комитет, в который вошла и Б.Уден. Ларс Лундгрен, Б.Уден и Сверкен Уредссон написали доклад по секции методологии "Методы изучения человека в окружающей среде".[43] Это была первая публикация Б.Уден на новую тему, которая нашла впоследствии отражение и в предпринятом по ее инициативе на исторической кафедре Лундского университета проекте "Природа и общество", а также в ее педагогической практике. Ею была проявлена инициатива и изысканы средства для эксперимента в области преподавания истории окружающей среды для шведских учителей разного уровня. С осени 1981 г. Уден от Лундского университета и К.Карлеерд из педагогического института в Мальмё осуществляли регулярное сотрудничество. Под ее руководством были защищены две докторские диссертации по данной проблематике.[44] "Политизация проблемы окружающей среды, природа как идея и идеология, примеры реакции многих людей на постепенное ухудшение природной среды и окружающей среды на производстве выступают как наиболее неотложные задачи для историков, историков идей и экономических историков", - писала Б.Уден во введении к учебнику "История окружающей среды".[45]

Еще в одной из первых работ обращалось внимание на широту термина "окружающая среда", которая подразделяется на природную и человеческую, или социальную. Авторов статьи

---

[41] Gerner K, Lundgren L. Planhushelling och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976. Helsinborg, 1978.

[42] Odén B. Miljöhistoria... s.12.

[43] Methods in the Study of Man in his Environment. Report for the XIV International Congress of Historical Science. Sector II: Methodological Problems. Berkeley, 1975.

[44] О загрязнении вод на рубеже XIX-XX вв. (Ларс Лундгрен) и о движении за охрану природы (Ян Теландер).

[45] Miljöhistoria. // C.Karlegärd, H.Toftenow. Lund, 1990, ss.7-8. См. также: En ren framnid. Vert ansvar för miljön. Malmö, 1988.

"Использование природы как политика"[46] интересовал как раз человеческий аспект этой проблемы.

В написанной по материалам выступлений на конференциях 1988 и 1989 годов статье "Окружающая среда как история" Уден обращает внимание на само понятие "окружающая среда", пришедшее на смену понятию "природа" только в 1960-е годы. "Переход от **природы** к **окружающей среде**, - писала Б.Уден, - не является только языковым видоизменением. Это и понятийное видоизменение, которое отмечает сдвиг нашего видения отношений человек - окружающая среда".[47] Отмечая постепенную политизацию термина, Б.Уден пишет, что именно в 1960-е годы родился новый сплав естественнонаучного и обществоведческого взгляда на проблему окружающей среды. Важной ее частью постепенно стала "окружающая среда на производстве". Типичным для нового понятия явилось то, что во главу угла был поставлен человек, его здоровье, психика, права и обязанности. "Понятие окружающая среда на самом деле является антропоцентристским в отличие от биолого-экологического понятия природа", - писала Уден, указывая, что само понятие исключает нейтральное к нему отношение и требует занятия определенной авторской позиции.[48] Именно четко занятая гражданская позиция как нельзя лучше характеризует ученого Биргитту Уден. Следует отметить, что окружающая среда, как и хронологически следующая за ней проблема пожилых людей в обществе еще в большей степени, чем предыдущие темы, отражает активность ученого с точки зрения выбираемых для исследования общественно значимых вопросов.

С точки зрения новых подходов к науке, ее внутреннего развития, нельзя не отметить важнейшую деталь при изучении окружающей среды - имманентную междисциплинарность проблемы. При разработке вопросов окружающей среды междисциплинарность проявилась не только в том, что этой темой ученые занимались на базе различных наук: истории, географии, археологии, этнологии, экономической и аграрной истории, социальной антропологии, истории идей и ментальности, правоведения и др., но и в том, что эта проблема позволила осуществиться ранее, казалось,

---

[46] Lundgren L., Odén B., Oredsson S. The Use of Nature as Politics. Lund, 1979. Это сокращенная версия доклада на конгрессе историков в Сан-Франциско, опубликованная в журнале: "Environmental Review", 1979, vol.III, N 2. Б.Уден был написан раздел "Человек и окружающая среда как проблема большой временной длительности".

[47] Odén B. Miljön som historia. // Historisk tidskrift för Skeneland, 1989, Nr.2, s.2.

[48] Ibid., s.5. Интересно замечание Б.Уден по поводу движения "Гринпис", у которого, по ее мнению, на первом месте стоит природа, а не человек.

невозможным надеждам на связь естественнонаучной и гуманитарной линий в науке. Еще в 1959 г. английский физик и писатель Чарльз Сноу (Charles Snow) в книге "Две культуры" высказывал неподдельное беспокойство по поводу невозможности преодоления пропасти между естественными и гуманитарными научными сообществами, принадлежащими к различным культурам и говорящими на различных языках.[49]

При рассмотрении вопросов окружающей среды ученые вынуждены заниматься не какой-то одной областью - человек или природа, но их взаимоотношением, то есть междисциплинарная граница проходит не по смежным дисциплинам гуманитарных наук, но между различными по своей природе науками: естественными и общественными. Однако, по мнению Б.Уден, призыв Ч.Сноу к объединению двух культур не выдержал в 60-е годы "вьюги специализации".[50]

Процессы, происходившие с науками, занимавшимися историей окружающей среды, сродни по своим претензиям на тотальность с процессами внутри различных обществоведческих дисциплин, пытавшихся разрешить дихотомию: социальная история и история социума.[51] Ведь история общества включает в себя не только социальные отношения между людьми, но и те политические и идеологические рамки, внутри которых разыгрывается человеческая драма. Таким образом, чтобы написать историю общества, необходимо писать тотальную историю. Именно эта перспектива вдохновляла Б.Уден, хотя она не без опаски отмечала усиливающуюся внутринаучную специализацию в противовес призыву Хобсбоума к универсализму: "Расширение перспективы от специализации к претензиям на большую тотальность в рамках различных традиций, очевидно, отразилось на сообществе ученых. Границы между различными дисциплинами стерлись. Это, с одной стороны, привело к целенаправленному междисциплинарному или межнаучному сотрудничеству, но, с другой, к определенным противоречиям и охране своей научной вотчины".[52]

Универсальность проблем окружающей среды делают невозможной, по мнению Уден, их принадлежность к какой-то одной

---

[49] Odén B. Ekologiska fregor i ett historiskt perspektiv. // Biologen, 1989, Nr.3, s.19.

[50] Odén B. Miljöhistoria i ett lengsiktigt perspektiv. // Historialärarnas Förening: Aktuellet om historia, 1992, s.14.

[51] Hobsbawm E.J. From Social History to the History of Society. // Daedalus, 1971, vol.100, N 1, pp.20-45.

[52] Odén B. Människan och miljön: Historiografiska traditioner och trender. // Människan och miljö. Huvudtema II vid XXI Nordiska historikermötet 1991. / Lars J. Lundgren. Umee, 1991.

дисциплине или специальному факультету, они принадлежат всему университету и касаются каждого, точно так же, как загрязнение окружающей среды поражает не только отдельную страну или регион, но всю планету людей.

Назвав в одной из своих работ Библию самой древней "историей окружающей среды",[53] Б.Уден скептически отнеслась к возможности в полном объеме написать тотальную научную историю окружающей среды, хотя и выразила надежду на то, что экологическое сознание может пропитать формулируемые людьми проблемы и исторические представления и расширить их понимание того, что экологическая ответственность - не пустая риторика, она затрагивает каждого в той нише, где человек осуществляет свои проекты с целью приспособить жизнь своих потомков к ограниченным ресурсам и последствиям длительного загрязнения окружающей среды.[54]

Занимаясь историей окружающей среды, Б.Уден дополнила и усилила социальное звучание темы, начав писать о проблемах стариков в Швеции. Ее первые статьи на эту тему появились еще в 1970-е годы, основные же работы этого направления были опубликованы в 80-е и 90-е годы.[55] Взаимоотношения между поколениями, проблемы детства, женщин, семьи - наиболее типичная тематика Б.Уден после ее ухода на пенсию в 1987 г.

Работы Б.Уден по проблеме "стариков" в обществе можно подразделить на исследовательско-эмпирические, историографические и обзорно-теоретические. Всем трем типам публикаций присуща ярко выраженная социальная ориентация, особенно четко она прослеживается в статьях теоретического характера.

Сама Уден отмечала, что социальные отношения пожилых людей были предметом исследования историков и этнологов в то время, как институты, ответственные за положение стариков в обществе, стали темой прежде всего для историков идей, социологов и историков архитектуры. Пограничное относительно других дис-

---

[53] Odén B. Miljöhistoria i ett lengsiktigt perspektiv... s.14.

[54] Odén B. Människan och miljön...

[55] В международной историографии интерес к теме взаимоотношений поколений и истории семьи возрос после публикации в 1965 г. книги английского историка Питера Ласлетта "Мир, который мы потеряли". В Швеции первыми, наря-ду с Биргиттой Уден, опубликовали свои работы историки из Уппсалы: Суне Окер-ман (Sune Ekerman, 1977), Анн-Софи Чельвемарк (Ann-Sofie Kälvemark, 1977, 1978) и Давид Гонт (David Gaunt, 1976). Значительный вклад в изучение этой темы внес датский историк Ханс Кр. Юхансен (Hans Chr. Johansen, 1976). - См.: Odén B. Study-ing the elderly in society. // Swedish research in a changing society. The Bank of Sweden. Tercentary Foundation 1965-1990. / Ed. by Kjell Härngvist and Nils-Erik Svensson. Hedemora, 1990, p.160.

циплин положение этой тематики позволило историкам, работавшим в этой области, плодотворно использовать методы социологии, гериатрии и социальной медицины.[56]

В конце 70-х годов Уден возглавила междисциплинарный проект "Старики в обществе - прошлое, настоящее, будущее".[57] Результаты совместной работы нескольких ученых были опубликованы в 1982-1983 гг. в двухтомном труде, опиравшемся на теоретические основы различных дисциплин: истории, социологии, медицины. Авторы изучили такие важные вопросы, как демографическая ситуация, проблемы старшего поколения, производительная деятельность, отношения стариков в семье и обществе. Сверхзадачей проекта "Старики в обществе" было решение вопроса, каким образом можно задержать переход стариков из независимой активной группы в категорию зависимой группы; исследовался культурный, человеческий, интеллектуальный, производительный потенциал пожилых людей, который может быть еще использован обществом.[58]

Окончание работы над этой темой было отмечено опубликованием в 1993 году книги "Стареть в Швеции", в которой трое ученых - историк, гериатролог и социолог - представили далеко не однозначные, оказавшиеся в определенном противоречии с изначальным замыслом выводы. Самый молодой из авторов - социолог Л.Торнстам занял критическую позицию относительно перспективы активизации роли пожилых людей в обществе.[59] В результате было принято решение о том, что включенные в книгу три раздела отражают взгляды каждого из авторов в отдельности.

В своей части "Временнáя перспектива" Б.Уден активно использовала идеи футурологии для изучения влияния общества на индивида. Она также считает плодотворным для разработки данной тематики подход, основанный на идее "la longue durée" Ф.Броделя. Особым вкладом Уден в изучение проблемы старости явилась предложенная ею еще на конференции 1988 г. в Кембридже периодизация истории пожилых людей в обществе.[60]

Работа Биргитты Уден напоминает труд врача, который в интересах науки если не проводит опасный эксперимент на себе, то

---

[56] Odén B. Äldre som tema i historisk forskning. // Socialmedicinsk tidskrift, 1991, Nr.2-3, ss.67, 68.

[57] De äldre i samhället: förr, nu och i framtiden. Presentation av ett projekt. // Humanistisk Forskning, 1978, Nr.1.Официально проект стартовал в 1980 г.

[58] Odén B., Svanborg A., Tornstam L. Äldre i samhället: förr, nu och i tramtiden. Del.1: Teorier och forskninsansatser; Del.2: Probleminventeringar. Stockholm, 1982, 1983.

[59] Odén B., Svanborg A., Tornstam L. Att eldras i Sverige. Stockholm, 1993, s.11.

[60] Ibid., s.19-20.

по меньшей мере наблюдает за собственным организмом в период болезни. И когда читаешь ее строки о сохранившемся (несмотря на отмену закона, обязывающего детей заботиться о престарелых родителях) чувстве ответственности современных детей по отношению к своим старикам, слышишь голос самой Биргитты, ощущаешь ее личную ответственность в решении этой проблемы: "Назовите это любовью. Назовите это жалостью. Назовите это больной совестью. Чувство ответственности существует. Изменились лишь его формы и содержание".[61]

Накануне своего официального ухода на пенсию Биргитта Уден выступила 27 мая 1987 г. в Домском соборе своего родного города Лунда с соответствующим торжественному событию докладом, озаглавленном "История детства и старости", вскоре опубликованным в виде отдельной брошюры. В этом докладе в сжатой форме нашли отражение основные мысли, в дальнейшем ставшие предметом отдельного рассмотрения в ряде статей. По существу, лекция Б.Уден в Домском соборе стала программой деятельности в ее "третьей жизненной стадии", в ней были намечены проблемы изучения взаимоотношений поколений в шведском обществе на различных исторических этапах его развития.

Из доклада Б.Уден становится очевидным, что для нее долг гражданина и профессионального историка - устранить любую идеализацию прошлого, показать истинное положение вещей, будь то случаи, когда мать бросает своего ребенка или грубость и жестокость в семье по отношению к старикам. Уден рассуждает о позиции историков при их встрече с мифом о прошлом как "золотом веке" и "потерянном рае", мифе, используемом в интересах современного общества.

Опираясь на различные научные традиции, можно предположить два варианта поведения. Первый, лежащий в традициях позитивистской эмпирической школы критики источников, к которой долгие годы принадлежала и сама Уден (по крайней мере, до конца 60-х годов), рекомендует историку искать истинную действительность, независимо от того, как эти знания могут быть использованы сегодня. Другой вариант был предложен новым поколением историков, причисляющих себя к герменевтической традиции. Их задачей было понять значение и смысл мифов для того общества, в котором эти мифы существовали. Этих историков не интересовало, ложные или правдивые это были мифы, их волновало происхождение этих мифов, их значение для поведения людей. Однако Б.Уден отмечает и третью точку зрения, автором которой

---

[61] Ibid., s.79.

является американский историк У. Мак Нил, призвавший "оберегать и реставрировать" исторические мифы. Это важно, по его мнению, с целью сохранения функции мифов как заменителя для ослабленных инстинктов человека, как связующего клея для общественного здания.

Развивая идею американского ученого о необходимости существования мифов для общества с тем, чтобы сохранить живыми моральные нормы этого общества, Б.Уден указывает на миф шведского общества о счастливом развитии по пути демократии, который поддерживает людей в их вере в это общество и способствует восприятию его правил игры. "Задачей историка является замена основанных на вере мифов эмпирически апробированными обобщениями, которые показывают нам, как функционировало общество в различные времена, где мы находимся сегодня и куда мы движемся",[62] - формулирует Биргитта Уден.

Ссылаясь на макроисторическую стадиальную теорию детства Филиппа Ариеса, Б.Уден одновременно критикует его слишком грубые обобщения, вследствие которых пропадают классовые различия и региональные особенности. Отмечая вклад социолога Эрнеста Берджеса, который почти одновременно с выходом в свет книги Ариеса сформулировал стадиальную теорию старости, Уден подчеркивает, что история старости изучена гораздо меньше, чем история детства. Кроме того, Уден считает, что с развитием общества в буржуазную эпоху социальное положение стариков (в отличие от детей) претерпело изменения в сторону ухудшения положения престарелых людей в обществе.[63]

Надо сказать, что Б.Уден была первым историком, поднявшим в статье "Отношения между поколениями. Правовое положение в 1300-1900 годах" проблему психического и физического насилия между людьми различных поколений.[64]

Социальные проблемы семьи в связи с вопросами роста населения и увеличением в обществе доли престарелых показались Б.Уден чрезвычайно интересным полем для новых исследований.[65] С ухудшением экономической конъюнктуры в Швеции 90-х годов положение стариков приобрело еще большую актуальность для всегда ориентированной на общественно значимые проблемы Биргитты Уден. В личной беседе она выражала искреннее беспокой-

---

[62] Odén B. Barndomens historia - och elderdomens. Lund, 1987, del.1.

[63] Ibid., del.2.

[64] Odén B. Relationer mellan generationerna. Rättsläget 1300-1900. // Maktpolitik och husfrid. Studier i internationell och svensk historia tillägnade Göran Rystad. Lund, 1991, s.110.

[65] Odén B. Studying the elderly... p.160.

ство в связи с проявившейся в годы правления буржуазного правительства в Швеции практикой брать деньги для поддержания экономической стабильности из бюджетных поступлений, ранее расходовавшихся на социальную помощь населению.

Хотелось бы обратить внимание на важную деталь, дающую дополнительную информацию о героине данного повествования. В такой благополучной стране, как Швеция, в которой действительно имеются большие возможности для обеспечения престарелым родственникам проживания в специализированных домах, где их окружает домашняя обстановка, квалифицированный медицинский и бытовой уход, профессор в отставке Биргитта Уден, сама уже, к сожалению, не обладающая безупречным здоровьем, почти полностью взяла на себя заботу о своей старой матери. Для Швеции это поступок из ряда вон выходящий, который так естественно и логично вписывается в образ Биргитты Уден, как я его себе представляю.

Творчество Биргитты Уден за почти сорок лет научных изысканий можно с полным основанием назвать значительным, а ее вклад в историографию - выдающимся и плодотворным. В ее лице историческая наука Швеции имеет ученого многогранного, постоянно находящегося в поиске и до некоторой степени не перестающего учиться. В ее работах легко найти следы не только различных методологических и инструментальных подходов, но и явное взаимодействие с другими гуманитарными и даже естественнонаучными дисциплинами. Она высказывала идеи, позднее претворявшиеся в жизнь, как в случае с коллективными научными проектами, за которые Б.Уден ратовала в статье 1963 года[66] и которые стартовали в Швеции в 1964 году. В работе 1989 года[67] она поднимала ставший злободневным в первой половине 90-х годов вопрос о популярности исторических исследований без потери критерия научности. Дилемма: точность настоящей науки и живость изложения решалась Уден в пользу удачного сочетания того и другого.

Проделав путь от классического позитивизма вейбуллианской школы через настойчивые постижения теоретической исторической мысли, Уден приблизилась в работах 80-х и 90-х годов к классическим представлениям школы "Анналов", ближе всего восприняв взгляды Фернана Броделя.

В 1968 году Б.Уден писала о себе, что она не "теоретик, а практик" с "недостаточной философской подготовкой", а почти

---

[66] Odén B. Socialhistoria i blickpunkten. // Historisk tidskrift, 1963, Nr.4, s.420.

[67] Odén B. Vad kan vi veta om en försvunnen värld? // Kan vi lita pe vetenskapen? En bok om vetenskapen och sanningen. Stockholm, 1989, ss.169-170.

через двадцать лет ратовала за большую генерализацию и теоретическую оснащенность исторической науки, подчеркивая при этом, что не является сторонницей идеографического метода.[68]

За годы работы Б.Уден неоднократно меняла тематику конкретных исследований, всякий раз оказываясь тесно связанной с проблемами современного ей общества. Каковы бы ни были причины перехода от одной темы к другой, будь то на первых порах ее одновременный интерес как к естественным, так и гуманитарным наукам, затем смена тематики под влиянием педагогических задач и интереса самих студентов, а также ее собственного желания постичь теоретические корни и вписать себя в канву национальной исторической науки, и даже чисто случайные моменты, как то: стремление избежать тематического пересечения с другими историками, Биргитту Уден всегда отличала высокая гражданская ответственность. Ученый всегда сочетался в ней с гражданином своей страны и своего времени. Социальная история в самом широком смысле почти всегда была предметом исследования Б.Уден.

Практическая деятельность Б.Уден, сопряженная с работой в правительственных и научных комитетах, ее уверенность в необходимости ученых-историков оказывать влияние на политиков[69] сочетались с твердым убеждением, что историка должен характеризовать не только критический подход к действительности, но стремление к созиданию чего-то нового.[70] Еще в статье "История и общество" (1968 г.) Уден призывала Клио не уподобляться вечно оборачивающейся назад жене Лота и ратовала за обращенность музы истории к проблемам современного общества.[71]

Выражая твердую уверенность в интегрирующей функции истории, Б.Уден неоднократно выдвигала требование достижения взаимодействия между различными ветвями исторических дисциплин, выступала противницей ухода в узкую специализацию, понимая под ней сосредоточенность некоторых историков в рамках малого хронологического периода.

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы подчеркнуть отличительную черту методики Б.Уден - это абсолютно естественно вытекающая из ее научного подхода междисциплинарность. Обращает на себя внимание заглавие юбилейной книги "Преодолевая границы", в предисловии к которой коллеги Биргитты Уден отмечали ее плюрализм, готовность и способность под-

---

[68] Odén B. Historiens plats... s.25; Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén, s.4.
[69] Odén B. Clio mellan stolarna. // Historisk tidskrift, 1968, Nr.2, s.209.
[70] Över gränser... s.8.
[71] Odén B. Historia och samhälle. // Människa och materia. Lundaforskare förelä ser. Lund, 1969, s.87.

держивать новые идеи и открывать новые исследовательские поля, преодолевая тем самым границы дисциплин.[72] Сама Биргитта в предисловии к шведскому изданию книги Питера Бёрка о "школе "Анналов", писала: "На тех, кто решался преодолевать границы, смотрели скептически, как на дилетантов и узурпаторов, что действительно имело место. Это заложено в самой природе междисциплинарности".[73] Но она подчеркивала, что именно такой "дилетантизм" предполагает достижение синтеза.

Б.Уден неизменно проповедовала общественную значимость исторической науки: "Я считаю, что история всегда выполняет общественную функцию... Историки должны показать рамки альтернативного истолкования фактов и поднять их до уровня дискуссии, так чтобы было видно, каковы альтернативные возможности для толкования изменений в обществе".[74]

За те 20 с лишним лет, что Б.Уден была профессором, произошли огромные сдвиги от элитарной профессорской замкнутости университетов до утверждения новой организации профессиональных историков и достижения массовости высшего образования. В этом изменении имеется личный вклад Уден: с ее помощью были созданы материальные и институциональные предпосылки новых исследований внутри и вне традиционных для историков рамок.

Б.Уден не просто ученый-историк. Она осознанно занимает ответственную гражданскую позицию. Она не только ощущает тесную связь истории с жизнью, ею движет желание, используя профессиональные знания, приносить конкретную помощь обществу, будь то работа в совещательном органе при правительстве, где с ее участием создавались программы высшего образования и подготовки кадров в области гуманитарных наук, или исследования по проблемам окружающей среды и положению стариков. Отмечая с некоторым сожалением, что иногда она много "прыгала", меняя тематику исследований, Биргитта на некоторое время задумывается и, как бы отметая сомнения, заключает: "Это не я, это общество прыгало". Ею же всегда руководило стремление следовать за проблемами современного общества и непременно служить ему на пользу. Однажды, говоря об истории ментальностей, она заметила: "Сама я больше интересуюсь ментальностью, которая приводит к действию".



---

[72] Över gränser... s.IX.
[73] Burke P. Annales-skolan. En introduktion. Göteborg, 1992, s.13.
[74] Över gränser... s.3.

Е.В.Гутнова

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАТА: К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ*

В наши дни переоценки всех ценностей нередко можно услышать сетования на всеобщий упадок российской исторической науки в послереволюционный период. Раздаются утверждения о том, что все ее развитие за прошедшие с того времени годы следует перечеркнуть как печальный зигзаг в ее прошлой славной истории. Основанием для таких утверждений служат прежде всего приверженность советской историографии марксистско-ленинским догмам, ее нетерпимость ко всякому инакомыслию, сервильность по отношению к политике КПСС и советского государства, наконец, особый менталитет, который был, якобы, присущ, всем советским ученым и ограничивал их возможности объективного познания исторического процесса, а следовательно, обусловил ненаучность их трудов.

Заметим сразу же, что в подобных упреках есть немалая доля истины. Несомненно, многое из того, что было создано в нашей исторической науке за последние семьдесят лет, требует пересмотра. Но именно научно-критического пересмотра, а не огульного отрицания с позиций таких же политико-идеологических подходов, только с обратным знаком. Если раньше мы оценивали наше историографическое наследие всегда со знаком плюс только потому, что в его основе лежал марксистский взгляд на историю, то сегодня нам предлагают по той же причине считать ошибочным и отбросить все наработанное за эти годы. Серьезный ученый, не гоняющийся за модой и легкой славой "новатора" и "прогрессиста", едва ли может согласиться с такой нигилистической позицией, иначе говоря, попросту отказаться от оценки своего собственного реального места в отечественной историографической традиции.

Мы уже имеем печальный опыт такого бездумного нигилизма по отношению к своим предшественникам, опыт 20-х - начала 30-х гг., когда советские историки, считавшие себя марксистами, призывали начать изучение всемирной истории с нуля, выбросив на помойку все, что до них создавали "буржуазные историки" XIX-XX в. Как известно, этот лозунг привел, в конечном счете, к подме-

---

* Автор статьи, видный историк-медиевист Евгения Владимировна Гутнова скончалась в октябре 1992 г. Публикуемый текст представляет собой первую часть задуманной, но не завершенной ею, более крупной работы.

не исторической науки вульгарным и абстрактным социологизированием. Не приведут ли нас к подобному печальному результату сегодняшние призывы считать советскую историографию "черной дырой"? Не будет ли разумнее и плодотворнее и для нынешнего состояния нашей науки попытаться оценить все, что в ней происходило в предшествующие десятилетия без "гнева и пристрастия", как советовал еще Ранке, с учетом как ее вклада в развитие мировой исторической мысли и науки, так и ее грубых просчетов и ошибок, тормозивших, а иной раз и преграждавших это развитие.

Конечно, в нашей раскаленной действительности, признающей только черно-белые оценки, такой призыв может быть сочтен наивным и прекраснодушным. Однако, я обращаю его не к лихим публицистам, ничего не щадящим в своем пафосе разрушения, но к профессиональным историкам, для которых научная и взвешенная оценка историографической традиции - одно из непременных условий их сегодняшней плодотворной деятельности. Как и в политике, в историографии отсутствие исторической памяти, бездумный манкуртизм ведет только в новый тупик. Не случайно в последние годы на Западе все чаще обращаются к аналогичным проблемам.

Американский историк Натали Дэвис исследует деятельность журнала "Анналы" и связанного с ним круга интеллектуалов во время фашистской оккупации Франции.[1] Немецкий ученый, воспитанный и работавший долгие годы в бывшей ГДР, В.Шульце пытается отделить зерна от плевел в историографии этой части Германии, а известный специалист в области историографии и методологии истории Дж.Иггерс ставит более общую и многоплановую проблему - историческая наука и тоталитарное государство.[2] И ни в одной из этих работ мы не находим бездумного перечеркивания всего и всех, но скорее искреннее желание разобраться "кто был кто", что безоговорочно нужно выбросить в мусорную яму истории, а что может пригодиться в науке. И еще - в них явственно звучит сострадание к тем ученым, которые помимо своей воли стали заложниками тоталитарных режимов. Ведь вынужденные под угрозой жестоких преследований, а нередко и смерти, не касаться запретных тем, прямо связанных с политикой, не выступать открыто против господствующей идеологии, иногда в чем-то уступая ей, они в то же время не давали полностью угаснуть слабому огоньку

---

[1] Дэвис Н.З. "Анналы", Марк Блок и Люсьен Февр во время немецкой оккупации // Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы "Анналов". М., 1993. С.166-179.

[2] Schulze W. Deutsche Geschichtwissenschaft nach 1945. München, 1989; Iggers G. Ein anderer historischer Blick. Beispiele ostdeutscher Sozialgeschichte. Frankfurt, 1991

науки в условиях, когда ей почти был перекрыт доступ кислорода. В каждой из этих работ видно искреннее стремление авторов выяснить для себя различия в позициях отдельных историков и школ, которые продолжали существовать и при самых тоталитарных режимах, и соответственно в относительной ценности их исследований для того времени и для развития науки в целом. Каждого из названных авторов, по существу, волнует вечный морально-нравственный, "гамлетовский" вопрос о выборе позиции в экстремальных ситуациях.

Выбор для историков был довольно ограничен: они или могли стать открытыми врагами режима, что грозило неминуемыми репрессиями, или покинуть страну и свободно творить за рубежом, или полностью вклиниться в систему и стать ее апологетами, подчиняя этой позиции свое отношение к прошлому. Однако, подавляющее большинство настоящих ученых, уважающих себя и свою науку, редко вступали на последний путь, а в советских условиях практически после начала 20-х гг. не могли встать и в ряды открытой оппозиции. Тогда перед ними возникал еще один выбор: замолчать до лучших времен, уйти из науки, отдавая ее на поток и разграбление псевдоученым, беспринципным прислужникам режима, или остаться в ней, идя часто на мучительные компромиссы, но все же в меру своих талантов, своего понимания марксизма, ставшего официальной идеологией, бороться за сохранение истории как науки, передавать ее ранее наработанные традиции, свои знания и опыт молодым ученым, готовить их к серьезным занятиям наукой, в надежде на ее возрождение. Можно, конечно, сурово осудить эту последнюю позицию своеобразного консенсуса с властью, как коллаборационистскую, и вышвырнуть раз и навсегда всех занимавших ее историков из историографии. Но тогда перед нами встанет другая загадка - откуда на этом выжженном поле сервилизма и аморализма выросли крупные ученые, приобретшие мировую славу, сильные и в конкретных исследованиях, и в обобщениях, как возникли целые школы, в которых входили в науку многие из тех, кто ныне столь охотно ниспровергает с пьедесталов своих умерших учителей, утверждает, что они не состоялись как историки. Очевидно, подобные упражнения мало что могут прояснить в вопросе о традициях и новациях в советской историографии, в вопросе коренном для изучения истории исторической науки вообще.

Здесь требуется учет целого ряда факторов, внешних и внутренних, давно принятых в оценке историографического материала, и не только у нас, но и во всех цивилизованных странах. Напомню лишь некоторые из них, почему-то в последнее время предаваемые

забвению. Самый главный, на мой взгляд - необходимость историчного подхода к исследуемому материалу. Такой подход предполагает оценку любого научного наследия не только с высоты достижений сегодняшнего дня, но и в сопоставлении с предшествующим уровнем исторической науки и с достижениями других современников. Если первый из этих критериев позволяет оценить, что сегодня устарело, а что сохранило свое значение в творчестве отдельного историка или целого направления, то вторые два раскрывают то, что они внесли в науку своего времени, чем они двинули ее вперед. Только на перекрестке этих выводов можно по-настоящему оценить место и значение каждого из них в развитии исторической науки. Нелепо, как это иногда делается, судить научные итоги историка, умершего 30-40 лет тому назад, с высоты современных достижений мировой науки, приписывая его недостатки извращенному менталитету или политическому сознанию, забывая о том, что он не мог знать, а иногда даже предвидеть того, что свершилось в науке через десятки лет после его смерти. Это не менее нелепо, чем упрекать Вольтера, Карамзина или Грановского в том, что они не были марксистами, что нередко случалось в нашей историографии.

Наряду с историзмом необходимо комплексное понимание истории историографии не только как эволюции исторических и политических идей, но и как развития научного знания - расширения сферы исследований, привлечения новых источников, постановки новых проблем, создания новых методик и концепций, иными словами, как процесса рождения пусть временных и относительных, но все же истин. Конечно, политико-идеологическая и конкретно-историческая сферы в историографии прямо или опосредованно связаны между собой. Но вместе с тем в творчестве большинства историков между ними существует определенный "зазор", который позволяет выделить в их историческом наследии то, что относится собственно к развитию научного исторического знания. В конце 50-х - начале 60-х гг. советские ученые поломали немало копий, чтобы отстоять право на оценку своих предшественников и западных современников не только с точки зрения их политических воззрений, но и их научных достижений, и постепенно добились этого права, во всяком случае de facto. Тем более удивительно, что их наследники сегодня склоняются к тому, чтобы оценивать многострадальную советскую историографию исключительно с политико-идеологических позиций, не утруждая себя анализом ее научных результатов.

И здесь мы подходим к одному из главных вопросов истории исторической науки вообще и советской историографии в част-

ности - к проблеме ее ангажированности, жесткого подчинения политико-идеологическим догмам. То, что политические и идеологические пристрастия скрыто или явно всегда воздействовали на творчество историков, определяли ту систему ценностей, сквозь призму которой они смотрели не только на настоящее, но и на прошлое, является общепризнанной аксиомой. Но степень воздействия этой системы ценностей на историческую науку определяется, во-первых, ее внутренним содержанием, а во-вторых, степенью ее монополии в обществе. Если в нем наличествуют разные политические и идеологические доктрины, то их воздействие на развитие науки уравновешивается, а следовательно, не может подчинить ее всю без остатка. К сожалению, в СССР с начала 20-х гг. монополия социалистических идей, примата государства над обществом, марксистского понимания истории была полной и безграничной. Те, кто не хотели ей подчиняться, должны были в лучшем случае расстаться со своей наукой, а в худшем претерпеть жестокие гонения. Как и всякая монополия, этот идеологический диктат не только крайне ограничивал научный кругозор историков, зашоривал их сознание, приучал к постоянной самоцензуре, угрожал ежедневно опасностью публичных проработок и разоблачений, но вел к деградации самого марксистского понимания истории, его огрублению, оскоплению, сведению к нескольким прописным истинам, что нашло свое наиболее яркое выражение в пресловутой IV главе "Краткого курса ВКП(б)".

Между тем первоначальное внутреннее содержание марксистского понимания истории, монополизировавшего с 20-х гг. советскую историческую науку, было далеко не столь пагубным и враждебным для ее развития, как это теперь нередко утверждают. При всей его изначальной идеологизированности, оно возникло и развивалось во второй половине XIX и начале XX в., как новое и перспективное направление исторической мысли, к которому внимательно прислушивались не только его явные пропагандисты и сторонники, но и многие из наиболее проницательных противников. В острой борьбе с оппонентами, основатели марксизма вынуждены были особенно акцентировать в своей исторической теории то, в чем они резко расходились: экономическую основу исторической эволюции, роль классовой борьбы как постоянного ее фактора, своего рода телеологичность исторического процесса, его движение к запрограммированной цели - светлому раю коммунизма.

Именно эти три положения марксистского понимания истории в условиях его абсолютной монополии в советской историографии обусловили некоторую ограниченность ее проблематики,

недостаточное внимание к так называемым надстроечным явлениям - истории государства, идеологии, культуры, права, религии и т.п. Здесь следует, однако, отметить два важных обстоятельства. Во-первых, то, что марксистское понимание истории в своих основных принципах вовсе не было таким ограниченным. Напротив, оно изначально предполагало системный подход к изучению истории, понимание общества как сложного органического единства взаимодействующих элементов, или, как бы мы теперь сказали, структур.[3] В таком контексте теория социально-экономических формаций, вызывающая ныне столько нападок, с самого начала отнюдь не была инструментом экономического детерминизма, но давала достаточный простор для изучения человеческого общества в целом на каждой стадии развития. Если в 30-е гг. нашего столетия Сталин превратил ее в печально знаменитую пятичленку, марксистская историческая теория едва ли может нести за это ответственность.

Второе, что следует напомнить сегодняшним обличителям советской и вообще марксистской историографии - то, что в первой половине XX в. приверженность к марксизму и, в частности, к его исторической теории вовсе не была признаком отсталости, косности, застоя, догматизма, какой она нередко представляется с высоты новых достижений мировой исторической науки. Напротив, историческая теория Маркса с ее материалистическим и диалектическим взглядом на историю в то время стояла на передовых ее рубежах. Интерес к экономической истории, познанию ее общих закономерностей, к истории классовой борьбы, в частности при феодализме, был характерен для многих передовых ученых того времени, вовсе не являвшихся марксистами. Напомним, что с конца 70-х гг. XIX в. всюду в Европе, в том числе и в России, возникают сильные и влиятельные школы экономической, в частности, аграрной истории, труды которых, до сих пор не утратили своей ценности, что в это же время многие ученые, очень далекие от марксизма, проявляют устойчивый интерес к крестьянским восстаниям средневековья.[4]

---

[3] Это понимание выражено не только в предсмертных письмах Ф.Энгельса, на которые обычно ссылаются, но еще в "Немецкой идеологии", в его работе "Люд-виг Фейербах и конец классической немецкой философии", не говоря о таких собст-венно исторических трудах как "Крестьянская война в Германии" Ф.Энгельса, "Клас-совая борьба во Франции" и "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта" К.Маркса.

[4] Почти одновременно такие разные историки, как Д.М.Петрушевский и Ч.Оман, обращаются к истории восстания Уота Тайлера. Тогда же один из крупнейших историков-экономистов Анри Пиренн изучает восстания в Приморской Фландрии в 1323-1328 гг., городские восстания в Нидерландах, а В.К.Пискорский пишет великолепную работу о каталонских крестьянских восстаниях XV в.

Таким образом, особый интерес марксистов к экономике и классовой борьбе легко вписывался в общее развитие историографии того времени и вовсе не являлся неким анахронизмом. Не случайно, хотя и не разделяя его политических и философских принципов, им живо интересовались, к нему прислушивались, с ним полемизировали такие корифеи немарксистской историографии, как М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, П.Г.Виноградов, А.Н.Савин, Д.М. Петрушевский, В.К.Пискорский, Р.Ю.Виппер. Их ученики, составившие ведущее звено первого поколения советских историков, воспитывались, таким образом, в атмосфере живого интереса к марксистскому пониманию истории. Стоит ли удивляться тому, что в послереволюционной России они в большинстве своем без особого внутреннего сопротивления приняли это учение, конечно, в его первозданном, неокарикатуренном виде, в качестве основы своей методологии истории? Но интерес к нему не иссяк после революции и в западной историографии. В 20-50-е гг. его в той или иной степени разделяли все наиболее передовые течения исторической мысли, начиная с ученых "Школы Анналов" (М.Блока, Л.Февра, Ж.Лефевра, позднее - Ф.Броделя и его учеников). И в английской, и в американской, и в итальянской, и даже в историографии ФРГ марксистское понимание истории, несмотря на постоянные дискуссии с ним, учитывалось как одно из важных направлений исторической мысли, оказывало прямое или косвенное влияние на ее общее развитие, не говоря о том, что во многих странах Запада (и, конечно, в странах Восточной Европы) возникали группы историков-марксистов.

Все это говорит о том, что идеологические и методологические принципы советской исторической науки сами по себе родились вовсе не на обочине мирового процесса, что их возникновение было одним из его естественных и закономерных результатов, и что на определенном его этапе они могли в чем-то обогатить историческую науку, внести в нее что-то новое. Это новое заключалось в ином угле зрения на прошлое. Даже с учетом всех допущенных советскими учеными перехлестов - пренебрежения политической историей, историей культуры, идеологии, социальной психологией, они сумели много сделать в изучении экономической, в частности, аграрной истории, впервые стали рассматривать ее не как изолированную сферу жизни общества, но в связи со всей его социальной и политической структурой и ее эволюцией. То же относится и к методам изучения классовой борьбы: она стала рассматриваться как постоянный фактор общественной жизни, воздействовавший и на экономику, и на политику, и на духовную жизнь общества. И хотя здесь было немало абстрактного социологизирования, чрез-

мерной переоценки воздействия этого фактора, восторженных восхвалений крестьянских бесчинств и насилий как проявлений революционно-сти, такой подход в целом принес свои плоды. Он не только позволил собрать множество интересных фактов, дать более глубокий анализ крестьянских и вообще народных движений средневековья, но вызвал в 60-70-е годы в западной историографии интерес, породивший обширную литературу по этому вопросу.

Выдвинутая историками-марксистами теория классовой природы государства при всех издержках, связанных со слишком прямолинейным ее пониманием, недооценкой общеполитических и общенациональных функций государственной власти, тем не менее открыла новые перспективы в изучении этой проблемы. Она позволила лучше понять взаимоотношения государства с разными классами общества, его не только политические, но и социальные функции, показать его важную роль в перераспределении с помощью налоговой системы общественных доходов в пользу господствующего класса. И этот урок не прошел даром для западной историографии: ее отношение к истории государства постепенно во многом изменялось. Преклонение перед ним, как перед главным фактором прогресса, с конца 50-х гг. постепенно сменяется и там более реалистическим взглядом на него, как на орган социального давления на общество в целом и нижестоящие классы и сословия в частности.

Самым слабым звеном советской исторической науки было ее подчеркнутое пренебрежение в 20-50-е гг. к истории культуры и идеологии, занятие которыми долгое время рассматривалось как проявление идеализма. Почти полное игнорирование религиозной жизни людей, их отношения к вере нанесло огромный вред в изучении тех эпох, когда религиозное сознание во многом определяло культуру и социальную психологию людей, как это было, в частности, в средневековье. Религия, особенно католическая, и церковь считались абсолютным злом. Касаться их истории можно было только в плане борьбы с этим абсолютным злом, всячески его разоблачая и умаляя их значение. Такой подход закрывал путь к исследованию многих проявлений средневековой культуры, а тот, кто все же осмеливался на него вступать, должен был обвести свои труды магическим кругом заклинаний, поносящих церковь и религию.

Тем не менее и в этой области советская историография смогла внести кое-что новое, изучая средневековые ереси как силу, противостоявшую официальной церкви и религии. Новым был прежде всего угол зрения, понимание ересей не как чисто религиозных внутрицерковных течений, но как более или менее широких социальных движений, отражавших в своих теологических воззре-

ниях классовые и социальные противоречия. Конечно, и здесь не обходилось без некоторых натяжек и упрощений, особенно в интерпретации еретических теологий. Однако, в этой новой трактовке ересей было и много интересного, особенно в методах выявления в их учениях социальных мотивов, ранее игнорировавшихся в историографии. Не случайно доклад С.Д.Сказкина на международном конгрессе историков в Риме (1960) об исторических условиях восстания Дольчино вызвал там весьма бурную реакцию. В первый момент то была реакция неприятия, отторжения этой, как казалось его оппонентам, "марксистской пропаганды". Но в конце 60-х - 70-е гг. появилась серия исследований западных ученых о средневековых ересях, в которых анализ социального состава участников и их программ впервые занял достаточно большое место. Думаю, что и в этом вопросе советская медиевистика сыграла свою позитивную роль.

Даже в области истории средневековой культуры, в целом, как отмечалось, находившейся в забвении, советская историография дала толчок к некоторым новым подходам. В работе Н.А. Сидоровой о зарождении ранней городской культуры во Франции (1957), ныне преданной забвению и даже нередко поносимой как образец вульгаризации культурных процессов средневековья, был поставлен вопрос о зарождении в средневековых городах своеобразной культуры, тяготевшей к более светским формам, к постепенному освобождению от диктата церкви, а также о существовании в толще средневекового общества феномена народной культуры, уходящей своими корнями в дофеодальную древность, фольклор, языческие обычаи, простонародные ереси. Новые подходы, хотя и окрашенные неправомерно резким противопоставлением этих культурных феноменов господствующей церковно-феодальной культуре, тем не менее в чем-то предвосхищали те идеи, которые стали активно разрабатываться с середины 60-х гг. сначала во французской, а затем и в западной историографии в целом.

Все это я пишу не для того, чтобы восхвалять советскую историографию, но лишь для того, чтобы оспорить утверждения о ее полной тщете и бесплодности и показать, что марксистское понимание истории само по себе вовсе не обрекало ее на увядание, творческое бессилие. При уже отмечавшейся выше односторонности, пагубность воздействия исторического материализма на науку заключалась не столько в его идеологических принципах, сколько в отмеченной выше их монополизации, но еще более в том, что последняя поддерживалась всей мощью тоталитарного диктата. В этих условиях сам исторический материализм подвергся, как уже было замечено, чрезвычайному упрощению, безжалостному

отсечению всего, что не входило в огрубленную схему, содержало хоть малейший намек на противоречие ей. То же, что отсекалось, немедленно превращалось в "ересь", подвергавшуюся наказанию, а ее защитники - во врагов марксистского понимания истории (если не во "врагов народа"). Эта ситуация в области историографии усугублялась прямым воздействием на нее текущей политики и событий.

Приведу лишь некоторые примеры из истории медиевистики: Сталин как-то мимоходом упомянул "революцию рабов", сокрушившую Древний Рим, и тотчас же возникла пресловутая теория "революции рабов" при переходе от античности к средневековью. Нашлись активисты, которые стали искать аргументы в пользу этой недоказуемой теории, разумные ученые вынуждены были в лучшем случае молчать. В IV главе "Краткого курса" Сталин назвал одной из основных черт феодального общества постоянную классовую борьбу. Из этой явной оговорки (с марксистской точки зрения классовая борьба играет решающую роль в любом классовом обществе) Б.Ф.Поршнев извлек свою концепцию примата классовой борьбы при феодализме над экономикой, политикой, идеологией, обвинив в "экономическом материализме" всех тех советских историков, которые считали классовую борьбу продуктом социально-экономической организации общества. Каждая новая работа Сталина должна была к месту или не к месту учитываться во всех последующих исследованиях. В 1952 г., когда вышли в свет брошюры Сталина "К вопросам языкознания" и "Экономические проблемы социализма СССР", издательство потребовало внесения подходящих цитат из этих трудов чуть ли не в чистые листы очередного учебника истории средних веков для вузов, находившегося тогда в печати.

Трагичность этой ситуации усугублялась тем, что она накладывалась на обычную в любом сообществе, в том числе и в сообществе историков, борьбу личных и групповых интересов, карьерные соображения, стремление одних удержать, а других захватить ведущее место в науке. В тогдашней атмосфере нетерпимости и поощрения доносительства в любых формах в этой борьбе интересов одним из излюбленных приемов стало обвинение своих явных или потенциальных соперников в отпадении от марксизма, которые иногда шли даже не сверху, от властей предержащих, а "снизу" - от лица ученых коллег обвиняемых. В таких баталиях научные документы сплошь и рядом заменялись обоймами цитат из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина для утверждения своих позиций и опровержения тех, кого хотели изобразить еретиками. Этому же служило навешивавшие ярлыков, ставивших последних как бы вне науки:

"объективизм", "экономический материализм", "меньшевиствующий идеализм", "космополитизм", "преклонение перед западной наукой". Идеологическая зашоренность и нетерпимость, культивировавшиеся в исторической среде (как и в обществе в целом), постоянно подкрепляемые репрессиями или их угрозой - отстранения от работы, исключения из партии, отсылкой в провинциальные вузы, в 30-50-е гг. нередко ареста, в 50-70-е - недопущения выезда за границу - все это, конечно, крайне затрудняло работу историков. Можно только удивляться, что в этих условиях они все же писали нередко весьма ценные исследования, преподавали, готовили себе смену в лице талантливых молодых ученых, создавали определенные заделы для последующего развития науки. Как это было возможно?

Прежде всего потому, что нельзя уничтожить человеческую мысль. Ученый может не писать, или писать эзоповым языком, или обволакивать свою мысль другими ухищрениями, или писать о том, что слабо пересекается с идеологическими догмами, или, наконец, провозглашая их во введении и заключении своей книги, отвлекаться от них в ходе конкретного исследования. Все эти методы приспособления к суровому диктату сверху или воплям своих ученых недоброжелателей широко использовались советскими учеными, стали частью их менталитета. Его проявлением было и широкое использование цитат из работ Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина в качестве своего рода тарана, расчищавшего путь для более или менее самостоятельного исследования, обычно далеко выходившего за рамки этих цитат. В иных случаях все исследование преподносилось как конкретно-историческое подтверждение тех или иных идей "классиков марксизма-ленинизма", в других, особенно в работах по истории средневековой культуры оно должно было быть обязательно обставлено проклятьями в адрес католической церкви и ее адеп-тов. Непременным условием, правилом этой игры была постоянная самоцензура, ограждавшая ученых от всевозможных ловушек, "волчьих ям", расставленных на их пути.

Сказанное отнюдь не означает повального двоедушия советских историков в отношении марксистской исторической теории. В подавляющем своем большинстве они были марксистами не по принуждению, но по велению сердца, как те, что выросли в последние годы перед революцией, так и те, что воспитывались после нее. Никто из них не сомневался в высоких научных достоинствах этой теории, и все они исходили из ее положений в своих конкретных исследованиях. Однако, наиболее серьезные и глубокие из них никогда не принимали ее как жесткую догму, тем более в интерпретации IV главы "Краткого курса". Их мысль всегда была направлена

не на упрощение, а на углубление понимания взглядов Маркса и Энгельса, их диалектики в подходе к прошлому. И если жизнь порой заставляла прибегать к своего рода "играм" в марксизм, то их подлинное отношение к последнему было вполне серьезным, а прочтение его положений достаточно широким и органичным. Именно это позволяло им, опираясь на марксистское понимание истории, во многом обогатить историческую науку, о чем уже было сказано.

Конечно, были ученые и другого склада, для которых марксистская историческая теория стала императивом эпохи, своего рода модой, а также средством самоутверждения и самовозвышения как истинных адептов новой науки, ярых гонителей старой, буржуазной, и тех советских историков, которые остерегались вульгаризации марксизма. Именно они с восторгом воспринимали каждое слово Сталина, были склонны к крайне догматическому истолкованию исторического материализма и, как правило, не слишком преуспевали в конкретных исследованиях. Для них марксистская историческая теория была скорее орудием успешной карьеры, чем глубоко продуманной и прочувствованной системой взглядов. Оценивая советскую историографию тех десятилетий, нельзя игнорировать различия между этими двумя группами историков, сваливая все в одну кучу. Видимо, различен был и их менталитет.

Наряду с субъективными основаниями творческих возможностей советских ученых в те сложные времена, действовал и ряд объективных. Крайняя централизация управления в отделе науки ЦК КПСС не давала охватить все и вся. Не будучи специалистами, высшие его руководители не могли уследить за всеми конкретными исследованиями в разных областях исторической науки. Они обычно успевали замечать лишь наиболее явные идеологические изъяны, которых ученые научились, как правило, избегать, или прямые несоответствия высказываниям Сталина. За исключением отдельных проблем, вроде "революции рабов", "азиатского способа производства", "восхвалений католической церкви" и т.п., и отдельных периодов разгромных кампаний, они редко вмешивались в вопросы античной и средневековой истории, если только кто-либо из самых бдительных специалистов не возбуждал в них какие-либо сомнения. Этому способствовало и то, что сами классики марксизма-ленинизма не занимались всеми разделами истории, и в ней оставалось еще много проблем, где полет творческой мысли исследователя был стеснен высказанными ими концепциями, которые считались неоспоримыми. Поэтому, а также в силу удаленности этих эпох от текущей политики, диктат сверху в этих областях ощущался в целом гораздо слабее, чем, например, в новой, новейшей ис-

тории и, конечно, в истории советского общества, где ученые действительно были лишены возможности проводить неконъюнктурные исследования.

При оценке слабостей и успехов советской исторической науки нельзя не учитывать различий в ее положении в разные периоды. Идеологический диктат давил постоянно, но в разной степени и форме. В 20-е гг. она еще не была полностью унифицирована и монополизирована марксистской исторической теорией, но усилиями ее пропагандистов была, в сущности, ликвидирована как поле конкретных исследований. Восстановленная в этих своих правах после 1934 г., что очень быстро дало взлет прекрасных конкретных работ с выходом на широкие обобщения, она оказалась, однако, зажата в 1937-41 гг. в тиски догматических приоритетов, что, однако, не могло полностью перекрыть ее развития и в эти годы. В 1941-45 гг. собственно научные исследования были приостановлены, а история целиком поставлена на службу патриотической пропаганде и публицистике. В первые годы после войны историческая наука развивалась относительно свободно. Но с 1949 г. вновь начался период жестоких проработок историков (как и других отрядов советской интеллигенции), нанесших ей многие раны. Волна эта нарастала до 1953 г. и начала спадать только в пору оттепели после XX съезда.

Все это время советские историки, в том числе и занимавшиеся всеобщей историей, практически были почти полностью отрезаны от общения со своими зарубежными коллегами, от архивов тех стран, которыми занимались, частично и от новейшей литературы, а следовательно, от доступа каких-то новых идей и методов. Только в конце 50-х гг. эти связи начали постепенно возрождаться: наши ученые стали принимать участие в международных конгрессах историков, которые к этому времени превратились в регулярные и влиятельные научные форумы. Впервые за долгие годы появилась возможность их взаимодействия с историками-немарксистами.

Именно в этом общении впервые по-настоящему выявились и сильные стороны советской медиевистики, о которых говорилось выше, и ее слабые стороны, ее отставание от западной. Если, уходя с международной арены в середине 30-х гг., советская медиевистика мало чем уступала по своему уровню западноевропейской и американской, то в конце 50-х - начале 60-х гг. стали проявляться последствия ее двадцатилетней изоляции. Работая в тесных рамках монополии марксистского понимания истории, советские историки оказались не в курсе новых проблем и методов, которыми обогатилась к этому времени зарубежная историография. Сохраняя свою силу в

широте обобщений и в исследованиях на уровне макроструктур, классов, сословий, городов, отчасти сельских общин, наиболее значительных государственных образований и институтов, они уступали своим западным коллегам в анализе микроструктур общественного организма, в том числе семьи и домохозяйства. Советская историография, одержимая крайней враждебностью к мальтузианству, всегда чуралась демографических исследований, которые на Западе к началу 60-х гг. стали одним из важнейших элементов исторической науки. Столь же слабы оказались наши историки в области исторической географии, в использовании материалов структурной лингвистики и новейших археологических данных, масштабы и качество которых к этому времени (особенно применительно к средневековью) неизмеримо возросли. Отставание наметилось и в количественных методах (даже в экономической и социальной истории), в которой в 30-50-е гг. они лидировали. Это было связано прежде всего с обновлением количественных методов на Западе, заменой статистических приемов более сложными математическими с применением ЭВМ, которых у нас просто не было к этому времени из-за длительного пренебрежения к кибернетике.

Но, быть может, наибольшую свою слабость советская историография обнаружила в изучении человека в истории, и не столько в силу недостаточного внимания к сфере культуры и идеологии, сколько из-за общей недооценки роли субъективного фактора в истории, этого "первородного греха" марксистской исторической теории, особенно в той интерпретации, в которой она господствовала над нашими умами. Абсолютная объективизация исторического процесса, несмотря на неоднократные предостережения Маркса, Энгельса и даже Ленина о том, что "люди сами делают свою историю", хотя и соответственно объективным законам, были в нашей историографии начисто забыты. Из поля зрения советских историков, за немногим исключением, ускользнули вопросы индивидуальной и социальной психологии творцов истории, роль обычаев, нравов, мироощущения и миросознания, которые и в повседневной, рутинной жизни, но особенно в моменты наиболее острых социальных напряжений оказывали воздействие на ход истории, на форму развития событий, на скорость протекания даже объективно закономерных экономических процессов.

Выйдя из своего длительного затворничества, наши историки могли воочию убедиться, что марксистская теория не панацея от всех сложностей в постижении прошлого, что возможны другие, не менее плодотворные подходы к нему, и что серьезный ученый не может и не должен их игнорировать. Им пришлось расстаться с

ореолом своей "непогрешимости" по чисто идеологическим мотивам, со своей нетерпимостью к "буржуазной историографии".

Но ни открывшееся отставание в тех или иных областях, ни отказ советских ученых от признания непререкаемости своей методологии не означает, что нам следует отбросить все сделанное ими. Среди их наследия сохранилось немало ценного и позитивного, отчасти воспринятого и их западными оппонентами. В своих блужданиях и исканиях на ее крестном пути советская историческая наука поставила немало новых проблем, наметила интересные подходы к ним, дала много оригинальных конкретных исследований, и какого бы осуждения ни заслуживала, в ряде вопросов обогатила и двинула вперед мировую историческую науку. Конкретный материал оставленных ею исследований в каждой области истории должен быть во всем своем объеме предметно и беспристрастно рассмотрен с позиций научной историографической критики.



СОДЕРЖАНИЕ



Историк в двадцатом веке: вместо предисловия. 3
Л.П.Репина

Уроки Чарльза Бирда. 10
В.В.Согрин

Историк культуры Лев Платонович Карсавин: у истоков исторической антропологии в России. 35
А.Л.Ястребицкая

Герберт Баттерфилд и религиозное понимание истории. 69
О.Т.Ермишин

Англия Хоскинса: гений локальной истории и его тема. 83
Ч.Фитьян-Адамс (Великобритания)

Историк и время: штрихи к портрету Н.Е.Застенкера. 100
В.П.Смирнов

Вернер Конце и пути немецкой социальной истории. 127
А.И.Патрушев

Программа Франко Вентури. 142
И.Е.Андронов

Алан Дж.П.Тейлор: традиционалист и новатор. 160
Д.А.Модель

Изменчивое видение прошлого: к изучению творческого пути Жоржа Дюби. 185
Ю.Л.Бессмертный

Биргитта Уден: ментальность действия. 200
Т.А.Салычева

Приложение. 223
Историческая наука в условиях идеологического диктата: к вопросу об оценке советской историографии.
Е.В.Гутнова

CONTENTS



Historian in the 20th Century: in place of an introduction. 3
L.P.Repina

Charles Beard's Lessons. 10
V.V.Sogrin

Historian of Culture Lev Platonovich Karsavin: At the sources of historical anthropology in Russia. 35
A.L.Yastrebitskaya

Herbert Butterfield and Religious Conception of History 69
O.T.Yermishin

Hoskins's England: A local historian of genius and the realisation of his theme. 83
Charles Phythian-Adams (UK)

Historian and his Time: Sketch for a portrait of N.Ye.Zastenker. 100
V.P.Smirnov

Werner Conze and Ways of German Social History. 127
A.I.Patrushev

Franco Venturi's Programme. 142
I.Ye.Andronov

A.J.P.Taylor: Traditionalist and Innovator. 160
D.A.Model

Changeable Vision of the Past: For a study of Georges Duby's intellectual route. 185
Yu.L.Bessmertny

Birgitta Odén: Mentality of action. 200
T.A.Salycheva

History under Ideological Pressure: on the problem of estimation of the Soviet historiography. 223
Ye.V.Gutnova

Диалог со временем:
историки в меняющемся мире

Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН

Оригинал-макет и оформление -
К.А.Буданов, Н.И.Морозова

ЛР № 020915 от 23 сентября 1994 г.

Подписано к печати 20 марта 1996 г.
Формат 60x88 1/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл печ. л. 15. Заказная. Тип. зак. 415 т.

Институт всеобщей истории РАН
117334 Москва, Ленинский пр-т, д.32-а